

A close-up portrait of Evgeniy Klyuev, a man with long, wavy brown hair and a light beard, looking directly at the camera with a slight smile. He is wearing a light-colored, button-down shirt. The background is dark and textured. On the left side, there is a decorative, light-colored pattern resembling a tree or foliage.

**евгений
КЛЮЕВ**

зелёная
земля

евгений ключев



Поэтическая библиотека

Серия основана в 1993 году

ЕВГЕНИЙ КЛЮЕВ

зелёная земля

москва 2008



ББК 84Р7-5
К52

Оформление серии — Валерий Калныньш

Обложка — Юрий Васильков

Клюев Е. В.
К52 Зелёная земля. — М.: Время, 2008. — 720 с., ил. —
(Поэтическая библиотека).

ISBN 978-5-9691-0340-5

В отечественной литературе книга эта — не только большое лирическое, но и историческое событие: стихи, десятилетиями ходившие «в списках», читавшиеся наизусть, передававшиеся из уст в уста и из сердца в сердце, перекладывавшиеся на музыку и в отрывках гулявшие по Интернету, наконец обрели авторство и оказались принадлежащими... Евгению Клюеву — знаменитому, особенно в последние годы, своими романами «Между двух стульев», «Книга теней», «Давайте напишем что-нибудь», сказками «на всякий случай» и виртуозными переводами произведений Эдварда Лира. У читателей впервые появляется возможность взять в руки печатное издание стихов этого «позднеклассического поэта», как в своё время отзывался о нём Д. С. Лихачев.

ББК 84Р7-5

ISBN 978-5-9691-0340-5

© Евгений Клюев, 2008

© «Время», 2008



АНКЕТА В МЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Имя, отчество, фамилия

Имя — так сказать, бремя... или же вымя,
что до фамилии с отчеством — тут увы:

те, что имели место, заменены другими,
выдуманнми однажды из головы,
под настроенье: и всё-то под настроенье —
без настроенья строенья не возвести.
В общем, всё — липа, туфта, щебёнка, камня...
почему-то не выброшенные по пути.
Помню над колыбелью весёлую фею-с...
с именем, значит, в руках — говорит, возьми.
Впрочем, не отзывался и не отзываюсь —
просто с тех пор неправильно называюсь
всякими обстоятельными людьми.
В имени — вымени — нет никакого проку:
выменял как-то на склянку пустую и на
не подошедшую к ней красивую пробку —
вот таковы и есть они, имена!
Надо бы — на солдатика или монетку,
но ни того, ни другого никто не давал,
дали воздушный шарик, да не удержал за нитку —
полный облом получился, полный обвал.
Стало быть, кто ты, и чей ты, и прочие трали-вали —
стóят недорого, и ничего в них нет.
Может, и хорошо бы, если бы меня звали...
но не зовут — никуда, уже много лет.
Ну, а тогда — Бог с вами, а также с нами,
во вторсырьё сдаётся наш гордый «Варяг».
За исключением, конечно, того, если имя — знамя...
только вот с этим тут как-то совсем напряг.

В о з р а с т

Видимо, возраст преклонный — птичка в летах.

Или же непреклонный... но это я так,

это я так — из некоего пижонства:

на́ воду, значит, не дул, но и не обжётся,

то есть не то чтобы там уж... совсем простак!

Но это я так.

Возраст, когда на картине «Вечный покой»

видишь не реку, а только что за рекой,

и когда, в сотый раз перечитывая «Одиссею»,

вдруг говоришь себе: кажется, я лысею,

и Пенелопина верность — такой пустяк!

Но это я так.

Возраст, когда на признание тебе в любви

ты уличаешь в глупости визави

и, приходя на свидание, вместо астры

даришь вдруг том с монологами Заратустры,

в астре внезапно увидев намёк на брак.

Но это я так.

Возраст, когда на показ парада планет

ты отзываешься вдруг громогласным нет

и когда народному шествию ты, затворник,

предпочитаешь sudoku и свежий твóрог

или творóг... с удареньем на двух местах.

Но это я так.

Возраст, когда конфеткою из дерьма

не обмануть: ах, детка, скушай сама,

и когда в ответ на слова: «Я о Вас наслышан», —

выбегаешь в сени к своим навострённым лыжам,

пуще жизни и смерти боясь любовых атак.

Но это я так.

Возраст, когда и возраст уже не возраст,

а только небо — небо в высоких звёздах,
а только море — море в тарелке супа,
где утонуть бы — только, наверно, глупо:
вытащат всё равно... ведь у них черпак!
Но это я так.

П о л

Ох, не смешите, пожалуйста: я с бородою,
а борода бывает вы знаете у кого.
Я от неё, конечно, не молодею,
но насчёт пола... выгляжу стиливо.
Если же кроме шуток, то, кроме шуток,
нету у нас ничего — разве печка на колесе,
ибо весь мир наш весёлый безалаберно шаток,
и ужасно мы в нём разнополюе все.
Пол на поле, значит, и полом же погоняет —
и полами размахивают пальто!
Так что, если пробки перегорают и огня нет,
очень трудно диагностировать, кто есть кто.
Говорят: мужчина, а он алкоголик,
или женщина, а она трезва... —
вместо крестика иногда приходится ставить нолик
или вписывать какие-нибудь слова:
скажем, пол — «растительный», или, напротив,
он «геометрический», как узор...
впрочем, можно жизнь прожить — вообще не увидев
половины полов в упор!
Но на всякий случай я с бородою,
а борода бывает вы знаете у кого —
и от этого выгляжу под стать чародею,

то есть бороду использую целевó
и брожу по свету — бородатым, весёлым,
извлекая из воздуха за сюрпризом сюрприз,
и кичусь перед всеми своим редкостным полом,
хоть ты тут застрелись!
А когда вечерами возвращаюсь по шпалам,
то задумываюсь — правда, далеко не всегда,
для чего нам пол и что будет с полом
в тех краях, откуда светит звезда.

Н а ц и о н а л ь н а я п р и н а д л е ж н о с т ь

Тут всё захламлено и слишком много сложностей,
тут всё обломки и осколки, воют волки,
и магазин национальных принадлежностей,
и переполненные полки,
и непонятно, где у нас дневная выручка,
и сдача кончилась, и касса не фурычит,
и продавщица — хоть и западная выучка —
всё время врёт и только голову морочит.
Вчера татары прискакали на конях
и ускакали, увезя с собой коньяк,
а нынче утром два потомка Меровингов
сгрузили прямо магазина посреди
пятнадцать ящиков картонных бумерангов —
теперь их пруд пруди.
Да, персы некие уже давным-давно
свалили здесь не то сукно, не то рядно,
а греки — груды износившихся шезлонгов,
и слитки золота, и прочее руно.
Тут всё запущенно, пыль толщиной с палец,

и света нет, и на корню засох товар,
часы с кукушкою сто лет как надорвались,
кукушка сдохла, и кукует самовар.
Камин дымит, но до камина нету дела
ни продавщице, что внезапно охладела
тут ко всему, то есть ко всей этой фигне,
ни уж тем паче мне.
Я ненадолго тут: взглянуть, и удивиться,
и усмехнуться (дескать, вот ведь старый хлам),
и безмятежными глазами очевидца
пошарить — в общем-то, лениво — по углам,
и, рассмеявшись, дать отсюда стрекача,
под роем стрел из басурманских луков горбясь.
Я кто... да тот, кто весь в бегах и чья
национальность неразборчива, как подпись.

Семейное положение

Такое вот положение, что как бы и... нет,
а было когда-то — да, но прошло без следа,
хотя, вероятно, где-то остался след.
Да некому больше по следу идти туда.
Такое вот положение: положили в чём был,
а был — в рубашке, не то б лежать нагишом!
Устроим поминки... нет, лучше устроим бал
тому, кто, живым уйдя, неживым ушёл.
Железные были кольца, но Генрих знал,
что кольца — они падут, как дадут сигнал:
и лопнули кольца все, кольцо за кольцом —
с хорошим концом.
Мы все тут одна, железная мы, семья,

мы все тут друг другу жёны или мужья,
но кольца нас держат, как Генриха, до поры...
до первой горы.
Повозку тряхнёт на горе — и падёт кольцо,
и больше друг друга уже не узнать в лицо,
и к нам подбежит прощаться наше вчера:
пора.
И солнце взойдёт, и уйдёт из-под ног земля,
мы все тут друг другу перекасти-поля —
такое вот положение... нет корней,
и, в общем, неважно, кто кого мудреней.
Лошадка дорогу знает, лошадка ржёт,
а то, что когда-то жгло, уж давно не жжёт —
мы все тут друг другу забытые небеса
и старые адреса.
Хотя, вероятно, где-то остался след,
но я в этот след — ни-ни, ни одной ногой:
лежащий там клад оказался не мой клад —
такое вот положение, дорогой.

Образование

Образован из обычного пара и табачного дыма,
из старинной французской песенки, вроде frère Jacques,
из идеи о том, что не мы были изгнаны из Эдема, —
и на всё это сверху надет дорогой пиджак.
Длиннополость делает его похожим на саван,
но в карманах — всякая небесная благодать,
из которой я тоже, стало быть, образован —
как пить дать:
два стеклянных шарика, они влюблены друг в друга,

золотая тесёмка от подарка на Рождество,
непонятно чем и зачем исписанная бумага,
жестяной пропеллер — точнее, две лопасти от него,
маленький будда, найденный под ногами,
но улыбающийся во весь рот,
описание одного хитроумного оригами,
пустой блокнот,
телефонная карта от потерянного телефона,
лакричный кружок,
последнее предупреждение из Минфина,
пастуший рожок... —
и, как всегда, никаких документов,
подтверждающих, что я образован из этого всего,
но есть копенгагенский адрес двух уличных музыкантов,
готовых засвидетельствовать моё с ними родство,
то есть близость структур, то есть сотканность из материй,
хоть непрочных, но вечных — типа тшета, тоска.
Музыканты, кстати, считают меня аватарой
паровозного свистка.

Р о д з а н я т и й

Я занят тем, что я ничем не занят, —
так говорил один далёкий человек,
и тут, наверное, нужна теперь слеза — нет,
нужна улыбка и, быть может, взгляд навек —
наверх, имеется в виду...
А в общем, заводь,
укрытье, ниша и так далее-везде:
да чем же он там занимается, мерзавец,
в своём гнезде?

Небось, поёт, небось, живёт себе не тужит!
Так он и делает, позвольте доложить:
весь поднебесный капитал давно им нажит,
что до небесного — такого не нажить.
А больше что же доложить... да доложите —
до весу — скажем, вот хоть чайного листа:
а то, пожалуй что, беспечный небожитель
давным-давно поиздержался дочиста,
а то, пожалуй что, беспечный небожатель
сжал, что не сеял, и отныне уж не жать...
но жить-то надо — и печали умножитель
на ниву сжатую торопится опять.
А между тем все песни старые допеты —
притом что новым песням время не пришло,
и между тем в гнезде давно растут опята,
мхи и лишайники — и там нехорошо:
сидишь и думаешь, что надо бы отсюда
туда куда-нибудь... Да все твои туда
ещё опасней: там — измена, там — засада,
там — оголённые мерцают провода,
там — обезглавленные корчатся идеи,
там — обескровленная капает вода,
там — маски всё ещё меняют лицедей,
а там... — там только никогда и никогда.

В е р о и с п о в е д а н и е

Разумеется, не о псوخе и не о соме,
хоть, конечно же, и не о хлебе или о щях, —
я беседую с моим Богом часами
о других вещах.

О цветах-маргаритках, о бабочках-капуцинах
и о прочих серьёзных штукаках — числа им несть:
о доходах интеллигенции или, скажем, о ценах —
например, на нефть.

Он внимательно слушает, головою качает,
ибо все мои темы он знает наперечёт.

Иногда переспросит, *что* это означает,
иногда смолчит

или вдруг посмотрит на облака, на деревья
и вздохнёт: снова близится месяц нисан...

Ему много лет, он жалуется на здоровье
и плохой сон.

Он не нажил тут ничего и живёт где-то
на окраине мира — пять часов на такси,
он ругает транспорт и хмурится бородато
на свои небеси.

И о чём ни попросишь его, говорит, занят,
не сегодня, потом, говорит, и засим
исчезает... и бранится, прежде чем исчезает:
дескать, сделай сам!

Разбивает мои мечты — то одну, то другую,
превращая их все в какое-нибудь рагу.

Я и сам временами, конечно, ему помогаю
чем могу.

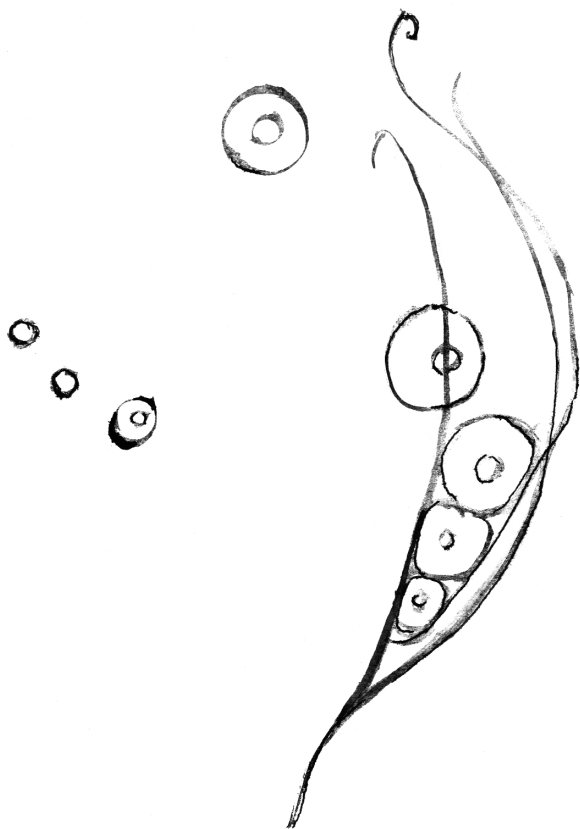
Так вот, собственно, и живу: от встречи до встречи,
ни на что не жалуясь и ничему не учась.

А его «всегда» часто даже короче,
чем мои «сейчас»:

даст сначала что-нибудь, но тут же и отнимает —
и при этом ведёт себя до ужаса делово.

Иногда мне кажется, что он меня не понимает.

Но я верю в него.



И Я БЫЛ МУЗЫКАНТ

1971–1975

* * *

И я был музыкант —
и пел стручок гороха
от выдоха и вдоха,
и я был музыкант —
и в золотых перстах
за хвостик искривлённый
держал мотив зелёный,
а это не пустяк!

И я был музыкант —
и слушал, как бессонно
звучат дождя канцоны,
и я был музыкант,
и у судьбы в руках
я успевал заметить
весёлый инструментик,
и я был музыкант.

Но, круглый идиот,
я растерял по свету
гороховую флейту
с горошинками нот.

* * *

Тут старинных строчек залежь
бес—тол—ко—ва—я...
ты прочти — и ты узнаешь,
что такое я:
карандаш, чернила, паста —
вот и весь состав,

а в других делах копать —
ах, оставь, оставь.

Для чего, скажи на милость,
для чего, дитя,
ты хватаешься за малость
бытия-жизня —
это из другого теста,
из другого дня!
Не ходи за кромку текста,
не ищи меня.

Там, дитя, ты не увидишь
золотого «там» —
там забытый хлам, да ветошь,
да забытый храм,
никакой земли и неба,
не горит звезда...
коль туда — так не ко мне бы,
не ко мне б туда!

По задворкам-то плутая,
долго ль до греха?
Скажем, эта запятая
чем тебе плоха —
плоше ли, чем день вчерашний —
выбитый из рук?
Спи, дитя, в высокой башне
за зубцами букв.

* * *

Какою музыкой плеснуло по губам!

Не всё бы сразу — по частям бы прозвучали:
отдельно — радости, отдельно бы — печали,
отдельно — скрипочки, отдельно — барабан...

Всё б в свой черёд: за тактом такт, за шагом шаг,
отдельно море, например, отдельно — горы,
отдельно то, отдельно многое другое,
чтобы друг другу не перечить, не мешать.

Сначала б арфа пошутила с ветерком,
потом бы горн вздохнул среди пространств застылых —
и всё на свете бы построилось в затылок,
и стало б в очередь, и побрело б гуськом.

Оркестр сразу б не сумел... он по частям,
он троекратно бы вступил — и дал нам в звуке
не то три радости, не то три смертных муки:
отдельно Бах — и Иоганн — и Себастьян.

* * *

А далеко ль поёт рожок?

Да далеко, мой свет.

На тот кисельный бережок

теперь дороги нет —

теперь, мой свет, хоть плачь, хоть вой,

а оставайся тут,

куда в ответ на голос твой

оттуда не придут.

А велика ль моя вина?
Да велика, поди,
раз та волшебная страна
осталась позади:
словарь — пустым твоим устам,
свирель — твоим мечтам,
они бывают только там,
да ты уже не там.

А я тогда пойду вперёд!
А ты иди вперёд...
Я покажу тебе, где брод,
а где наоборот:
нам всем не терпится прыжок
в куда-я-не-могу...
о том, дружок, и пел рожок
на дальнем берегу.

* * *

К серьёзности — каплю высокого вздора,
к печали — бессмертную детскую шалость:
и падала роза на лапу Азора,
и жизнь возвращалась, опять возвращалась,
и над переулочком — громким, булыжным,
морозное тихое небо вставало.
А Вы говорили: «Немножечко выждем,
мы прожили вечность, но это так мало!»

И точно: потом постепенно теплело,
в замёрзших руках появлялся багульник —
он был наш Вергилий, он вёл нас из плена
на волю, вперёд, в новый день, в понедельник!
И мы уже знали, что дальше всё просто:
каких-нибудь двадцать шагов — и, как прежде,
в малюсенькой лавочке у перекрёстка
опять продаются грехи и надежды.

* * *

Сидела в тиши субботы,
ткала своих строчек бязь,
за тоненький край свободы
свободной рукой держась,
пока — божества на страже
и цвета его чернил —
я жался в дверях, но даже
и в мыслях не позвонил.

Да благословенно соло
невежества, писчий раж!..
Какую ты чушь писала,
какую лелея блажь,
какие слетались осы
и пчелы на этот мёд,
бесстрашная поэтесса
в неполных осмнадцать лет?

Вилось над тобою иго —
беспечнейшее из иг,
готовая за день книга
вымарывалась за миг.
В ней было всего немало —
поменьше б таких немало...
Ах, что бы ты понимала!
Ах, что бы я понимал...

* * *

У меня были стихи книжного мальчика
и остаются стихи книжного мальчика.
Иногда я даже читаю Мильчина —
правда, редко когда понимаю Мильчина.

У меня была любовь книжного мальчика
и остаётся любовь книжного мальчика —
цвета воздушного шарика или же мячика,
алого воздушного шарика, синего мячика.

У меня была жизнь книжного мальчика
и остаётся жизнь книжного мальчика:
она спрятана где-то на дне портфельчика,
а портфельчик заброшен на дно подвальчика.

У меня будет смерть книжного мальчика —
лёгкая смерть книжного мальчика:
вынул Боженька дудочку из чехольчика
и опять спрятал дудочку в глубь чехольчика.

* * *

Из комнат бросившись под дождь,
за хлеб не поклонившись дому —
что, птица божья, ты поёшь,
кто научил тебя такому?
Что, птица божья, ты поёшь!..
Таких стихов, таких мелодий,
летунья, не бывает в дождь
и вообще... при непогоде.

Но у тебя есть свой аршин —
на всю твою пустую участь:
такому не научит жизнь,
любовь и слава не научат —
и неприкаянная песнь
есть у тебя в кашне грошовом:
не хочет пить, не хочет есть,
а хочет быть — да вот хоть шёлком,

и, оторвавшись от земли,
скитаться, бедствовать, лучиться —
одна, без близких, без семьи,
сама себе своя отчизна.

* * *

Там такие молодые небеса,
там урок правописанья начался:
пишут перьями на небе кто почём —
стриж за ласточкой, журавлик за грачом.

И вымучивает бедный дилетант
нескончаемо диктуемый диктант
про сначала было слово, а за ним...
так и жили — ожиданием одним,
 что за словом поторопится строка, —
 да строка всё улетаала в облака,
 как пушинка, как бумажка, как листва, —
 и, конечно, за строкой не шла глава,
 за главой не шла поэма — тормозя
 на каком-то то ли «рано», то ль «нельзя» —
 и за сколько-то ужасно много лет
 недописанным остался наш завет...
Ты продлись, продлись, божественный ликбез —
пусть старательные писари небес
затвердят правописание назубок
и напишут без ошибок слово «Бог» —
а уж там мы разберёмся как-нибудь,
где смолчать, где улыбнуться, где вздохнуть —
где начало, середина и края
в нескончаемом диктанте бытия.

* * *

Приволье музыки просторной:
на заливных её лугах
трубят медлительные горны
и пропадают в облаках.

Потом вступают барабаны:
они идут издалека.
Выходит вечность полупьяной
из бездны медного рожка.

Махнув платком у поворота,
растает время за углом,
как сон, как псовая охота,
как некогда огромный гром...

И всем нам хватит, не печалься,
на нашем заливном лужке
и этой музыки, и счастья —
и хватит вечности в рожке.

* * *

Океаны чужие, чужие ветра... в общем, Киплинг:
в общем, Киплинг, прекрасная Африка, бусы и шаль.
Видишь, буря в стакане воды, а флотилия гибнет —
гибнет где-то в стакане воды, и флотилии жаль.

И последнюю узкую шлюпку спускают на воду,
и последний бросают на воду спасательный круг... —
всё предвиделось, вроде бы, кроме такого исхода,
но флотилия гибнет — и буря отбилась от рук.

А в стакане воды под летучей лиловою тучей
с толку сбит адмирал — и ломается трубка во рту.
Но последний гуляет по тонкому ободу случай
нам с тобою спастись — на нечаянном нашем плоту.

* * *

Я не знаю, куда меня нимфа,
безрассудная нимфа моя —
я не знаю, куда меня рифма
уведёт, за какие моря...
но уже и трава поредела,
и уже небосвод мутноват —
мне не нравятся эти пределы
и не хочется так рифмовать:
мне б поближе куда-нибудь с домом,
курс держа на отеческий дым!
Я не знаю, что делать с изломом
плавниковым и плавным твоим —
принимать ли его искривленье
за игру, за судьбу, за строку?
Вся ты видимость, вся ты явление,
вся ты шёлковый бант на боку —
и смешна тебе свежая ветошь
нежных слов, и идеи скучны,
и не знаешь сама, что ответишь
ты из-за моря, с той стороны!

* * *

За пчёлами скрипок! Музы́ка — как мёд,
а тесные ноты похожи на соты.
Пчелиное пенье — ему невдомёк,
какие оно покоряет высоты:
всё круче взвиваясь, всё легче вяясь,
всё дальше и дальше пчелиная тема,
всё меньше в ней яви... какая ж тут явь,
когда уже, в общем, она улетела!

Но что-то жужжит ещё, что-то жужжит
и тонкую истину выжужжит вскоре,
что время бежит... ах как время бежит —
по узенькой, узенькой улочке к морю,
и нет ничего, что от нас не уйдёт
навек, но... серп, полумесяц, улыбка —
светится, и всё продолжает полёт
последняя пчёлка и скрипка.

* * *

Кто там на облаке присел?
И я хочу, как эта птица.
На небе много места всем,
да отчего-то не летится —
не улетается никак.
И я не знаю, *что* нежнее,
чем этот ласковый пустяк —
пустяк земного притяженья...
пустяк земли, пустяк семьи,
знакомых скверов и скамеек!
Вот почему слова мои
летать по небу не умеют,
вот почему, мой поздний гость,
нам (невзирая на умелость!)
весь вечер чаю не пилось
и песен никаких не пелось.

* * *

Ничего не поделаешь: значит, блеснём
по далёким пространствам коротеньким сном,
муравьиным скользнём золотым миражом
по смешным рубежам в мироздании чужом.

Это мелкая память о тропке земной:
насекомое, искрой кольнувшее зной,
и слеза — через несколько сотен веков —
из янтарных очей рыбаков.

И на небе, где кто-нибудь бродит всегда,
вдруг заметят случайно: упала звезда,
и, дорогами неба беспечно пыля,
вспомнят: кажется, это Земля.

А один безымянный ночной человек
прямо в это мгновенье посмотрит наверх —
и, упавшему свету навстречу идя,
загадает полдня без дождя.

* * *

Вот вам лестничка скрипучая:
это просто, как букварь!
А за нею — Царство Случая,
царство, где никто не царь,
где заманивает улочка,
незнакомая впотьмах,
как серебряная уточка
на ленивый полувзмах.

За китайским за фонариком
есть китайская страна:

мы с фонариком-судариком
там гуляем допоздна —
и, с обычной бестолковостью,
путатель всех наших карт,
вдруг пахнёт забытой новостью
полоумный месяц март.

* * *

Ну что, бессмертная строка,
не то ты, так сказать, игрива —
не то пишу я слишком криво...
но ты взмываешь в облака!

А больше вдоль страницы всей
нет ни крючка — такая жалость...
Не ты ли стайкою гусей
на белом небе задержалась —

там ветра нет, там воздух чист, —
не навсегда ль ты там повисла?
М-да, мне уже не различить
далёкого чужого смысла,

и я уже не знаю сам,
кто в направлении востока
так пугано и так высоко
на небе что-то написал...

ПРАВИЛА ХОРОШЕГО СТОНА

Хороший Стон, господа, —
это когда:
цветок улыбки зажат
в зубах, но губы дрожат.
И смысл такого цветка
не в том, что жизнь коротка,
а в том, что жизнь весела,
как мало бы ни цвела.

Хороший Стон, господа, —
это когда:
ты зонт на случай дождя
берёшь, на казнь уходя.
И смысл такого зонта
не в том, чтоб не намокать,
а в том, чтоб не намекать,
что жизнь почти прожита.

Хороший Стон, господа, —
это когда:
ты со своим палачом
заводишь речь ни о чём.
И смысл подобных речей
не в том, что жаль палачей,
а в том, что голову с плеч
и речь — нет смысла беречь.

* * *

День, играющий на флейте,
приманил игрою тьму —
мы давно живём на свете
и привыкли ко всему:
 снова сыро и космато
 станут сферы нависать,
 только мы запанибрата
 с облаками в небесах!

А с одной звездой ясной
мы знакомы целый век —
и такие уж друзья с ней,
что заходим к ней наверх,
 ибо ей ли не увлечь нас —
 той, кому всегда с руки
 на лету болтать про вечность
 и другие пустяки!

* * *

Если хочешь, считайся поэтом:
значит, вот тебе жизнь... Но, поэт,
почему ты опять не об этом,
почему ты о том, чего нет!

Вот деревья твои и дорога,
и в конце её узкий просвет:
это больше, чем есть, это много —
для чего тебе то, чего нет!

На, возьми себе домик с трубою
и возьми себе к домику след —
пусть они пребывают с тобою,
и забудем о том, чего нет!

Но оно золотое такое
это Точегонетникогда!
Как в густом вечерющем кофе
отражённая с неба звезда,

как пустое окно с поволокой,
как высоко зажжённый фонарь,
как далёкий, далёкий, далёкий
край — по имени Невспоминай.

* * *

А то, что совсем не приправлена
строка моя злобою-дня, —
прошу Вас понять меня правильно...
оно как-то не для меня:
я тень — и темны слова мои,
и нет выраженья лица,
я прах, с тихих крыл отрясаемый,
я пыль или, скажем, пыльца.

И всё, что я навыворачивал, —
затем, чтобы так как-нибудь
намёком, налётом ли матовым
минувшее время вернуть —

убогое, грешное, сирое...
прекрасное, солнечный брег! —
легонечко так па-ти-ни-ру-я
наш новый с иголки век.

Обуглено всё и оплавлено,
но мне ли за это пенять!
Прошу Вас понять меня правильно:
меня невозможно понять.

* * *

Немного листьев и скупого света —
и вот вам осень: больше не дано.
А в голове — понятие флажолета...
нет, только слово *флажолет* одно.

Есть всё-таки слова! Да все бездомны,
и все летают, над землёй вьются,
высбоко воспарив, родства не помня,
с предметами утрачивая связь,

и сколько бы ни тщились тут поэты,
и сколько б ни клялись: азъ написах,
азъ улових понятие флажолета! —
ан... слово всё равно на небесах.

А здесь у нас сырые мостовые
и солнца не бывало много лет,
и как-то так случилось, что впервые
я встретил это слово — *флажолет*.

* * *

Ночь была как зона бедствия:
в развороченном дворе
слепо мыкались приветствия
всех на свете фонарей,
и бросались в окна бабочки
в распоследнем мятеже,
расшибаясь, погибаючи
и — не будучи уже.

Сад безумствовал — и далее
прямо в комнаты кидал
неживое мироздание
по кускам: за далью даль.

И не ощущалось разницы
между малым и большим:
ночь всю ночь впадала в крайности —
как искусство и как жизнь.

Но потом часов колёсико
всех нас вывело из тьмы —
и высокое, как классика,
встало небо над людьми.

* * *

И это лето истекло —
и осень смотрится в стекло
холодных луж, холодный душ
дождя — тяжёл и неуклош.

Уже раскручено на всю катушку — лета колесо: листва желтеет на лету — и, вспомнив лета маету, я невпопад произнесу: «И это — всё?»

И год помедлил — и истёк, просыпался, словно песок в часах песочных: старый сор так грузен, что... что невесом. Осталось несколько минут — свить серпантинное лассо, похлопать друга по плечу, зажечь последнюю свечу — и неожиданно вздохнуть: «И это — всё?»

И жизнь, помедлив, истекла — ещё немножечко тепла витает облаком у рта, и у носилок — суета: по-деловому и без слёз пока ещё глядят в лицо: поправить шарф? подать пальто? А на лице совсем не то — там удивленье, там вопрос: «И это — всё?»

* * *

Когда стоял сентябрь sentimentalный
без зонтика, на мокрой мостовой,
без слов и с непокрытой головой —
всё рушилось, но было жаль — деталей:
сырой листвы, которую сметали
без всякого смятения с мостовой,
кривой метлы над этою листвою
и дворника при сей метле кривой —
когда стоял сентябрь sentimentalный
без зонтика на мокрой мостовой.
Уже прощались с неживой травой,
уже прощались с зарослями далей
и с ножницами возле самых талий
последних далей; вечность облик свой
утратила, но было жаль — деталей,
когда стоял сентябрь sentimentalный
без зонтика на мокрой мостовой.

* * *

Ты не то чтоб о древних рунах
и не то чтоб о дальних странах... —
добрый вечер, концерт для струнных,
для расстроенных и для странных.
Ты не знаешь, что значит вечность,
беспредельность и даже — дальность,
но ты знаешь, что значит личность,
одинокчество и отдельность.
И ты знаешь, чего мы ищем
в тесном хаосе звукоряда

и что так и не стало общим —
ни для племени, ни для рода.
Значит, поговорим о бранных
или, лучше, о посторонних
о делах... о вещах нетленных —
не для всех, а только для струнных.

* * *

И я тогда пойду себе, пойду... —
уже я шёл за этим и за тем,
но множество осталось праздных тем,
мелькающих вдали — то тут, то там:
в раю, в аду или совсем в бреду.

Меня уводят, стало быть... крепись:
меня уводят разные слова,
и есть у них весёлые права
(хоть тут не обошлось без колдовства) —
на всю-то жизнь мою, на всю-то спесь!

Меня уводят — что это за путь? —
меня уводят: руки мне скрутив, —
один нежнейший уличный мотив,
и, руки заломив, — бездомный миф...
прости, я не успел тебе махнуть!

Меня уводят — по одной тропе
и по другой, по разным мостовым,

по всем дорогам — тёмным и кривым,
сквозь весь туман, весь морок и весь дым...
Возьми улыбку: это я тебе.

Всех благ, мой ангел!
На щелчок дверной,
на взмах сачка, на экивок сучка,
на ослепительный обман крючка —
меня уводит за собой строка
туда... куда ты не ходи за мной.

* * *

Значит, этого не было вовсе — не правда ли?

Небродили невмарте неварпарке несвами,
несмотрели невнебо, незвёзды непадали,
неменялись немыслями и несловами.
Небежали недни, нечужая неженщина
небыла невблизии...

Тут одни небылицы.

Незвенел немороз, невиднелась нетрещина
неотсердца нексердцу — невдоль нестолицы.
Ненесли нетоску непустыми невёдрами,
непутались непрошлого — и, неконечно,
невдвоём невладели небесными недрами,
как недавно: нечаянно, немо и нежно...

* * *

А. Г.

...я за это заплачу,
связкою морских ракушек,
парою разбитых чашек
я за это заплачу,
и матерчатым цветком,
и щепоткой свежей пыли,
и понятием вольной воли
я за это заплачу,
нерешительным звонком,
и решительным отказом,
и немедленным конфузом
я за это заплачу,
и пустым черновиком,
и грядущим чёрным веком,
и вечерней птицы криком
я за это заплачу,
и белеющим флажком...
а когда уж будет нечем —
жизнью, смертью или прочим
задушевым пустяком.

* * *

Весёлый рой ночных букашек,
луны высокий абажур:
что ж, мой японский карандашик,
твой час теперь — иди, дежурь!

Паси крючки и закорючки,
чей лёгкий лаконичный строй
громоздкой и не снился ручке —
ни стержневой, ни перьевой;
блюда на узеньких дорогах,
пока верна тебе строка,
свой одинокий иероглиф —
прирученного паучка.

Но ты, не начиная вахты,
каким сомненьем обуян,
всё кружишь над страницей?
Ах, ты
опять выпестываешь план
произведения простого,
на языке своём сухом:
два полуночных полуслова,
зачёркнутых одним штрихом!

* * *

Дай Бог, чтоб не был твой отвергнут дар
тем или той, кого... — не в этом дело, —
тогда твой дар становится: удар —
лети назад, стрела... летите, стрелы!

Даритель глуп, а одарённый слеп,
и дар напрасен, ибо не к рукам он:
лежавший на твоей ладони хлеб
в одну секунду превратился в камень.

А радость постояла и ушла,
забыв сказать куда... такая малость:
всего-то лишь что вздрогнула душа,
но вздрогнула — и только: не сломалась.

ГИЙОМ АПОЛЛИНЕР

А Париж начинался за словом «Париж»:
чуть пройдёшь — и направо, всего-то и дела!
И тогда открывалась бескрайность предела —
так бывает... но, видимо, всё-таки лишь
в этом самом Париже, где прямо с угла
начинаются крохотных улочек вальсы:
там-то и открывалась... подвал открывался —
«Closerie de Lilas»!

Это кончилось всё — это было уже
много жизни назад или много искусства,
от которых — беспутное наше лоскутство
и паскудный испуг на крутом вираже.
А мелодия — что ж ей? Осталась цела,
и цвела, и цвела — чтобы мы не грустили, —
лиловатым цветком уцелевшего стиля
closerie-de-lilas, closerie-de-lilas.

По подвалу металась мечта без хвоста —
подвизаться на поприще импровизаций,
и предметы умели не быть, но казаться —
ни себе не чета, ни другим не чета...

ни черта не понять очертаний крыла!
И у Бога была своя свита — богема,
и светилась над нею высокая тема —
closeriedelilascloseriedelilascloseriedelilas...

СТИХИ ОБ УЖАСНОЙ ДАМЕ

(1)

Опять не те у Вас в гостях:
опять какой-нибудь Пустяк
присел на краешек дивана,
имея вид кота-баюна;
опять какая-то Причуда —
откуда-то, но не отсюда —
безостановочно трещит
и открывает суть вещиц...
Ах, Вы всегда то с тем, то с тем:
у Вас на всех достанет тем,
а в Вашем кофе — вечный пепел,
и, будь я Вами, я бы нé пил!
Но Вы твердите: хватит маний —
и кажется мне ненормальной —
всех обвинив и всех простив,
забыв на полуслове стих
и — понимая, что некстати, —
лепя случайный хвост к цитате!

Потом у вас в гостях Озноб —
с обычным ворохом обнов,
потом Мигрень, потом Пардон,
потом — открыв тетрадь с трудом
и спичкою рисуя жжёной —
Вы кажетесь мне раздражённой,
и злой, и полной мелочей,
и милой... свет моих очей!

(2)

Покатаемся на дрожках
по столице пустоты —
у истерики на рожках
молчаливые цветы,
руки тряски, плечи зябки,
молниями отмерцав —
гнева знойные голубки
разлетаются в сердцах!

Поворачивайте влево,
нет, направо... нет, пешком —
куролесит королева,
куролесит королева,
права правым сапожком:
это гости, это нервы,
разговоры до утра... —
ах, маневры, ах, минервы,
ах, военная пора!

Сбросив шапку, сбросив шубку —
в бой за право быть ничьей,
прямо в уличную пробку,
в бездну, в пекло, в мясорубку —
не бывает горячей.
Выскользнула из одёжки —
и пропали все следы...
И везут пустые дрожки
страшной нежности издержки,
горькой прелести плоды.

(3)

Завтрак отложен на завтра — беспечной рукою,
книжку листающей, — и золотые слова:
«Если б смогла, то оставила Вас бы в покое —
или, скорее, подсыпала яду в Ваш кофе», —
завтрак отложен на завтра, и дремлет Москва.

А разговор состоит из вчерашних обрезков,
древних обломков, осколков случайных пород,
отблесков, отзвуков и подозрительных всплесков,
из отклонённых и вновь предъявляемых исков...
всё отслужившее — снова пускается в ход.

Ан — не заводится день: барахлит зажиганье,
перетрудилась и больше не хочет свеча,
звёзды с рассветного неба украли цыгане...
Шмыганье носа и узеньких плеч содроганье,
кошки лукавство и честные трели грача!

Но до чего же мне всё-таки по сердцу, каюсь,
эта напрасная жизнь... до чего ж дорога!
Ну, не милы ли — и весь Ваш задумчивый хаос
(день не завёлся — и вышел пешком, спотыкаясь),
и неполадки при взятки быка за рога...

Тряпка состарилась красная, вялых движений
мирные волны уже никому не во вред,
копья летят наугад, не касаясь мишеней, —
кружево жизни: тяжёлая дурь поражений,
лёгкая дурь перемирий и тщетность побед.

(4)

Долгого романа
белые знамёна
бьются у дверей.
Это всё Измена,
это всё Исмена
с музыкой своей...

Три-четыре ноты —
наши карты биты,
и с ночных высот
сыпятся планеты:
все со всеми квиты —
не горюй, рапсод!

Если нету слада —
так пора отсюда,
стало быть, в полёт...

Да одна Засада,
да одна Досада
песенку поёт.

Да одна Причина
(поздно, дурачина!)
держит за грудки,
да старинной клятвы —
накануне битвы —
светят огоньки.

(5)

Так, за «простите», и душу отдашь...
Лгать — Ваша участь, и лгать — Ваш талант:
бывшего — не было, всё это блажь —
шпилька, булавка, заколка и бант!

Вам ли смущаться, теряться, краснеть —
ангел мой, всё ведь на свете игра, —
а на подносике — райская снедь,
а за плечами — пустыня Вчера.

Всё передёрнуть, но всё объяснить:
чудом вскочив на Корабль Дураков,
снова связать ту же самую нить —
всю состоящую из узелков...

...верую — не приставая с ножом,
верую — не приглашая на суд:

так же, как дети, когда мы им лжём,
верую, верую, ибо — абсурд.

Впрочем, однажды и это пройдёт:
выйдешь, вздохнёшь и — айда на Арбат!
Что ж это было с тобою? Да вот...
шпилька-булавка-заколка-и-бант!

(6)

Впрочем, может быть, ужин в «Шоколаднице»
за каким-нибудь блинчиком шальным
нас подружит опять — и всё уладится,
и полюбит нас Бог и иже с ним.
А на улице будет гололедица —
и все прочие собьются с пути,
но огромная Малая Медведица
будет нас очень тщательно пасти.
И одна за другою неурядицы
разбежаться начнут — кто куда,
и минувшее будущим нарядится,
но его мы узнаем без труда... —
ибо школьница, злюка, привередница
собираельница редких камней
всё равно уж едва ли переменится
и едва ли приблизится ко мне,
ибо жрица, святая, проповедница,
возжигательница нового дня

всё равно уж едва ли переменится
и едва ль удалится от меня.

(7)

Ну и что ж у нас теперь... да ничего:
утомился колокольчик речевой
волочиться по запутанным следам
всяких глупостей и всяких разных дам.

У него теперь заботы поважней,
чем тащиться позади беспутных дней,
семенящих вслед за дробью каблучков
по подвалам кабаков и кабачков!

У него теперь серьёзные дела:
надо сделать, чтобы жизнь была цела, —
между тем как жизнь давно уже, боюсь,
вся рассыпалась куда-то — ниткой бус...

Я за бусинками бегал с бечевой —
и смеялся колокольчик речевой:
потому что, напевал он, только звук
возвращает мир, отбившийся от рук.

Погоди, мой колокольчик дорогой,
я-то знаю ведь, какой в тебе огонь
и как быстро ты распугиваешь дни —
драгоценные пока... — повремени!

Я, пожалуй, задержусь ещё на час:
пусть бокалы побренчат — и постучат
каблучки, а я наслушаюсь их впрок
у начала новых строк или дорог..

(8) П и с ь м о к У ж а с н о й Д а м е

Здравствуйте опять, Не Было Забот!
Там у Вас июль, а у нас — февраль...
там у Вас всегда всё наоборот —
только, чтоб войти, надо знать пароль.

Там у Вас есть страж — очень строгий стриж,
и к нему с утра — запись на приём:
чуть не так spoёшь, чуть не так состришь —
и не пустит к Вам... разве — напролом!

Я боюсь того — жуткого — стрижа,
так что мне туда больше — ни ногой.
Только я скажу, что — стрижа держа —
Вы ведь не могли стать совсем другой.

Хрупкая судьба — королевский паж:
сеешь да не жнёшь, несмотря на прыть...
бедный, бедный стриж, бедный, бедный страж:
задержать — не жать, сторожить — не жить.

Славная судьба — аутодафе!..
Бог упас, я — пас: ураган затих.
А найти меня... на углу, в кафе —
где в ходу пароль «кофе для двоих».

(9)

Всё начнётся сначала: закрутится явь заводная,
и опять, проклиная себя, ты проглотить клинок,
балаганный шутник... и хохочет собрание, не зная,
что клинок застревает навеки — груди поперёк.

Шут с тобой, балаганный шутник, потешатель собраний!
Никаких словопрений — приказом капризного рта
ты направлен туда, где отныне — ни боли, ни брани:
жизнь опять прожита.

Сколько было их — жизнью-то... много — не сбиться б со счёта:
со щитом приходил и потом — прибывал на щите.
А последний круг ада, должно быть, и есть — круг почёта:
запоздалый венок — Суете, Пустоте и Тщете.

Три сестры развёселей ведут тебя, стало быть, прямо —
в преисподнюю, где бездыханный кружит хоровод,
и платочком в слезах провожает несчастная дама
твой счастливый уход.

1 0

Ещё одну минуту —
я что забыл сказать:
за эту же монету
Вас ангел впустит в рай.

Цена — она едина,
набор услуг — другой,
но яркость сновиденья
сильна и там, и там.

Мы свидимся — не думай...
сновидимся ещё:
Вы — той же самой дамой,
я — тем же, кем и был.

Простив мою фривольность,
примите от меня
последнюю реальность —
монетку... на проезд.

* * *

Виде Груздите

— А что между нами было,
Заезжий-на-Час-Ездок,
когда Вы промчались мимо?
— Любовь как короткий вздох.
Ещё между нами было
не столько часов езды,
как до... например, могилы,
до сердца или звезды.

— А что между нами стало,
Заезжий-на-Час-Ездок,
потом, в тесноте вокзала?
— Любовь как короткий вздох.
Ещё между нами стало
несходство двух языков
и то, что Вам лет... так мало,
и то, что я... был таков.

— А что между нами будет,
Завезжий-на-Час-Ездок,
когда всё опять забродит?
— Любовь как короткий вздох.
Ещё между нами будет
зима, а потом весна
и много похожих судеб,
Ваш муж и моя жена.

— Не слишком ли тонки нити,
соткавшие этот миг?
Прощайте, Ездок, простите
мой возраст и мой язык...

И, взгляд опустив на плиты
холодной своей Литвы,
Литвой, как будто молитвой,
себя утешили Вы.

* * *

Не идти — бормотать по пути
без разбора и прямо хоть так:
не печалься, до встречи, прости,
навсегда, никогда — бормотать.
Просто несколько слов, словно снов,
бормотать, стало быть, невпопад —
никаких не тревожа основ,
беспорядочно, как снегопад.

Из-под ног устремляется лёд,
удаляется мир — словно миф,
и душа уже не узнаёт
ничего, всё на свете забыв:
ей легко в этом сонме потерь
на последнем висеть волоске
и легко обвенчаться в метель
в дальней церкви неведомо с кем.

* * *

У зимы недолгий срок:
хватит взгляда... полувзгляда,
двух десятков беглых строк
на обёртке шоколада —
шоколадного суфле!
Как живёшь? То чёт, то нечет,
но на всей этой земле
нечего увековечить:

небосвод и тот поник
головой своей умнейшей!
Если что-то длится миг —
век мерещится, не меньше.
Но сейчас и век пройдёт —
как тоска по дальним странам,
как забавный анекдот,
показавшийся — романом.

* * *

Я забыл мой зонт в передней
на чужом крючке.
И строки одной, последней,
нет в черновике,
а была...
И, холодея,
я увидел, как
лучшая моя идея
скрылась в облаках.
А весёлая богиня,
скушавши обед,
улетела за другими,
прокричав: привет!

Но трепал один тромбончик,
глядя на луну,
на задворках, возле бочек
музыку одну:

так, пустяк, три такта, шалость... —
зная наперёд:
всё, что за́ день растерялось,
музыка — вернёт.

* * *

Мотылёк на еловую лапу присел
и блестел изо всех своих сил.
А плоды привезли из серебряных сёл,
где серебряный дождь моросил.
Мы украсили ими наш нищенский рай,
чтобы каждый обрёл, что просил.
Мы воздели звезду и сказали: сияй
и блести изо всех своих сил!

И сияла звезда, высока и светла,
и блестела как только могла,
и, когда накалилась она добела,
вдруг наладились наши дела.
Но, едва накалилась она добела,
как внезапно сторела дотла —
и опять вдруг разладились наши дела,
я уж точно не помню какого числа —
шестизначного, что ли, числа...

* * *

Душа моя, оставим разговоры:
я молча побреду по склону дня
в надежде, что Казанскому собору
нет никакого дела до меня.

И то, что он никак не отзовется
на голос мой — такая благодать...
а каменного жеста полководца
я ведь могу всерьёз не принимать!

Блуждая в трёх колоннах, как в трёх соснах,
я наконец подумаю о том,
что всё в моей судьбе довольно сносно
и всё прекрасно на ветру крутом,
что пробежит и этот день весенний —
день-ветреник, день-щёголь, день-пижон...
И пусто на душе, как в воскресенье —
как в воскресенье в городе чужом.

* * *

«My Dog and Myself»

Дорога была песчаная:
растаивал день у дюн.
Картина была печальная —
и сбоку стоял один
какой-нибудь куст, а спереди —
ни дерева, ни жилья...
И шли по пустому берегу
Моя Собака и я.

Тянуло прилежной свежестью
от вечера и от дум —
и юное побережье
казалось почти седым.
Брели и тихонько мыслили
о том, чтобы стать скромней,
счастливей и многочисленней
Моей Собаке и мне.

И так продолжалось несколько
столетий — за веком век.
И длилось всё то же действие,
и берег уже привык
встречать нас заливом пасмурным
и холодом пустыря.
Страдали приморским насморком
Моя Собака и я.

Планета была пустынная.
Планета была Земля.
Дорога была постылая —
ни дерева, ни жилья.
И бойкий прибой под дюнами
Плескался, как заводной.
Собака была придумана
Моей Собакой и мной.

* * *

Музыка-музыка, что тебе нужно,
что тебе, музыка, нужно от нас!
Время нам чуждо, пространство нам чуждо —
что тебе, музыка, нужно от нас!

Жизнь пролетает — и жизнь, пролетая,
с вальса собьётся на марш столько раз!
Красною тянется нить золотая —
что тебе, музыка, нужно от нас!

Красною тянется нить золотая.
Время ложиться: двенадцатый час.
Птичка, на лапку одну припадая, —
что тебе, музыка, нужно от нас!

Сядь-ка на кухне да выпей-ка чая —
хочешь, я встану зажгу тебе газ?
Птичку всю ночь из силка выручая...
Что тебе, музыка, нужно от нас!

Нить золотая да чашечка чая,
птичка в силке, то ли марш, то ли вальс —
то ль обольщая нас, то ль огорчая,
то ль отвергая нас, то ль привечая:
радости птичьей и птичьей печали,
чашка в силке да двенадцатый час!

* * *

Время: сумерки, дымчатый войлок —
нет ни года тебе, ни числа:
веселящийся рой недомолвок,
и зелёная чушь ремесла,
и зелёная глушь совершенства,
до которой полвека пути,
и — старательность детского жеста
в направлении «ти-ти-улет!»

Столько тайного смысла в копилке!
Может, кто-нибудь да разберёт
чистый день для прозрачной сопилки
на отдельные вишенки нот,
и разрушит из кубиков стену,
и опять возведёт: вот стена.
Лишь одни над землёй неизменны —
небеса, паруса, имена.

* * *

Тихое воспоминанье —
ни о чём таком:
как болтала тишь лесная
птичьим языком,
как в пруду была печальность,
и потом — в саду,
и как сумерки сгущались...
и как сумерки смущались,
глядя на звезду,

и как в воздухе висела
тенью небольшой
тучка — в образе костёла
с тонкою душой.
И как боги поглядели
на двоих людей —
и как длился две недели
ненаглядный день.

* * *

Бормотать чепуху, умирать со стыда
и отчаянно века да рока бояться —
всё бросает нас жизнь то туда, то сюда:
из объятий в объятия.
Мы не помним, какое сегодня число,
ибо мы не обучены этой науке,
и не ведаем, как нас опять занесло
в чьи-то нежные руки.

Эти руки... ах как они знают игру
обладания, но на мгновенье — и только!
Нам трепещется в них огоньком на ветру
так недолго, так тонко —
голубой лепесток, золотистый лоскут,
полоумная бренность во всех ипостасях...
И опять мы не знаем, когда нас зажгут
и когда нас погасят.

ТРИ ПЕСЕНКИ ТРЁХ МАСОК

Коломбина

Жизнь летучая, жизнь каруселья,
жернова... карнавал, кутерьма!
И — в зените чужого веселья —
полумаски моей полутьма,
полуарочка — полуворота:
Вам их, видимо, не миновать!
Но — простите: петля поворота —
и опять я лечу мимо Вас.

Ах, веселье продлится недолго —
ах, какой-нибудь год или век!
Но, покуда не смолкнет франдола
и покуда не кончится бег,
Вам ловить мои пёстрые платья
за мгновенья цветных рукавов —
и узнать Вам, разжавши объятья,
что под платьями нет никого.

Вы, мой рыцарь, летели за тенью —
то есть в прошлое, то есть назад, —
и прогнали своё сновиденье
слишком грозным бряцанием лат.
Я — не всё ль, что Вы прежде любили
и оставили... это ль не я?
Так ловите своей Коломбины
полумаску и ворох тряпья!

Арлекин

Ромб сложи с таким же ромбом,
бубенец — со звуком дробным,
лоб... да хоть и с местом лобным,
а печаль откинь.

Но с десяток старых шуток
собери — и пусть вошьют их
там, где сердца промежуток:
будет Арлекин.

Смех да грех... средневековье,
счастье заперто в подкове,
нет надежды пустяковой,
чем улыбка... эх,
чем улыбка Коломбины,
чем улыбка злой судьбины!
Мы друг друга так любили —
просто смех и грех...

Ромбов плоское мельканье,
вечный праздник на аркане,
правды в вашем Арлекине
нету ни на грош.
До чего ж неладно скроен,
до чего ж наряд нескромен,
но народ пришёл с окраин
и кричит: хор-рош!

Говорила маска маске:
мы нелепы, мы громоздки,
нам оставить бы подмостки
жизни кочевой!

Говорила слёзка слёзке:
мы с тобою просто блёстки,
просто смеха отголоски —
больше ничего.

Т а р т а л ь я

Вы летали без участия Тартальи,
а Тарталью вы за фалды хватали
и за букли из растрёпанной пакли,
но Тарталью не поймали, не так ли?

С чем мне вас и остаётся поздравить,
ибо всё на белом свете игра ведь —
в догонялки, и особенно в прятки,
и особенно в у-нас-всё-в-порядке.

Ну, в порядке так в порядке — и ладно,
только выглядите вы неприглядно...
но, должно быть, это я с непривычки
или где-то не поставил кавычки!

Вы летали без участия Тартальи,
вы слова свои, как шпаги, глотали,
а Тарталья удалился в аллею
и не в силах был помочь — сожалею!

Но не то чтоб он там был чем-то занят
и совсем не мог вмешаться, мерзавец,
только музыка уже отзвучала —
не потребовалось злого начала:

ибо что же... вы и сами с усами —
и со счастьем расправились сами:
поздравляю, Ваша Честь, Ваша Милость, —
у меня бы лучше не получилось!

* * *

Какого чёрта, милое концерто?
Оставь меня, иди к своим богам!
Душа пережила своё треченто
и кватроченто — и сказала: тщетно,
напрасно, ни к чему весь этот гам.

Забьлось всё: как слушалось и пелось
и как игралось ниточками хорд,
как радовалось, как пилоь и елось, —
сыта обременительная зрелость
и любит положительный исход,

а всё же, всё же... образы, стрекозы,
и ласточки, и ранняя весна:
глубокие февральские наркозы,
но сразу после — розы-грёзы-слёзы
и древняя, как небо, новизна.

* * *

Два левкоя на балконе —
знаете левкой?

Это облачко такое
и такой покой,

мотылёк такой поблёклый,
розовый такой,

огонёк такой далёкий
в поле за рекой,

поцелуй такой воздушный
из нездешних уст,

дудочки такой пастушьей
узенькая грусть.

Значит, мы простимся вскоре
с нашею тоской!

— Вы о чём?
— Я о левкое —
знаете левкой?

* * *

Итак, отказавшись от таинств,
ты хочешь от песни опять,
чтоб — кроме того, что летает, —
могла б ещё и объяснять?
Но нету у песни весенней
ни опыта, ни существа —
и нет никаких объяснений,
а только пустые слова.

И если ты можешь плениться
словами — пленись наконец:
ты арфа, ты райская птица,
ты, как тебя там... бубенец!
И ты подымаешь, как знамя,
как пламя, как пенный бокал,
своё золотое незнание
навстречу идущим векам.

Г Е Р М А Н И Я

Там музыка на дереве росла,
там что-почём совсем не понимали —
однажды в марте или позже, в мае,
какого-то безумного числа.
Там зрели на церквях колокола,
и падали, дозрев, и разбивались,
и говорят, что рядом жил Новалис,
но это очень старые дела.

А новые... запретная страна
отпетая — и сильно виновата,
и ни ответа больше, ни привета,
пал колокол, и лопнула струна.

И всё же... до всего, до нас с тобой,
до всех вокруг — однажды было: детство —
до юности, до этого вот текста,
до памяти с походною трубой,
до — до Второй октавы мировой,
до Чаплина... до всей этой печали!
Что ж... — скрипочки одни, виолончели,
да Бах, да Бог — тогда ещё живой,
да Лорелей (почти палеолит!),
да полчаса покоя nach dem Essen...
Каких потом не досчитались песен,
каких стихов, и сказок, и молитв!

* * *

Апрелем — ветренным, ничейным —
в кашне — завязанном узлом —
тоскует мир по приключениям,
и забывает о былом,
и ходит быстрыми шагами,
и, оступиться не боясь,
почти что скачет — отвергая
весь список зимних постоянь!

Прощай, классическая пьеска:
нам, стало быть, не удались
единство времени и места,
единство действующих лиц,
прощайте, боги и богини, —
недолг был ваш строгий срок!
Никто, и Некто, и Другие
теперь вступают в диалог —

и мы уже знакомы с каждым,
они теперь в любом из нас —
как знать, что мы сегодня скажем,
а завтра сделаем... как знать!

* * *

Вот так и жизнь: шумнёт, сомнёт
цветок, платок, письмо,
упустит птичку из тенёт,
вздохнёт, всплакнёт — и всё.

Поди поймай её потом
какой-нибудь из линз!
Уже не в фокусе твой дом,
уже другая жизнь
сверкнула и почти прошла —
успеть хотя б за ней,
чтоб, скажем, с этого числа
не пропадало дней,

чтобы каждый день — на цвет и вес —
ты сразу б опознал!
Но нет, рассеянный ловец,
опять ты опоздал.

И за весёлой суетой —
поодаль, стороной —
мелькает хвостик золотой
судьбы — ещё одной.

* * *

А там — что же там... там одно никогда —
такая пустая идея!
Вертя́тся колёса, струится вода —
и мельница жизни поёт никогда, —
куда же ещё никогдее?

А срок... всякий срок — это несколько строк:
четыре обычно — под ними
подводит черту Иоганн Будденброк:
на нём и закончится, стало быть, срок —
куда ж ещё лишнее имя?

В домовую книгу вписав соловья,
грача и ещё куропатку,
задуматься: что за чужая семья,
и кто из них кто, и какой из них — я?
Возврат — это дело порядка.

Всё кончится там, где оно началось, —
из просто пристрастия к ритму:
и злость, побывавши любовью, во злость
вернётся: домой... — заблудившийся гость,
подмявший в пути маргаритку.

Тому-то и учит нас рифмы урок —
мятущейся странницы, давшей зарок
вернуться однажды к обеду:
и сколько б ни виться верёвочке строк,
а будет петля — и на это есть Бог,
оставивший нас на одной из дорог,
но пообещавший: приеду.

* * *

Окарина на окраине —
на окраине чего?
Окарина на окраине...
на окраине — всего.
Гроыхает в кухне супница,
задевая за игру, —
если музыка оступится,
я, наверное, умру.
Ходит дудочка на цыпочках
по обрыву бытия
с горсткой нот своих рассыпчатых,
отнятых у забытья.
О, карина, как я верю Вам
в час, когда почти бегом

сон учёный с плоским веером
бродит по цепи кругом!
Стой, попавшая на удочку
вечной музыки одной,
жизнь длиною в эту дудочку,
в эту музыку длиной!

* * *

В этом возрасте стихи
никакие не стихи,
а такие пустяки!
В этом возрасте слова
никакие не слова,
а крутящиеся лихо
золотые жернова:
не порхай над ними, птаха,
улетай, пока жива!
Размолотят подчистую —
превратишься в золотую
пыль, и все тебе дела...
В этом возрасте хвала
значит больше, чем победа,
братство — больше, чем свобода,
верность — больше, чем любовь,
и смешит любая явь,
хоть никто об этой яви
всё равно судить не вправе
в этом возрасте пока.

В этом возрасте легка
мысль, и речь легка, и память,
и Господь у них — бубенчик,
а отнюдь не кто-нибудь,
ибо, мастер пустословить,
он смешлив и беззастенчив
и, конечно, знает путь!

* * *

И открытку от Вас получить вскоре —
голубую открытку, моя радость:
на одной стороне у неё — море,
на другой стороне у неё — адрес,
и немного любви, и лихой росчерк
«Ваша...» — следует имя, за ним — дата.
Впрочем, имени может не быть — впрочем,
даты может не быть: просто — ког-дата.
Впрочем, может не быть и любви, если
море будет большое, моя радость, —
и любовь не поместится: нет места —
будет море и адрес, хотя адрес
может не уместиться... тогда, кроме
повсеместного моря (вдали — парус),
не придёт ничего... — и само море
тоже может застрячь посреди пауз!

Если так, то, пожалуй, моя радость,
мне не нужно от Вас ничего вскоре —
ни к чему, моя радость, мне Ваш парус —
что мне в парусе Вашем, раз нет моря?

МАЛЕНЬКАЯ ТРАГЕДИЯ

Мне заказали музыку: не некто-одетый-в-чёрное, не чёрный человек — таких ко мне пока не заходило, и слава Богу: было б слишком рано, — но некая бесцветная особа: не то чтобы *учтиво поклонившись*, а просто так — придя и заказав... произнеся при этом: «Я заказчик».

И что-то было у неё в руке — конверт какой-то: «Тут вознаграждение», — она сказала и — вознаградив — уже хотела было удалиться куда у них ведётся: восвояси, но я её немножко задержал и предложил: «Присядьте, поболтаем: тут кофе и хороший шоколад».

Присели... «Вот что, дорогой заказчик, — я произнёс: — Вы, стало быть, не в чёрном, и это — Ваша первая ошибка... — Вам с молоком или без молока? — поскольку, по характеру события, Вам следовало бы прийти не в этом... в чём Вы пришли, но выбрать *чёрный цвет*: так делают заказчики, поверьте.

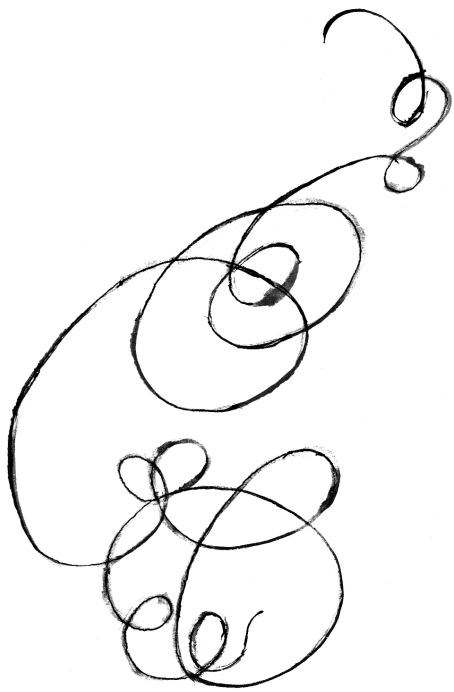
Потом, и это будет во-вторых, Вы ни вчера ко мне не заходили, ни поза... — как я думаю — вчера. Вы только раз пришли: застали дома

и думаете, так оно и надо,
хотя разыгрываемый сценарий
визит предполагает троекратный
с заказом музыки *на третий раз*.

Очередное Ваше упущенье
в том, что вошли Вы так, как входят в лавку, —
напомню: не учтиво поклонившись,
а словно делая мне одолжение...
заказчики себя так не ведут:
они воспитанны, они смиренны —
и в руки не суют конверт с порога...
возьмите шоколада наконец.

И я Вам так скажу: поскольку, значит,
Вы слишком плохо знаете сценарий,
я музыки для Вас писать не буду —
вот Ваш конверт: вознаградитесь им.
А я... я подожду — пока у двери,
на третий раз, учтиво поклонившись,
появится мой чёрный человек,
единственный и истинный заказчик.

Держите хвост морковкой — и привет!»



КАК ВЕРЁВОЧКА ВИЛАСЬ

1976–1982

* * *

Как верёвочка вилась
вензельком неотразимым
по горам и по низинам,
где не раз встречали нас!
Как верёвочка вилась —
то бегом вилась, то шагом,
по горам и по оврагам —
обстоятельно и всласть:
через речку, через мост —
чуть скользя на парашюте...
И ничто на белом свете
никогда так не вилось,
и ничья на свете власть,
и ничьи на свете речи
не бывали так сердечны,
как верёвочка вилась!
А любовь была не страсть,
не высоты, не глубины —
мы друг друга так любили,
как верёвочка вилась.
И, когда в последний раз
я исчезну в чистом поле,
ни о чем я так не вспомню,
как верёвочка вилась!

* * *

Тетрадь оставлена в саду —
стихи, промокшие насквозь,
уже совсем нельзя прочесть.
Размыло небо и звезду,
размыло синих ягод гроздь
и всё, что прежде было здесь.

А было несколько имён,
и несколько любовей к ним,
и сумасшествий, и чудес.
И плавал колокольный звон,
и плавал беспризорный нимб,
и всё, что прежде было здесь.

Чаи гоняли допоздна
и говорили наобум
слова — какие только есть.
И жизнь была ещё нужна —
и смех, и блеск её, и шум,
и всё, что прежде было здесь.

Гадали кто на чём горазд,
пророчествовали о том,
чего не выпить и не съесть.
Лепили из подручных фраз
кто бога, кто корабль, кто дом —
и всё, что прежде было здесь.

Теперь уж не восстановить
ни строчки: тут какой-то бред,
тут дождь навеки промочил
всё-что-имело-место-быть,
но по рассеянности, нет —
по глупости, нет — без причин —

1996

* * *

Старая-старая повесть:
Древний Египет, Китай...
Утро просило: опомнись, —
день говорил: испытай.
Вечер в глухом покрывале
вёл меня в маленький ад —
там меня с толку сбивали
и отпускали назад.
И, в темноте меня бросив,
ветер — фельдфебель, шагист —
в спину бросал мне: философ! —
и добавлял: берегись.

Но, по окраинам мокрым
идучи миром чужим,
тихо твердила: посмотрим! —
милая мудрая жизнь.

* * *

Это Ваши слова — не-печальтесь-пройдёт-
а-печаль-если-прошлая-значит-чужая!
И не помню уже, сколько лет напролёт
я живу с этим знанием — и не возражаю,

хоть никак не проходит всё то, что должно
проходить, — и, как прежде, то муча, то жая,
прямо в сердце мне врезано Ваше окно,
и горит, и горит — и я не возражаю.

В том окне всё пируют — и дай-то им Бог
пировать, своих сроков не опережая,
и, бокал подхватив за сверкающий бок,
позабыть обо всём, что я смог и не смог..

Я живу хорошо. И мой сумрак глубок.
И легка моя жизнь, и я не возражаю.

* * *

Старьёвщик-вечер собирает в горсть
нелепые дневные сувениры:
листок породы оторви-да-брось,
брелок с ключами от пустой квартиры,
записка... то есть подпись из неё,
мотивчик — надоеднй, хоть не слушай...
Чудесное смешное вторсырьё:
дай только срок — оно ещё послужит,
лишь ночь настанет!

И настала ночь,
и я — опять спускаясь в ад из рая —
всё то, что удалось мне приберечь,
кладу перед собой — перебирая
бесценный мой, прекрасный мой утиль:
билетик, кремешок от зажигалки...
А на ботинках серебрится пыль
от нашей с Вами утренней прогулки.

* * *

Когда я вдруг исчезну
в лирическую бездну
и Вам вдруг станет плохо —
Вы напевайте Баха.

Навязчивые мысли
оставив в пыльном кресле,
Вы напевайте Баха
от вздоха и до вздоха.

Забудьте все печали,
пойдите на качели
и напевайте Баха
от взмаха и до взмаха.

А к моему прощайте
себя не возвращайте:
не поминайте лихом,
а поминайте Бахом!

* * *

В этом тяжёлом месиве
слов, поцелуев, встреч
я бы на Вашем месте бы —
но не об этом речь.
Там, посредине пёстрого
мира больших надежд —
что там на месте острова:
музыка или брешь?
А в небесах смущение,
видное через щель:
дескать, что́ за смещение
всех на земле вещей?
Место предметов — мысленно —
заняли облака.
Бедная моя истина,
Бог с тобой и — пока!

* * *

Не гадать по птичьим стаям,
не гадать по крышам зданий,
сколько мы с тобою стоим
в день базарный, в день бездарный, —
но как можем пощечем
над весёлыми лотками!
Чем нас взять? Да, в общем, нечем —
разве голыми руками.

Не спасти беспечной ноши
от одной седой стихии —
сдует ветром жизни наши,
словно пёрышки сухие.
Но на вечность ли польститься
в сутолоке, на базаре,
где — *не две ли малых птицы*
продаются за ассарий?

* * *

Зацепиться за что-нибудь в светлом потоке
вешних вод полоумных, хватать наугад
золотые соломинки — детские строки
и потопленный там же бумажный фрегат!
И — держаться во что б тебе это ни стало
за крючок обещанья, чей срок миновал,
за верёвочку веры, чьей помощи мало,
и за бант ваш пунцовый, сеньор Карнавал.

Как подумаешь — сколько волшебного хлама
есть у прожитой жизни!
Открыли мешок —
и смотрите-ка: вот вам от жалости — рама,
от любви — поводок, от тоски — ремешок,
от обиды — булавка, от боли — иголка,
от заботы — заколка, от флага — флагшток...
сколько было всего, сколько нету — и сколько
нам ещё принесёт с собой этот поток!

* * *

Я о чём... о тумане, о дыме
и о том, как непрочны следы!
Им бы буквами стать золотыми,
да любовь — ненадёжное имя:
имя воздуха, имя слюды.

Всё качнулось, едва лишь наладясь,
и прискучило то, что влекло, —
стало тихо и пусто в тетрадах:
я забуду тебя, моя радость,
и уеду в моё далеко.

Чем мы жили? Да, в общем, случайным
ветерочком, да строчкой чужой,
да серебряной ложки бренчаньем,
да смеркавшимся к вечеру чаем,
да пугливой, как свечка, душой.

А сказать ли, воробьшек, сойка —
кто б любовь нашу ни сочинил, —
и не так он хотел, и не столько...
Да само это имя нестойко,
словно запах дымков и чернил.

* * *

Рассмеялась ночь сырая —
и над крышею сарая,
нет, над крышею сераля
разожгла звезду.

И она висела сбоку —
празднично и одиноко,
штучка Старого Востока
в молодом саду.

И золотая эта шалость
приглушала обветшалость:
обветшалость освещалась
чуть со стороны —
и у старого строенья
подымалось настроенье,
и тогда следы старенья
не были видны.

И тогда столетья наши
потянулись, словно баржи, —
мы так и не стали старше,
но всегда — впотьмах,
в час, когда золотая шалость
освещала обветшалость, —
Вечность с Юностью шепталась
о своих делах.

* * *

В узком каменном переулке,
в тесной маленькой тишине
я серебряная иголка,
затерявшаяся на дне.

Было славно петлять напрасно,
да давно оборва́лась нить.
Как хоронит людей пространство,
обречённое хоронить:

только вынырнет и заплещет
человек-поплавок на свет —
что там... тросточка, шарфик, плащик! —
и его уже сразу нет.

А когда, на лету старея,
станет утром ночная мгла,
самый тихий могильщик, время,
нам помашет из-за угла.

* * *

Вот изнеженное имя —
и неласковое время
с ним обходится весьма
и весьма неосторожно,
а на свете как нарочно —
не сказать чтобы весна.

Нам ли сетовать с тобою,
что не слишком голубое
небо памяти людской,
что опять всё те же бесы
дразнят нас из той же бездны,
именуемой Москвой,

что все новые идеи
превращаются на деле
в тот же самый страшный сон...
Это труд—но—вы—но—си—мо:
дай мне дольку апельсина —
и забудем обо всём.

* * *

Ну что же, я переживу
и это — не переходя
ни в землю, ни в прах, ни в траву
короткой походкой дождя,

балладу одну допишу
(когда-нибудь этой зимой),
одежду одну доношу
(пальтишко и шарф с бахромой).

И снова — как некий моллюск,
своей щеголяя тщетой, —
я странным богам домолюсь —
и, может быть, вымолю что.

А если не вымолю что —
так пусть, и другим обойдусь:
не рваной моей нищетой —
нирваной, как старый индус.

Всех сразу — простить и понять,
и как-нибудь так порешить:
когда Вы умрёте — опять,
мне этого не пережить.

* * *

Собрание деревьев — седых и сутулых, —
давай не пойдём мимо них,
ночной мой приятель, слепой переулок,
гуляка, обманщик, шутник!

Куда мы сегодня — на пристань, на площадь,
на голос трамвая в ночи,
на свет фонарей — долговязых и тощих...
скажи, объясни, научи.

А вот, погляди-ка, несложный рисунок —
вперёд, переулок, за ним:
за следом каких-нибудь маленьких санок,
за светом надежды двойным!

Хотя ведь ты в этой нежнейшей охоте,
наверное, мне не родня —
и, значит, на первом крутом повороте
забудешь и бросишь меня,

и я улечу в темноту городскую
две ленты ловить, две шлеи,
а там — не распутать уже ни в какую
пути мои, пути мои.

* * *

Я вышел поздно — облаков регату
не проводив к далёким берегам
залива. Подступавшая к ногам
волна почти закончила токкату,
а свет ещё мерцал, но только дунь —
и в тот же самый миг погаснет день...

В конце залива потерялся вход
в балтийский порт — и в опустевшем взоре
на место, предназначенное морю,
ничто не стало — но, наоборот,
глазам открылась, словно в первый раз,
неполнота представленных пространств.

Куда-ж-нам-плыть? Бездомно и рогато
вставал балтийский месяц, меж камней
лежала ночь — и ключья серой ваты
росли и становились всё плотней, —
так в самый первый из эстонских дней
я опоздал на празднество заката.

* * *

Что-то Вы ещё сказали
перед тем, как всё прошло.
Всё-кончается-слезами —
вот что Вы ещё сказали.
Ах, как это хорошо!

Это истина взглянула
коротко на нас.
Это вдруг на спинку стула
бабочка легко вспорхнула
и легко снялась.

Это мудрость на минутку
нас приобняла —
обратив жар-птицу в утку,
превратив всё это в шутку,
вот и все дела.

Ни о чём вздохнула совесть,
как в бутылке джинн, —
и, заплакать приготовясь,
улыбнулась — жизнь.

* * *

Всё вертит нами ветер так и сяк,
всё путает, темнит, сбивает с толку —
мы землю оставляем и подолгу
скитаемся в безумных небесах,
а там такая пустота и ширь,
что не зацепишься, как ни надейся,
за Петропавловский плавучий шпиль
и бледную стрелу Адмиралтейства.

И рад бы, на неясный целясь блеск,
лететь, куда зовёт стрела резная,
а там и — соскользнуть по ней с небес,
да смутен путь... и я пути не знаю,
хоть ма́нят полуптицы-полульвы
назад, хоть тем же самым небосклоном
за мною скачет с берегов Невы
зелёный всадник на коне зелёном.

* * *

Ночи воинство и таинство —
стая бабочек ночная...
Что ж, пожалуй, расквитаемся —
с небольшого начиная:
с апельсиновой ли корочки,
со скорлупки ли ореха —
по порядку, потихонечку,
как бы так сказать... для смеха!
В смехотворном этом перечне
сплошь потери да убытки:
разочтёмся до копеечки,
до пылиночки, до нитки,
до иголки-булавочки —
или как-нибудь иначе:
до последней в мире бабочки,
до последней в жизни ночи,
и — как мыслями и письмами
(ненамного тяжелее!) —
под конец махнёмся жизнями,
ни о чём не сожалея.

* * *

Как бы буря ни кружила,
ни сминала, ни крушила
тонких кружев бытия —
всё равно его узоры
зелены и бирюзовы
и летуча кисея.

И, любезнейшая буря,
я ещё покаламбурю,
подурачусь, попляшу
и прощу любую шалость,
если ты не возражаешь,
моему карандашу!

Мир сам по себе прекрасен,
и без нас уже не раз он
после бури выживал —
пусть летает, где захочет,
кружевная стайка строчек:
я не пастырь кружевам.

* * *

Слышишь, как всё удаляется, как по кривой
за косогор удаляется, чтобы на склоне
сбиться с дыхания?

Путь твой не то чтобы твой:

он был навязан тебе, ибо он есть погоня.

Этот вот образ — он так и останется: тот,

чуждый, туманный, подобный далёким планетам...

как всё разбросано, как расстоянье растёт
между названием предмета и самым предметом:
вот уже только в бинокль, а вот уже лишь —
авиапочтой... а вот уже лишь в сновиденьи
ты доберёшься, домчишь, долетишь, допаришь
до осязаемой почвы от вечной идеи:
ты проходил уже прежде по этим местам,
ты уже гнался когда-то за этой эпохой...
Вот она, здесь, твоя жизнь, а ты всё ещё там —
словно Ахилл, устремившийся за черепахой.

* * *

Внезапные встречи, случайные числа,
прогулки по землям чужим...
Пока ещё всякое может случиться,
я рад Вам, разумница-жизнь!
Не это — так то, а не то — так другое:
не бодрствовать ночью — так спать,
не светлая радость — так тёмное горе,
не музыка — так листопад!
Течёт ли в Париже серьёзная Сена,
а в Вене — беспутный Дунай?
Не всё ль равноценно и, значит, бесценно:
не думай, не забывай.
Есть время ещё для двукратного залпа —
и как-нибудь можно успеть
в двух разных местах оказаться внезапно,
две разные песни запеть,

двух женщин любить и двум правдам учиться:
неправде и лжи — наугад!
А там... если что-то и может случиться,
так выбор уже небогат.

* * *

Что, мой милый старый август,
станем горевать
и искать в бумагах адрес
о пяти словах?

Помню, где-то в этой папке:
вынем и — айда!
Помню, наезжали как-то —
позабыл куда.

Там ещё сперва налево,
а потом — село,
там ещё такое лето
красное цвело,

там один такой зайчонок
прыгал по кустам,
и два ворона учёных
говорили там:

— Если вашими шагами,
то шагов шесть-семь...
Помню, жизнь была другая —
новая совсем.

* * *

Забудем обо всём ночном —
довольно всякого такого:
давайте-ка опять начнём
урок надежды бестолковой,
давайте-ка решим, на что
(авось, всплывёт какая малость!)
мы не надеялись ещё
и чем ещё не занимались?
Займёмся, что ли, чепухой
гаданья на кофейной гуще —
давно осевшей и сухой,
но будущее стерегущей
и осеняющей крылом,
отчётливым и загорелым...
За праздным посидим столом,
за призрачным капризным делом!
А там уж — пан или пропал,
а там уж — что бы ни пропало —
начнёмте вновь, любезный пан,
надеяться на что попало!

* * *

Пожалуй, яблочко зари не слишком-то румяно,
а утра вкус хоть и хорош, да всё же кисловат,
и горек, как табачный дым, вкус нашего романа —
и вроде б надо горевать, да что ж тут горевать!

Всё не дотягивает жизнь до счастья, до покоя —
и этот утренний пробел меж тьмою и зарёй
даёт понять, что всё вокруг немного не такое...
что героиня чуть скучна и чуть смешон герой.

Сон не досмотрен до конца и недоварен кофе —
всё брошено на полпути, оставлено как есть,
и в этом вечность, может быть, — нет вещи пустяковой,
чем вечность... завтра как-нибудь закончим, Ваша Честь!

А завтра новые дела — и вот уж новый образ
произрастает на листе, и новые слова
не покрывают жизни всей — и остаётся область
тумана, сумерек, дождя, и снов, и колдовства.

ГО Д КО ЗЫ

Говорите, всё ясно, но в этом и грусть?
Не грустите, всё очень темно:
ведь и новых понятий неполная горсть —
от неё не светлей всё равно.
Не светлей от того, что гроза есть гроза —
мало ль в жизни таких новостей!
Погремушкой своей золотая коза
собирает на праздник гостей:
при зелёной грозе на лугу пировать,
без конца поминать времена,
где давно не бывали и уж не бывать...
голоса, небеса, имена!

Эти речи по кругу — одна за другой —
и бокалы — один за другим:
о, гроза есть гроза, и покой есть покой
и, конечно же, гимн — это гимн!
Нам надолго запомнится новый урок —
безотрадный, никчёмный, скупой... —
но всегда есть о чём говорить между строк,
между делом и между собой.

* * *

Задвинув в дальний угол тьму,
отбросив страсти, как лохмотья, —
однажды Вы меня поймёте,
и я однажды Вас пойму.
 Когда приходит Всёпрошло
 с последней точкою в романе,
 то от взаимопониманья
 бывает пусто и смешно.
Но ты, поэзия, но ты —
ты, объясниться не умея,
всё просишь недоразуменья,
обмолвки и непрямоты,
 но ты, поэзия, — дитя:
 возьми себе картинку, бусы —
 играй, забудься, залюбуйся,
 дай разобраться нам, хотя... —

вбегай, пожалуй, в наш роман,
чтобы героев в том романе
мы сами бы не понимали —
да и никто б не понимал.

* * *

По Арбату, говорят, развешан дождик —
экий взяли на себя нелепый труд!
На Арбате, говорят, сидит художник
и рисует там весь-мир-за-пять-минут,
а мольберт его — вселенная на сваях
комариных, выше некуда вознесть!
Мы пойдём к нему: пусть он не забывает,
что и мы с тобой под этим небом есть.

Пусть и нас он нарисует уголёчком,
в уголочке мироздания, на краю —
инструментом хоть и вечным, но не точным...
Ну конечно, я тебя не узнаю:
горстка воздуха да полщепотки шёлка,
а печаль, хоть и похожа, да не вся...
что до чёлки — золотая эта пчёлка
улетела за моря и за леса!

Но весь мир... с ним так и надо, значит — круто.
Твой ли облик, мой ли, чей ли... ах, пустяк!
Остаётся даже лишняя минута
от пяти... и, рассмеявшись вдруг чему-то,
мастер дарит нам с тобой её за так.

* * *

Горчат пирожные миндальные,
горчит фруктовая вода.
Я вспоминаю об Италии,
в которой не был никогда.

Что там за Piazza в тёмном омуте,
кто там весь день поёт на ней?
Ах, это только шутки памяти
по поводу небывших дней.

Что ж, полетели, моя ласточка,
на Piazza del Чего-Нибудь!
Хвоста причудливая кисточка
пускай нам прорисует путь

на Piazza delle Испытания,
del Одиночества, del Слёз,
где ты грустна, моя Италия,
где я не в духе и так далее,
где это всё переплелось

с запутанными, нерешёнными
вопросами, где до сих пор
два горьких кофе-с-капюшонами
ведут свой тёмный разговор.

* * *

Ты говоришь, что день ещё придёт, —
и этот день, как сказано, приходит,
приходит и смеётся во весь рот:
Вот я пришёл — что хочешь, то и делай!
Ты говоришь: Да чтоб вам пусто всем! —
и всем на свете делается пусто,
ты говоришь: Не бить! — стенным часам,
и сутками часы не бьют и терпят.
А скажешь: Бить опять! — опять и бьют,
и музыку играют заводную,
потом ты просишь — и тебе дают,
потом стучишь — и открывают двери,
и в них маячит тёмный силуэт,
но не понять, кто там стоит в проёме, —
тогда ты говоришь: Да будет свет —
и свет в ответ немедленно бывает.
Так тут ведётся испокон веков —
и всё равно, кто первый это начал,
но нам с тобою хватит облаков,
деревьев хватит и светил небесных.
Прикурим-ка от этой вот свечи
да посидим, не шевелясь, в потёмках...
а станешь говорить — и замолчи,
и пусть тут всё останется как было.

2005

* * *

Вот тебе мой чужой бред:
ничего у меня нет
впрочем город с его тьмой
он-то есть да не есть мой
мне его одолжил век
как одну из ночных вех
чтоб не слишком скучал взгляд
на пустынном пути в ад
ночь мне снега швырнёт горсть
потому что азъ *есымъ* гость
и пылает светлей звёзд
нищеты золотой крест
а сегодня я был там
где когда-то стоял дом
в этом доме горел свет
много-много твоих лет...

1990

* * *

Не плачьте, ни стихи, ни жизнь, ни сон!
Пусть грусть шуршит: она всегда шуршит,
как стрекоза, как вереск, как самшит,
как что-нибудь ещё... я обо всём.
Часы стрекочут — тиканье часов
напоминает лето и тепло,
когда цикады сотней голосов
своё сухое тешат ремесло.

Что ж... разведём костёр из сушняка
и в прошлое отныне — ни ногой!
Смотри, сухая времени рука
подбрасывает хворосту в огонь:
горят архивы, и горят мосты,
и мысль твоя — последним огоньком...
чьи отсветы ложатся на листы
сухим воспоминаньем — ни о ком.

* * *

Ну, и чего же ты хочешь —
кроме того, что имеешь,
память моя... я тотчас
назову тебе каждую мелочь:
 крохотный сад с лопухами,
 большими, как небо и море,
 или письмо со стихами —
 смешное такое... прямое!
Вот ещё помню — башню
где-то в Литве вечерней,
или явленье Вишну:
индийские увлеченья...
 счастье на длинных нитках —
 воздушных шаров свобода,
 облака на старых открытках
 моего небосвода.

* * *

Как всё вокруг звенит, кроме того,
что не звенит, поскольку и не может!
Но я о том, что может: стайка мошек,
монетка по булыжной мостовой
и вот ещё... поэзия — стрела
или, не знаю, льдинка, колокольчик —
позванивает как когда захочет
про разные прекрасные дела!
Поди пойми, о чём она сейчас —
о том или совсем уже об этом?
Ни долгом, ни законом, ни обетом
не взять её: не хочет отвечать.
А глупостям её одна цена
в базарный день — вы знаете какая!
Всё б только ей звенеть, не умолкая,
всё б рассыпаться, путать имена,
обмолвившись, других принять за вас,
надеяться, что вывезет кривая,
задуматься — кого и как назвать...
позванивая, но не называя.

М О Л Е Б Е Н

...ещё помолимся за тех, кому не надо
ни наших слов, ни понимающего взгляда,
ни прочих глупостей, которым грош цена, —
пусть будет участь их поюнна, и вабна.
И пусть никто и никогда их не поймёт,
пожмёт плечами и проходит стороною —

так, как случается с грозой и с войною,
и пусть подольше не настанет их черёд.
Ещё помолимся, чтоб их не поминать —
тем паче если на ходу, тем паче всуе:
пусть, никого на свете не интересуя,
они свершают свой хрустальный променад —
свою прогулку по-над схваткой, по-над тайной...
И Бог, помахивая палочкой хрустальной,
пусть дирижирует их поступью, пока
под их ногами проплывают облака
и в этом мире нету им другой опоры.
За них помолимся, за этих мотыльков,
за долголетие их лёгких облаков
и за бесстрашье неопасной их рапиры.

...ещё помолимся за тех,
кого не жалует успех,
к кому не прилетает слава,
кто говорит: «Нас Бог забыл —
и все приглашены на бал,
а нам не сказано ни слова».
Помолимся за то, чтоб им
не ел глаза жестокий дым —
слезоточивый дым курений,
и чтоб грохочущий обоз
и в этот раз им не привёз
в подарок скипетра с короной.

За лёгкий плот, за горький пот,
за ночь, когда они корпят
над маленьким, над лучезарным,
единственным своим трудом —
да не наполнится их дом,
их бедный дом, жульём базарным!
И да свершат они свой труд,
да не собьют их, не сожрут,
не растерзают людоеды!
Дай им, Господь, в свой час, в свой срок
в горшочке вырастить цветок —
неведомый цветок победы.

...ещё помолимся за тех, кто стиснул зубы,
кто стиснул зубы и молчит и так живёт —
не из гордыни, упаси вас Бог, а дабы
идти вперёд.
За тех помолимся, кому идти вперёд:
чтоб им идти вперёд, зубов не разжимая,
и чтобы жизнь их — неуклюжая, хромая —
вдруг не свершила слишком резкий поворот.
Они как дети — и не видят ничего:
приди возьми их просто голыми руками,
их собирает колокольчик кочевой,
их за собою тащит время на аркане.
Они не помнят, как зовут их, где их дом,
они не делали привала много суток —
и золотой их, их сияющий рассудок
навек пленён несуществующим плодом,

который ждёт их вдалеке, который жжёт...
И, Боже правый, светозарный, златокрылый,
Ты вразуми их, и спаси их, и помилуй,
и пощади, и дай им в руки этот плод.

...ещё помолимся за беглых —
помолимся за этих бедных,
у коих ни пространства нет,
ни времени, куда прибиться:
их кормит небом голубица,
когда они летят на свет.
Дай им, Господь, счастливый путь,
а нет — так просто что-нибудь:
попугчика с весёлым нравом,
окрестность с храмом златоглавым,
пылинку в солнечном луче
или синичку на плече —
всё ладно им, всё благодать,
что бы ни дать.
Помолимся за их несомость
попутным ветром, за их самость,
их отрешённость от земли...
за недоступность всех чертогов
и за бессмысленность побегов —
куда они бы ни вели.

...ещё помолимся за тех, кто не достиг
и не достигнет этой жуткой высоты,
где виться стяг перестаёт, но вьётся стих
и разбиваются все планы и мечты.

Им повезло — кто не достиг, кто не достал,
кто не сумел, — помолимся за малых сих,
кого не встретил огнедышащий портал,
где виться страх перестает, но вьётся стих.
Да будет счастлив опоздавший на сто лет
и не успевший поселиться в тех местах,
где раздаётся только звон небесных лат
и виться прах перестает, но вьётся стих.
Да будет счастлив и доволен тем, что есть,
и награждён чередованием простых
и смиренных слов, которых мы не знаем здесь,
где виться вздох перестает, но вьётся стих.
Будь милосерден к ним, далёкий произвол,
пошли им пение ручья и пенье птах —
и не зови туда, куда ты нас позвал,
где виться бог перестает, но вьётся стих.

...ещё помолимся за тех,
кому известно только имя
любовь: дай Бог, чтобы и с ними
случился этот смертный грех —
дай Бог, чтоб их настигла вдруг
такая страшная погибель,
хотя бы пару чистых капель
и им даруй — от наших мук...
Ещё помолимся за нас —
живущих под высоким игом,
трепещущих над каждым мигом,
над пламенным — чтоб не угас,

и распевающих псалмы
под сводом чьей не помню кисти —
где улыбается из тьмы
Архиепископмирликийский.

* * *

Воздух жизни непонятной —
вот и тает... или нет,
или да — во рту твой мятный,
твой зелёный леденец.

Это — есть, и это снится
(снится Вам или другим):
на пустом окне больницы
две синицы и снегирь.

Это есть, и это мнятся
в мире тайны без конца,
и у тайны привкус мятный,
зимний привкус леденца.

Никогда не открывая,
что в душе, что между строк, —
со стихом летит за вами
тот зелёный холодок.

Только вспомнишь, как гудело,
как смеялось всё кругом!..
И всегда не в этом дело —
и всегда совсем в другом.

* * *

Что ты скажешь теперь, ученик небосклона,
отстающий по всем дисциплинам земли,
жизнь промчалась почти — где ж твоя Барселона,
неужели же всё ещё где-то вдали?
Так зачем нам размахивать веткой зелёной —
нас не видно оттуда, с туманных земель!
Бог с тобою и с нею, с твоей Барселоной,
это вздор, это бред, это сон, это хмель.

А с другой стороны, ученик небосклона,
отстающий по всем дисциплинам земли,
что ещё на душе, если не Барселона,
может так раскачать лодки и корабли,
может так расколоть вековые устои,
так разрушить границы, обуглить края,
как не это волшебное слово пустое —
Барселона твоя...

* * *

И вдруг закрутилась весёлая прихоть,
весёлая прихоть — в шальную спираль:
прервать разногласья, собраться и ехать
кривыми дорогами в город Февраль —
неважно, куда заведёт нас кривая
его мостовая, а важен полёт:
на дрожках, в санях, на подножках трамвая,
чтоб синие тени ложились на лёд!

Летимте со мною, Несносная Дама,
давайте блаженствовать на вираже —
летимте под крышу несносного дома,
в котором однажды мы жили уже,
который когда-то казался нам раем,
а нынче сараем покажется нам,
в котором мы с места в карьер проиграем
минувшее — по месяцам и по дням...
и пусть всё пойдёт вкривь и вкось и обратно —
тряхнём стариной и рискнём головой!
Кто знает, когда там ещё повторятся
кривые дороги и город кривой!

* * *

Забери мою свободу —
журавля твоих небес,
чтоб ночному пешеходу,
времени наперерез

не нестись, людей сбивая,
и тревоги не нести —
на далёкий зов трамвая,
на кошачий взгляд такси.

Вот тебе слепое знамя —
положи его в карман.
Я — какую ночь, не знаю —
то ли болен, то ли пьян:
то ли плачу, то ли вою,
поперхнувшись пустотой,
и тоскую по конвою,
по тюрьме по золотой.

За несчастную попытку
не мешать (и не мешал!)
привяжи себе на нитку
ты моей свободы шар:
в невесёлую погоду
ей на нитке веселей
плыть с тобой по небосводу —
нежной пленницей твоей.

* * *

А вот и ветер — лёгкий, молодой —
в плаще бордовом (шёлковом, бредовом!)
навивывается, пахнет резедой,
и бредит далью, и враждует с домом,

поскольку дом... на то ведь он и дом,
чтоб враждовать с ним — чаще без причины —
и, за щеку засунув валидол,
бежать оттуда в сторону пучины
и говорить: я больше не вернусь,
сюда я не ездук... и всё такое.
Летуча радость и сыпуча грусть —
и горсть песка не удержать рукою.
Из мироздания выглянув на треть,
над космосом висеть, как над болотом,
и наконец спокойно рассмотреть,
что совершается за поворотом:
откуда ненавязчиво блестит
какая-нибудь милая планета,
откуда припеваючи летит
чужая птичка дальнего привета.

* * *

Шляпы японской соломенной кров —
каждый под ним навсегда беспризорен,
горсточка мелких каких-нибудь слов,
горсточка рисовых зёрен...

Этого хватит на целый октябрь:
жить-поживать, изучая затишье,
этого хватит с остатком — хотя б
на золотое трёхстишье!

Жанр называется хокку, но жизнь,
может быть, даже короче, чем хокку:
как ни любезничай с ней, ни кружись,
а не прибавишь ей сроку —
и ни за что не удержишь в горсти
больше, чем эти вот крохи:
больше, чем сможешь с собой унести
по журавлиной дороге.

* * *

Этот образ — он не образ,
а всего лишь тусклый абрис
Положения Вещей.
Хоть ослепни, хоть оглохни —
философствуя на кухне,
ты профессор кислых щей,
ты магистр хлебной крошки,
бакалавр столовой ложки —
и, куда б ни долетал
твой могучий разум птичий,
перед каждой встречной тучей
ты дитя и дилетант.

Согласишься ли... нередко
в мире вовсе нет порядка —
там сумбур, там разнобой.
Что ж ты светлыми глазами
смотришь в тёмное безумье,
бедный школьник... Бог с тобой!

ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОГО С ОРДЕНОМ АННЫ

Как горько судьба с нами шутит, как странно —
и что остаётся от нас?

Портрет Неизвестного с Орденом Анны —
холст, масло, забвенье, анфас...

За что воевали и чем рисковали —
холст, масло, забвенье, анфас?

За то, чтобы орден на вас рисовали,
а вас забывали. И нас.

Не помню, как мчались и как разлучались,
не помню, что было потом —
должно быть, весёлость, должно быть, печальность,
но точно — что груз на крючке золотом!

Не то чтобы дерзость, не то чтобы смелость,
не то чтоб фанфары и стяг,
а так... просто глупость, нелепость и мелочь,
Пустяк Пустякович Пустяк!

И даже неважно, что стало с другими
по воле нелепой, ничьей —
и тает, как облачко, лёгкое имя,
и быть не умеет — прочней.

* * *

Вот и виснут, гаснут ленты
там и там... и здесь.
На Москве снимают тенты
непогоды в честь.
Исчезают павильоны
с летних площадей —
и стрекозкою зелёной
улетает день.

Что ж, до нового свиданья,
наш прохладный зной —
газированный, миндальный,
льдисто-слюдяной,
сливочный и шоколадный
марципановый!
Раз пора — так что же, ладно...
не опаздывай.

Мы вослед тебе помашем,
кинем листьев горсть
и в стаканчике бумажном
похороним ос.
И — последний, канительный,
но уже не наш —
из соломинки коктейльной
понесётся марш.

* * *

Какие могут быть вопросы
по поводу стихов и прозы:
художник, пёрышком строча...
Но мы-то с вами понимаем,
что мир невнятен и туманен,
как речь ребёнка и ручья!

Я о ручье и о ребёнке,
о кротком соло на гребёнке
и просто обо всём таком,
что будоражит и щекочет
и губит самый строгий почерк
одним случайным завитком,

что, невзирая на усталость,
в нас с вами всё-таки осталось —
кастальской песенкой ключа,
к чему давным-давно дорог нет,
но от чего уж точно вздрогнет
художник, пёрышком строча.

* * *

Пока крутилась колесом
метель в окне косом,
мне снился сон на пять персон —
не очень людный сон.

Там старый стол и старый стиль —
высокий стол и стиль,
и жизнь, тяжёлая не столь,
как чайных ложек сталь —
нет, мельхиор, нет, серебро,
гусиное перо...
О чём я, о какой поре
и о каком пере?

Период братства, Боже мой,
союз чего-то-там...
мечты, застигнутые тьмой
в пути, — привет мечтам,
привет словам из кисеи,
привет и вам сквозь сон,
персоны милые мои —
как, бишь, вас... пять персон!

В О Л У З Я Х

Душа попала в рай — и с обожаньем,
навек замирает на стезях
лубка с непостижимым содержаньем
и неземным названьем — «Во лузах»:
столетия чумные бороздях,
крестьяне размещаются и кони
на досточке лубка, как на иконе, —
в языковой пучине, во лузах.

В какие времена, в какие числа
грамматика была так зелена,
так вечна и настолько не исчезла,
что быстрый взгляд умел достать до дна, —
а там, на дне, смеялись имена
и сталкивались круглыми боками,
как рыбы с золотыми плавниками,
которых привлекает глубина!

Где? — Во лужах: по сердцу погружам
в зелёный мир языкового гула!
Привет, как жизнь? — Привет, как во лужах:
от зелени и смеха сводит скулы!
И чем ты ей, бедняге, ни грози,
а жизнь опять свежа и моложава,
и золотá забытая держава,
и зелены заветные лузи...

2003

* * *

Тебе наобещают высокого туману,
тебе наобещают попутчика-провидца,
и книгу золотую, и в небе не разбиться,
и сердце на ладони, а ты не верь, не стану.

Душа — подростший даун с картинкою смешною, —
неважно, что таится за дедушкиным креслом!
Теперь не искушают ни девой, ни мошною,
а только смыслом, смыслом — напрасным, праздным смыслом.

Перед тобой на блюде весёлый универсум —
простые элементы с пустыми именами,
привет родным и близким, и горе — иноверцам!..
я не пойду за ними, ты не ходи за нами.

Они тебя погубят, и мы тебя погубим,
все двойники дерутся на безымянных войнах,
и пожилое время несётся по ухабам —
и мелко скачут искры в колёсах деревянных.

Налей воды в корытце, насыпь пшена в поддончик —
зелёный попугайчик не хочет на свободу!
Он крыльями не машет, он треплет свой бубенчик,
он дурачок, он душка, не плачь, не плачь, не буду.

2003

* * *

Что сказать про жизнь простую —
неприметную, как воздух... —
хочешь — через запятую:
дождик, зонтик, медный гвоздик?
 Всё прекрасно, всё годится —
 жизнь полна перечислений:
 чудо-юдо, чудо-птица,
 день рожденья, день последний!
Распроцавшись с глупой точкой,
улыбнувшись на ходу ей,
я пойду бренчать цепочкой
бесконечной и бездумной:

скажем — чудное мгновенье,
ложка дёгтя, чашка чая...

Кто низал такие звенья,
знает, как тут всё случайно!

А когда не выйдет номер
и велят начать сначала,
я скажу, что — невиновен:
так цепочка набренчала.

Р О Ж Д Е С Т В О

Кажется, вечер был беден и тих:
где тут у Вас божество?

Смирна и ладан, а больше у них
не было ничего.

Ибо паломников путь суров:
хлеб с водой да звезда.

Ибо не надо тебе даров:
так ли, дитя? О да.

Ткани, камня и прочий бред —
как с ними быть? Забудь:
всякое да означает нет,
если окончен путь.

Даже неважно, ты волхв или вол, —
вдумайся не спеша:

что́ это — запах душистых смол
или уже душа?

Впрочем, как ты бы ни находил,
что бы ни углядел,
дело курильниц или кадил —
прочих важнее дел.

Что́ тебе этого мира лeсть,
если ты — превозмог?
Всё, что от нас остаётся здесь, —
сладкий такой дымок.

2001

* * *

И скажу я, вконец отчаясь
угадать, где моя судьба,
что одну золотую случайность
я опять приютил у себя:
 это лопнула в бусах нитка
 (здравствуй, бусинка, как дела?)
 или просто нашлась монетка
 возле коврика у стола,
или в образ сгустились тени
и послали мне свой привет —
и одно из моих хотений
превратилось, увы, в предмет.
 Как бы ни было, чья-то милость
 подала мне беспечный знак:
 что-то с чем-то соединилось —
 было эдак, а стало — так...
Я не знал, для чего содеян
этот мир в суете веков,
и всё плакал над совпаденьем
двух каких-нибудь пустяков.

КОЛЕСО ФОРТУНЫ

Первая четверть

...а закрутим-ка колесо обозренья
и посмотрим-ка, что нас ожидает:
неужели уже и не подняться
даже с помощью силы центробежной?
Но небрежна центробежная сила —
и, как ветер подхватывает мусор,
нас не то чтоб подхватит, но захватит
вместе с прочим — случайно, по дороге.
И какой-нибудь бумажной обёрткой,
содержавшей совсем ещё недавно
шоколадку, а может быть, селёдку,
мы приклеимся к ободу и — ахнем:
дескать, даже бумажная обёртка
с шоколадки, а может быть, с селёдки
представляет известную ценность
с точки зренья сумасшедшей фортуны!
Впрочем... впрочем, почему бы и нет бы?
Там ведь тоже было множество бумажек —
между прочим, и несколько забавных...
и забавных, и необыкновенных!
Например, квитанция из банка.
Например, приглашение на свадьбу.
...А смотри-ка, это нас зацепило —
по какой же по такой уж причине?

Вторая четверть

Ах, небрежна центробежная сила
и безбрежно равнодушное пространство,
но душа-то, как известно, мятежна,
но душа-то — дитя на каруселях!
А вцепившись в оранжевую гриву,
ты теперь уж и совсем полководец,
за тобой уже скачет ополчение —
сотня душ или, может быть, три сотни.
И нестись тебе, стало быть, по кругу —
по пустому да по чистому снегу,
и размахивать каким-нибудь флагом,
пусть подержанным, да всё же — державным!
И трубят тебе высокие горны,
и поют тебе громкую славу —
и растёшь ты, как известный царевич,
не по дням — по часам в своей бочке!
Что касается обёртки... забудем
(с шоколадки, а тем паче — с селёдки!) —
ты всегда был квитанцией из банка
или вот приглашеньем на свадьбу!
А на белой на последней вершине,
где душа стекленеет от ветра,
вспоминается, что был ты страницей —
может, Библии, а может, и круче!

Третья четверть

Но дурная центробежная сила
(ей что Библия, что, скажем, обёртка
с шоколадки или даже с селёдки!)
волочит тебя вниз, против воли.
Потому что ты, голубчик, закружился,
закружился и зарпортовался,
и в руках твоих — оранжевая грива,
да коня уже нету и в помине.
Посмотри-ка на своё ополчение —
сумасшедший или два сумасшедших,
уцепившись за державное знамя,
вместе с ним улетают прямо в Лету.
Впрочем, так-то оно даже и лучше:
не хватало только лишнего балласта!
Без него удержаться за обод
не в пример, разумеется, проще.
А куда принесёт потом — неважно:
есть на то не твоё разуменье,
есть особенная музыка жизни —
под которую и плачут, и пляшут.
И всего-то — доверяться движенью,
не сходить с совершенной орбиты:
ведь неважно, кто ты есть на самом деле, —
ты какая-никакая, а ценность!

Ч е т в ё р т а я ч е т в е р т ь

Никакая ты, стало быть, не ценность,
уверяет центробежная сила,
может, прежде и был ты обёрткой
с шоколадки или прочей селёдки,
да теперь ты незавидная бумажка,
зацепившаяся чудом за обод
и мешающая силе центробежной...
впрочем, и не мешающая даже!
Ах, когда путешествуешь по грязи,
продолжает центробежная сила,
много всякого на обод налипает:
не во всём на ходу и разберёшься.
А душа... да она всегда мятежна,
а душа — она дитя на каруселях
и катается до головокруженья...
ну до обморока пусть, но не дольше!
И потом, когда музыка смолкает,
ты лежишь уже в кустах и не дышишь:
ведь на то и центробежная сила,
чтобы всех и вся по свету разносило!
Так и ветер подберёт, бывает, мусор,
да поносит, поносит и бросит —
в той же точке равнодушного пространства
где велела подобрать его фортуна.

Пятая четверть, черновик

А Колтуны Фаресо крущё ежится —
только скошенная берость Колтуны
теставляется предперь понянтной
и чужёкой, и далой, и даль такше...



МОСКОВСКИЕ ЗОНТИКИ

1983–1988

* * *

Animula, vagula blandula

Что, душа, что, скиталица, ветрено в мире?
Да уж, ветрено в мире и мало покоя.
Но трепещет — хотя бы в какой-нибудь мере —
вечереющий зонтик над чашечкой кофе.
Ах, московские зонтики, кто вас придумал!
Ненадёжные кровли случайных пристанищ —
между шумом и вывеской, гулом и ГУМом
остановишься, жизнь свою перелистаешь
и подумаешь: экая птичья планида!
На минутку свиданья пять суток полёта...
Два глотка, два словечка — и вот уже надо
расставаться на долгие, долгие лета!

Колокольчик, вонзённый в Москву где попало,
на твоём поплавке устоять каково нам?
А посмотришь на жизнь — жизни как не бывало,
и всего-то и было что встреча под звоном.

* * *

Начинается Слово (зачем нам оно?) —
уменьшается жизни цена.
Время вертит беспечное веретено —
и мелькает вдали золотое руно,
а вблизи — занавеска окна.

Не собрать впечатлений: мелькнут и — фьюить! —
ускользают, как в землю вода.

Не соткать полотна: обрывается нить.
Бытие расколосось на быть и не-быть,
на побыть и забыть-навсегда.

А Искусству Зелёному — время расти,
и искусство растёт, как лоза.
И листья его свежи, когда на листья
с небольшой высоты, но большой чистоты
хоть одна упадает — слеза.

* * *

Колёса, помнится, по слякоти скрипели,
слезились улицы, и плавали дома,
но благовещенская веточка апреля
зелёным пламенем свела-таки с ума —
и вдруг понравилось всё самое простое
и драгоценное, а прочее — ушло,
и стало ясно, сколько что на свете стоит,
и *что* есть золото, и *что* есть барахло.
Держись за веточку, покуда не угасла,
держись за веточку иного бытия,
держись за веточку: она твоё богатство,
она спасёт тебя и выкупит тебя
у беззастенчивой судьбы, у ростовщицы, —
держись за веточку петляющей душой,
держись за веточку: она твоя защита
и здесь, в отечестве, и там, в земле чужой!

Держись за веточку — и примет как товарищ
у врат своих тебя Господь через сто лет,
когда ты вынешь из кармана и предъявишь
зелёный пропуск, благовещенский билет.

* * *

Отыщем какой-нибудь мост —
весьма подвесной и воздушный —
и прямо из сердца ведущий
в заброшенный дом Анны Монс.
Немецкой пойдём слободой,
уместной походкой немецкой
на поиски светлого места,
где память была молодой,
где память растила герань,
и где героиней романа
была государыня Анна,
и где, куда только ни глянь,
топорщился чинный крахмал,
гуляли солдаты из воска...
такое потешное войско,
в котором порядок хромал!

Под пулями или стрелой,
где нынче без низа и верха
возводится дом нежилой, —
не стой на окраине века.

* * *

На глухом перекрёстке столкнувшихся дат,
между старым и новым обетом,
растерялась душа, и огни не горят,
и над всею Москвою натянута канат,
и не хочется думать об этом.

Что за грусть, моя радость, а впрочем, молчи:
всякий канатоходец с приветом —
и особенно канатоходец в ночи,
впрочем, все мы тут странники и циркачи,
и не хочется думать об этом.

И когда наконец — с перекошенным ртом —
отлетит моя жизнь рикошетом
прямо к Вашим ногам, то в луче золотом
не захочется даже подумать о том,
что не хочется думать об этом.

* * *

Почему-то на краешке пропасти —
я заметил, что именно там, —
лезут в голову всякие глупости:
я-тебя-никому-не-отдам.

Это всякие общие глупости,
это искры чужого огня:
я веду себя — вот ещё новости! —
так, как будто ты есть у меня.

А на самом-то деле ты облако,
и хозяин твой, видимо, Бог, —
мне позволено быть только около,
на дистанции в несколько строк.

И железные щёлкают ножницы,
и мне слышится в каждом щелчке:
не ходи за границу возможности,
не мечтай о таком далеке.

Жизнь смеётся — банальная, пегая:
— Я Тебя Никому Не Отдам, —
полоумным анапестом бегая
по твоим драгоценным следам.

* * *

Загорелся фитилёк в ночнике,
заметался мотылёк в уголке,
а часы идут — и сбились с пути,
и показывают грусть без пяти.
И, сама ещё не зная к кому,
занавеска улетела во тьму,
и звезда упала наземь с ветлы,
и глаза твои ночные светлы.
Перед тем как нам с тобою уснуть,
хочешь — я тебе скажу что-нибудь?

* * *

Под нашим оранжевым, в дольках, зонтом,
а нет — так под чёрным зонтом
давай мы окажемся в парке пустом,
а нет — так пускай не в пустом.

Давай гроыхать прошлогодней листво́й —
старьёвщика лавка, boutique...
Пусть сойка летит над твоей головой,
а нет — так пускай не летит.

Довольно тогда, чтобы в березняке
стрельнула одна свиристель,
а нет — так довольно, чтоб невдалеке
какой-нибудь дрозд просвистел.

Ну ладно, и так, без дрозда, не беда!
И я, одиноко бредя,
твержу: хорошо, пусть не будет дрозда.
Но пусть уж тогда — и дождя!

КРАСКИ

Шесть стихотворений

Александрийская лазурь

Не знаю, чей высокий росчерк
прервал чреду весенних бурь,
но целый день меня морочит
александрийская лазурь.
К чему чужих ремёсел тайны
тебе, — нашептывает дурь, —
что тебе в словосочетаньи
александрийская лазурь?

Всё! — говорю, и — прочь из дому:
лазурь, я не могу без Вас;
всё! — говорю, — что по-другому
нет сил и смелости назвать:
вперёд, вперёд бесповоротно,
где из-за каждого угла
и где из каждой подворотни —
александрийские дела!

Так я, наверно, умираю:
лазурь, не покидай меня,
коснись меня слепой игрою
голубоглазого огня!

Вернув назад всё, что дарили
(гуляли, помню, в золотом!), —
бегу, хватая праздным ртом
лазурь чужой Александрии.

Бьянка ди Венеция

Это только дефиниция,
это больше ничего,
только бьянка ди Венеция —
колокольчик речевой,
это только интонация
из чужого далека:
банка с бьянка ди Венеция
полетела в облака!

Не зелёными каналами,
а канавами в снегу,
а свинцовыми белилами
пробавляюсь как могу —
не весёлыми посулами,
а суровыми «держись!»
...а свинцовыми белилами
угощаю нашу жизнь.

Но отравленная специя
украшает бедный стол —
банка с бьянка ди Венеция
на подносике пустом.

Неаполитанская жёлтая

Что ж так тяжёл и тёмн шёлк твой,
что ж так далёко до весны?
Ты неаполитанской жёлтой
хоть капельку одну возьми,
беспечной кисточкой своею
взмахнув и уронив мазок!
Вот так: теперь уже светлее,
но, может быть, ещё разок?

Или тогда китайской джонкой
в сухие уплывём края,
раз неаполитанской жёлтой
нам не хватает, жизнь моя,
или не так... оставим это:
с нас хватит, жизнь моя, вполне
полоски узенького света
в одном зашторенном окне.

Зелёная земля

Ты помнишь, как толпились годы
на берегу — и в их толпе
зелёная земля свободы
уже мерещилась тебе?
Куда мы только не летаем
с тоски, зелёная земля:
наш рай земной необитаем
и непригоден для жилья!

Да было ль вообще — хоть что-то?
Травинка? Ветка бузины?
Смешно, когда уже все счёты
с судьбою, в общем, сведены —
и даже на хороший ливень
наш небосвод не слишком щедр!
Но вот — просвечивает зелень
сквозь сумрак водянистых недр...
и против всех событий прежних
крутя колёсико руля,
ты вновь спешишь туда, где брезжит
твоя зелёная земля!

У м б р а

Что там звенит, как будто домбра,
под тонким драпом пальтеца —
без остановки: умбра, умбра...
одна лишь умбра без конца!
Что б ни текло, что б ни горело,
ни бухало над головой —
я тень от Вашего Umbrella
на черепичной мостовой!

Бездумное моё веселье —
быть рядом с Вами целый день
не вымершим, забытым всеми,
последним умбром меж людей.

Не вымершим, забытым всеми...
ах, умбра, умбра, где твой род —
красно-коричневое племя
костры переходивших вброд!

Б а к а н т у р е ц к и й

Бакан турецкий, барабан
турецкий — сделал бам-бам-бам:
ах, объяснимся по-турецки
или хотя бы по-дурацки —
поняв друг друга по губам!

И это красное вино —
не по-турецки ли оно,
все тайны мира открывая,
твердит, что выведет кривая
куда-нибудь — не всё ль равно!

И эта красная строка —
не по-дурацки ли легка,
не так же ли в огне запала
спешит: начните как попало,
как можете... жизнь коротка!

Ну что ж, начнём: бакан-бакан... —
молитвой никаким богам
на никаком своём наречьи!
А турок турка не турече —
и все с кистями по бокам!

* * *

Что за улица, за умница,
за пустынноца, за скрытноца —
мелким камешком аукнется,
мелким камешком откликнется.

А поэзия гремучая
в золотом своём и бронзовом
бросит звук и, долго мучая,
всё запаздывает с отзывом.

И не знаешь, сколько ждать его
у затишья на окраине —
тот комок пространства сжатого,
звук последний, звук нечаянный.

Из молчанья, из безликости
вырастает Образ Имени...
Что в пространстве не откликнется,
то откликнется во времени.

* * *

Приступ кончился злости —
и в горло потёк
свежей утренней грусти
прозрачный глоток —
апельсиновый сок воскресенья.
Кто был прав, кто не прав,
кто был граф, кто не граф,

кто был рад, кто не рад,
кто был раб, кто не раб —
пусть решают теперь фарисеи.

Были доводы грубы —
и смолк барабан.
Я дарю тебе губы:
ударь по губам —
и исторгнется тихое слово.
Кто пил мёд, тот поймёт,
кто пил яд, те простят,
но ещё не истёк
апельсиновый сок
дня воскресного, дня выходного.

* * *

Зелёная букашка леса,
зелёная букашка лета —
один пустяк живого веса
на вашем топчется плече,
как маленькая стюардесса,
звезда небесного балета,
душа высокого полёта
и что-то, кажется, ещё.
Ах, лес ты мой, зелёный сторож,
давай ты как-нибудь устроишь,
чтоб хоть одно из всех сокровищ
не исчезало вообще!

Смеётся лес: живи пока что,
пока зелёная букашка
на узком топчется плече
в последнем солнечном луче.

* * *

На языке дождя — вы слышите: нелепо,
вы слышите: легко, вы слышите: светло —
уже который день болтает с нами небо
и мокрое от слёз оконное стекло.

На языке дождя... — разучивая звуки,
на языке дождя научимся сказать
печальные слова о маленькой разлуке,
о панике в глазах и о пути назад:

через промокший сад в деревьях голенастых,
через продрогший двор и поздний разговор —
безгласны все слова, но несколько согласных
стучат о тротуар, о крышу, о забор.

Мы были короли, да нынче обнищали —
и, больше ничего на свете не ценя,
на языке дождя дадимте обещанье
проплакать целый век, расставшись на полдня!

* * *

С ветрилом, но всё так же без руля —
куда летим?
Куда бы ни летели —
распутица да вечные метели,
волшебное занудство февраля!
Случайнейшие ноты подхватив —
какое-то залётное пиано —
невыразительно, но постоянно
вымучивает оттепель мотив,
и день-деньской, и вечер-вечерской
всё через те же самые отрезки
по клавишам долбится марш турецкий... —
покамест, с развесёлою тоской,
Офелия, сомнамбула, душа,
не бросится бежать до поворота,
а там... там не её уже забота:
там ходит март, в грязи теряя боты,
там после-нашей-эры, там суббота,
там гнёзда выют и обольщает кто-то
кого-то прелестями шалаша.

* * *

Разобраться в развлечениях —
и смотреть назад:

день качался на качелях
целый долгий сад;
майский жук висел на ветке,
чтобы — вдруг созрев —

первым фруктом падать сверху
ротозею в зев;
по реке катались в лодке
мальчик и весло —
мальчик был настолько лёгкий,
что его несло
и трясло во всех теченьях:
детство, юность, ад...

День качался на качелях —
целый долгий сад.

* * *

Ужасно сбивчивы и странны
слова дождя, а сам он тощ.
Я и записывать не стану
всего, что налепечет дождь!
Такая чушь, такая глупость,
такое, право, баловство:
кто Вам сказал, что я люблю Вас?
Никто не любит никого!
Дождь-путаник, дождь-полуночник,
сбивальщик с толку всех подряд —
поди пойми, чего он хочет,
в густых блуждая фонарях,
и что бормочет он, насупясь,
переходя в короткий снег..
Я не люблю Вас? Что за глупость!
Все без разбора любят всех.

* * *

За образом милым, за облаком милым влачусь
по белому свету сквозь тёмные заросли чувств,
но, видимо, облаку нравится только свобода,
а мне очень нравится облако, вот в чём беда.
И даже не облако — так, красота, ерунда,
летучая частность, пустяк, золотинка, слюда,
шальная и смутная мысль чудака-небосвода
и всё что хотите — неважно-как-это-назвать.

Воздушное нечто, мне так одиноко без Вас:
без Вас между мною и миром теряется связь —
и в зарослях чувств я бы сбился с пути непременно,
когда не махала бы вечность мне белым флажком.
И я — торопливой пробежкой, коротким шажком —
за нею влачусь то в повозке чужой, то пешком.
И вечность моя, словно верность и вместе измена,
всё машет и машет, всё манит и манит флажком.

* * *

Мне слишком много дня — на одного меня,
мне слишком сладок чай, а кофе — слишком горек,
но у меня всегда так много оговорок...
не слушай этот бред: меня на свете нет.

А ты на свете есть. Но ты сейчас не здесь —
ты в тех краях сейчас, где нет меня на свете,
среди вечерних дум — о том о сём... о лете,
о птичьих голосах и птичьих небесах.

Под лампой кружевной живёт твой мир ручной —
шкатулкой золотой с весёлой дребеденью,
которой недосуг молиться провиденью,
что в мир твой, твой ручной, занесено волной.

И сорок раз на дню я на ходу бубню:
меня на свете нет, есть только ты на свете, —
и сорок раз на дню преклонное столетье,
шажками семена, проходит сквозь меня.

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й С А Л О Н

Ателье. Кафе. Аптека. —
Жизнь и жизнь со всех сторон:
всё на благо человека,
всё... Художественный Слон.

Речь качнулась и сломалась —
и в отверстый лексикон
вдруг ввалился, как туманность,
сей художественный слон.

Он расположился боком
возле булочной одной,
что в беспамятстве глубоком
сделалась ему женой —
и у них роди́лись дети:
сто четырнадцать галчат —
вон они на парапете
неприкаянно торчат

и, почти не постигая,
где эпоха, где страна,
чувствуют: она другая —
жизнь в присутствии слона.

 Не расклейка-стирка-сборка,
 а худо-же-ствен-ный весь... —
 золотая оговорка,
 залетевшая с небес.

* * *

Всё зелёное ветшает и сгорает на лету —
и, Москва, ты исчезаешь на глазах,
ты растаиваешь, город, карамелькою во рту,
ты теряешься в забытых адресах.

Где ж ты, где ж ты, день минувший,

и давно ль ты миновал

или всё ещё имеешь миновать?

В шумной памяти случился неожиданный провал —
и неясно, что теперь куда девать.

Тут была кривая улочка с улыбкою в конце,
там — коварный переулок со слезой,
а чуть дальше — дом, в котором с лёгкой мыслью о творце
я взлетал под небеса на антресоль.

А теперь, на кромке памяти, на узеньком краю,
я уже не помню этого пути,
и стою как истукан, и ничего не узнаю...
время года, я забыл тебя, прости.

Нету имени у времени, и тусклое число
замирает в жёлтом парке у воды —
словно гипсовая девушка, держащая весло
непонятно для какой такой нужды.

* * *

А дело не в том, что судьба так хотела,
но в том, что — уставясь во тьму —
сам Бог прививал моё горькое тело
к сладкому — твоему.
Беспечный художник, весёлый садовник —
все руки в прозрачной крови —
садовник, взалкавший плодов бесподобных
понятно чего — любви.

Не будем спешить: нас пока ещё двое,
и рана покуда болит,
но — страшная, дикая сила привоя,
слышишь, уже бурлит,
и быть уже скоро свирепому шторму —
думает Божество.
И губы мои уже приняли форму
имени твоего.

* * *

Хорошо ли, друг любезный,
Вам стоять над этой бездной —
и разглядывать пустоты,
и испытывать тоску
от далёкого полёта
бесконечно малой птахи —
бесконечно милой птахи
к близлежащему леску?

Обольщайся ли, страшись ли,
но открыта бездна жизни —
перед нею, друг любезный,
всё ничтожно, всё смешно:
например, богатый бедный,
например, голодный сытый,
например, живой убитый,
а искусство? И оно.

Что ж за радость, что ж за грусть Вам
со своим смешным искусством
похваляться возле бездны
тем, чего Вы лишены?
Всё богатство, друг любезный, —
это Ваш отменный почерк
да с десятков тёмных строчек
неоправданной длины.

* * *

В. В. Филатову

Вот так вот: живёшь и не знаешь,
что́ там за ближайшим углом!
А там, скажем, озеро Нарочь:
махнёт тебе серым крылом,
поманит тебя из-под спуда
всех лет твоих — гладью слепой...
Ты, озеро Нарочь, откуда,
и что теперь делать с тобой?

Я чай заварю себе на ночь
и стану всю ночь горевать,
что не был на озере Нарочь,
что в этом-то и виноват,
раз жизнь — пусть без умысла злого —
на тридцать каком-то году
вонзила в меня это слово
как страсть, как стрелу, как звезду.

* * *

Ничем не тревожа дремучую глушь естества —
сомнением даже, не то что грозою, пожаром! —
гуляйте бесславно, мои городские слова,
по каменным неплодородным своим тротуарам.

У города хватит соблазнов и хватит утех,
чудных безделушек — увлечь, ослепить, одурачить!

На тонкой тесёмочке жёлтый качается грех,
и серую бред напоказ выставляет невзрачность.

Посмотришь-посмотришь на это — да спрячешься в плащ,
но, встретив там белое облако, выглянешь снова
и скажешь себе: сумасшедший, вот тоже ведь блажь,
какое там облако... что за нелепое слово!

* * *

Оттого, что я не с Вами,
оттого, что я с другими,
я ношу иное имя —
Вам известное едва ли,
я ношу, скитаясь где-то —
обходя дороги наши —
плащ, наброшенный иначе,
и берет, не так надетый.
Впрочем, кажется, берета
вовсе нет — и так неплохо,
но через соломку вдоха
я тяну иное лето —
где ходилось, где бывалось
сутками, а то и больше,
где шепталось слово «Боже»,
перед тем как целовалось,
где шепталось слово «позже»,
перед тем как расставалось...

где ходилось, где бывалось,
где всё сразу удавалось!
Там дожди лились — и Ною
было некуда причалить...
Как давно это случилось,
как давно, как не со мною —
с тем, чьё имя Вам знакомо,
а берет и плащ... так это
было правильно надето
и носилось — по-другому.

* * *

Осенние скупые времена:
под небом нам теперь спасенья нету —
мы семена, носимые по свету,
и мы не знаем, где наша страна.
Мы с облака упали и кружим,
на никакой земле не прорастая, —
как маленькая медленная стая,
к пространствам непривычная чужим.
Ну, стая — это так... нас двое в ней,
нас двое в стае — на одно скитанье.
Но, может статься, в этом наша тайна:
летать по свету, не пускать корней,
не отвечать за сумасбродный путь,
а объясняться так: мол, бес попутал,
когда нас бросит ветерок попутный
в кафе, в кино... ещё куда-нибудь.

* * *

Приметы времени и места
меняю на прыжок с моста:
жизнь совершенная — отвесна
и, разумеется, пуста.

И, если снизу вверх полёт
не состоялся отчего-то,
что ж...
полетим наоборот —
когда судьба платком махнёт,
не цели ради, но — полёта.

* * *

Горький-горький ночью-ночью лепет-лепет —
всё забыли: были, боли... или ба́лы,
как рождались, как — забыли — погибали,
как — забыли — жили-были, но нелепей,
что забыли: баловались, были рады,
были ели (или марципаны ели?),
были ели — в серпантине, в канители —
и осыпались к концу второй недели...
За — забыли — за... столом сидели барды
с бородами и — забыли — песни пели,
песни пели, не допели: не успели,
и колёса за — забыли — за... скрипели
и уехали в окрестные метели,
далеко за — были — полдень или полночь,
все уехали... и годы полетели
за делами, — и как всё забылось — помнишь?

1972

* * *

Ах, эта музыка опять:
«К тебе я буду прилетать» —
полудомашней-полудикой
несомой ветром паутинкой,
листочком осенним расписным —
о Господи, что ж делать с ним!

Затмением, незнакомым взгляду,
я на твои страницы лягу:
чужого смысла поперёк
читай отныне между строк
любви забытые секреты —
и мучайся: откуда это?

А это Демон прилетел
и весь твой день сорвал с петель —
тяжёлой этакой пушинкой,
в главу закравшейся ошибкой,
почти совсем не видной, но
смысл изменившей всё равно.

* * *

Как грозен сумрак и лилов,
но — свечка в бездне исполинской —
чем утешается любовь?
Монеткой, бусинкой, бьлинкой,
крючком, гороховым стручком —
от них не знаешь, что убавить,
и говоришь — кивком, молчком:

не забывай, возьми на память,
как колокольчик чтоб звонил,
незамедлительно и мелко...
Ещё какой-то сувенир,
ещё какая-то безделка —
в музей, в кунсткамеру, в архив...
А это кто принёс? Да ветер!
Подумать, ведь и я был жив,
и как-то юн, и как-то весел,
и вот же, всё передо мной —
и можно жизнь построить снова
из побрякушки подвесной,
открытки с видом на Страстной,
платка и камешка речного.

* * *

По неверным своим кругам
дождь крадётся средь луж краплёных:
он на цыпочках, как цыган,
как цыган — или как цыплёнок.

К этой маленькой му—зы—ке
ничего никто не добавил:
индевет на языке
исключение из общих правил.

Это детство, чей долгий срок
состоял из преград волшебных,
это детство, где между строк
проговаривался учебник —

то обмолвкой, то кивком,
то словами без всякой связи,
то случайнейшим холодком
в наизусть повторённой фразе.

* * *

Пора нам гулять по аллее —
по самой Одной из Аллей.
А можно чуть-чуть веселее?
Помилуй, ещё веселей?
И так уже просто до колик
смешно от того, что беда.
Ах век, ах затейник, ах комик,
остроты твои хоть куда.

Они, как весёлые бритвы,
скользят и скользят по устам —
и все сокровенные клятвы
навек запекаются там.
Помилуй, ещё веселее?
И так уже просто до слёз,
давно ни о чём не жалея,
смеёмся над всем, что стряслось!

И прямо по листьям, с размаху
катится сквозь слов кутерьму
колёсико долгого смеха
далёко-далёко во тьму.

СЕРДЕЧНЫЕ ДЕЛА

1

На столько любви — вот столько
обычной воды святой.

Сладка ли тебе настойка
из горькой любви с водой?

Легко ль тебе нынче пьётся
густеющая тоска

из маленького колодца
аптечного пузырька?

Душа превратилась в камень,
болеючи за тебя,

считая удары капель
о доньшко бытия.

2

Врачевать тебя тихим словом
о ту пору, как сквер ночной
ещё с вечера забинтован
ослепительной тишиной.
По заснеженным, по измятым
по аллеям туда-сюда...

Как пропахли молитвы мятой!
Исцелительница-звезда,
не спускай золотого ока
с этих окон, храни сей дом —
чем пахнул ветерок с востока,
это камфара или бром?
Полуночник, бездарный знахарь,
если б всё было так легко:
двадцать слёз или слов — на сахар
или в тёплое молоко!

* * *

Павлу Мартынову

В саду княгини Шаховской
гуляют сквозняки.
Но вообще-то там покой
и кормят птиц с руки,
и только под гору спустись —
увидишь родники,
но главное — что кормят птиц,
что кормят птиц с руки.

Синичка-душенька, прикинь,
тепла ль тебе ладонь?

Мы на ладони держим день —
и это наша дань.
Княгиня-душенька, прощай
или ещё побудь:
вот хлеб, вот зёрнышко, вот шаль,
вот стих, вот что-нибудь.

Возьми от нашего добра
немного серебра
и медных несколько монет
возьми, а нет так нет!
Никто ни в чём не виноват,
судить себя не нам.
Прими, княгинечка, привет
минувшим временам.

* * *

Мелет кофе моя мельница,
на огне журчит вода;
жизнь спешит и разумеется —
или нет, не разумеется...
в общем, значит, как когда.
У неё повадки заячьи
и глаза — как у зверька,
всё петляет — ускользячи,
прячьась то за дни, то за ночи
и не зная языка.

Молодая современница,
путаница всех времён,

пересмешница, изменница:
всё-то ею разумеется...
лишь одно не разумеется —
престарелый небосклон!
А о чём ей там лепечется
за сухой еды комком —
знает только речь-беспечница
да вокзальная буфетчица
с понимающим кивком.

Что минует, то имеется —
дескать, всё же есть просвет!
Озареньице — затменьице:
вроде как и... разумеется,
а взглядишься: нет и нет.
Никакой иной просодики,
кроме той, что день-деньской
отмеряют тебе ходики
с развесёлою тоской.

2002

* * *

Наш длинный путь по магазинам
беспечен и ужасно весел:
войдём с мороза, рот разинем
и обсуждаем, сколько взвесим
на завтрак солнца и луны.
Мой ангел, мы опять бедны.

Какая глупость, что за участь!
Опять сквозняк у нас в карманах —
давно ли мы гуляли в панах
и нас беспечная везучесть
давно ль по имени звала?
Чудны, Господь, Твои дела.

И небеса щекочут нёбо —
и мы, живущие бесплатно,
летим и выглядим бесплотно,
холодное целуя небо
в его румяные уста
в районе Южного Креста.

* * *

Чтобы проще объясниться,
мы набрали в рот воды.
Видишь, вот тебе и Ницца —
Патриаршие пруды.
Видишь, вот тебе и Мекка —
белокаменный сарай.
А чуть дальше есть скамейка —
видишь, вот тебе и рай.

Выпорхнувши ниоткуда,
птичка сядет на плечо,
рыбка выплывет из пруда —
так чего ж тебе ещё?

Я хочу, чтоб было утро!
...впрочем, это я спьяна,
впрочем, это я как будто
мы набрали в рот вина.

* * *

Ты посмотри, что я тебе принёс:
вот жизнь моя — клубок суровых ниток.
Подробностей её незначительных,
её капризов — не бери всерьёз.

Тут столько всякого переплелось!
Тут всё в узлах — и каждый новый узел
ведёт к другим узлам путём кургузым
внезапных шуток и внезапных слёз.

И ты, кто разбирается в клубках,
как Божество Клубков, как Всякий Случай, —
не трогай, не распутывай, не мучай:
довольно и того... держать в руках

и тихо бормотать себе под нос:
вот путаник-то, Господи-помилуй! —
смирившись с чередой неутомимой
петель и песен, тишины и гроз, —

и там не так, и тут не удалось...
Держи в своих руках клубок, не то мне
катиться под откос, себя не помня, —
недолгий путь, ведущий под откос.

* * *

Что говорят на кухне в полночь?
Там говорят «а это помнишь?» —
там ничего не говорят,
там пеплом по столу сорят,
и не сметают, и молчат,
и говорят «который час?».
Там тонущий пакетик с чаем
уже никем не замечаем,
и над столом, давно пустым,
там говорят «Ваш чай остыл» —
и в чашку опускают взгляд,
и «надо ехать» говорят.
Там теребят лимона мякоть
и говорят «не надо плакать»,
а после говорят «пора»
и говорят, что всё мура,
а сами плачут невпопад
и ничего не говорят.

* * *

Как называется твоя любовь?
Не знаю, мы знакомы не настолько.
Моя же называется — постой-ка...
как называется моя любовь?

Наверное — Два-кофе-с-молоком,
или Скорей-всего-мы-просто-бредим,
или Пришли-сигнал-одним-звонком,
или Давай-куда-нибудь-уедем.
А есть ещё другие имена:
есть имя Напиши-хотя-бы-слово,
есть имя Буду-ждать-до-полвосьмого,
есть имя Это-было-до-меня,
есть имя Если-завтра-будет-дождь,
есть имена Направо и Налево...
моя любовь — она неприхотлива
и отзовется, как ни назовёшь:
она бежит на взмах твоей руки,
как дурочка, — и в маленькой котомке
её надежд блестящие обломки,
её имён цветные лоскутки.

* * *

...хоть весёлое Да золотое,
как и прежде, стоит наготове,
да не требуется никогда.
И мерещится тень декабриста,
где колючее Нет серебрится —
ломкой кромкой высокого льда.

Дух строптивый не любит согласия —
и повадка бесшумная лисья
не родна ему и не мила:

ни рожна ему в жизни не надо,
он граница, и он же — преграда,
вот и все, понимаешь, дела.

Было время... да ладно об этом:
о былом, о пустом, о забытом,
о старье обветшавших эпох!
Дух строптивый давно не кивает —
вскинет взгляд, как ружьё — и, бывает,
убивает на месте, врасплох.

Вот и все, понимаешь ли, песни —
спеты, стало быть: челюсти стисни —
и... пошла она прочь, чехарда
обольщений столичного рая —
где живёшь, даже не вспоминая
золотую провинцию Да...

* * *

Чай зелёный, как лес, чай зелёный, как сад,
чай зелёный, как Ваш растерявшийся взгляд,
моя грустная радость со взглядом зелёным!
Чай зелёный, как детство, которое — Вы,
и, наверное, мне не сносить головы
под зелёным, как детство и чай, небосклоном.

Но, зелёный немислимый цвет, столько лет
я повсюду искал твой изменчивый след,
что уже не страшны никакие угрозы!

Чай зелёный, как миф — это ж надо понять,
значит, полно в тяжёлую чашку ронять,
моя грустная радость, зелёные слёзы.

Мы давайте-ка лучше посмотрим в окно:
там давно уже всё зеленым-зелено —
и пропащий апрель там слоняется пьяным.
А у Бога, небось, слишком много забот —
и уж если не он нас к рукам приберёт,
ничего, говорю, мы столкнемся с Паном.

* * *

А дело обстояло так,
что день, по площади идущий,
смущал испуганную душу
и приглашал её летать.

Ан между тем кончался март,
и грозовую пахло тучей... —
но всё ж душа была летучей,
а это надо понимать!

И тот, кто это понимал,
он душу отпускал на волю —
и получал назад с лихвою
и свет, и утро, и туман,
и поцелуи под зонтом...
А на какое-то мгновенье —
и божество, и вдохновенье,
и всё, что следует потом.

ERLKÖNIG

На весь этот город — один этот лес,
с аллеей, несущейся наперерез
всем тайным прогулкам и страхам смешным, —
и солнце заходит, и мы не спешим.

На всю эту землю — один этот кров,
простёртый поверх наших буйных голов:
дурацкое счастье под небом чужим,
где солнце заходит, и мы не спешим.

На всю эту вечность — один этот шаг
в аллею, как в бездну, до звона в ушах:
дитя, что ж ты медлишь, опомнись, бежим!
Но солнце заходит, и мы не спешим.

Какой бы у повести ни был финал —
ездок-погоняет-ездок-доскакал! —
и кто б ни таился средь тёмных вершин,
а солнце заходит, и мы не спешим.

* * *

Я-хорошо-живу — как Вы живёте?
Я хорошо стою на эшафоте:
последнее желанье у меня, —
я хорошо, — узнать, как Вы живёте
к исходу безысходнейшего дня?

Вон комары на нитке серебристой —
смешное комариное монисто,
оно звенит о будущем уже.
Но как живёте Вы на Вашем триста...
нет, восемьсот тридцатом этаже?

Вон крохотная лампочка в два ватта
качается и смотрит виновато
в колоду карт, упавших со стола.
А на планете под названьем Вето
я всё равно не знаю, как дела.

И плод запретный — невпопад миндальный —
совсем неразличим из наших далей,
где ночью не слышны ничьи шаги,
откуда мне видны огни ордалий,
но вообще-то — не видеть ни зги.

* * *

Как бы долго мы ни толковали,
а пора потихоньку домой.
Что ж ты хочешь своими словами
от души моей глухонемой?
 Чтоб какого высокого жара
 задала она нашей тоске?
 Чтоб она тебе *что* выражала
 на неведомом ей языке?

Как бы ни объяснять, ни пенять ей,
как бы строго себя ни вести —
всё же облачко дымных понятий
уплывает и тает в пути!

Очертания мира размякли,
растворившись в туманностях луж —
так на влажной японской бумаге
расплывается лёгкая тушь,
так какой-нибудь светленький плащик
быстро сходит на нет — дотемна...
Только плачет душа, только пляшет,
только плачет и пляшет она.

* * *

В сентябре, в государстве оранжевом
проживём на пустых мостовых
сумасшедшим зелёным бесстрашием
в Ваших детских глазах луговых.
В час, когда осторожная улица
огибает какой-нибудь ГУМ,
луг шумит, и блестит, и беснуется,
и совсем не берётся за ум —
выбегает на площадь Отчаянья
с бесполезным чудесным флажком,
с бубенцом золотого брэнчания
и одним бесшабашным прыжком
перемахивает через пропасти
Будь-Здоров, Созвонимся, Прощай,

перемахивает через крепости
Здравый-Смысл и Порядок-Вещей.

И, весёлая, буйная, дикая,
жизнь пахнёт виноградным вином,
кардамоном, корицей, гвоздикой
и незрелым кофейным зерном.

* * *

Гремите, колокольчики, опять,
узорчатые, лапчатые, птичьи, —
гремите о простом моём величьи:
я научился глупо поступать!
Меняю жизнь мою — на полчаса,
на завтрак, преисполненный восторга,
под колокольчиком Горпишеторга:
заветренное чудо — колбаса,
богов напитков — тепловатый сок
из ягод, не имеющих названья,
и... — чтобы тучка полугрозовая
от завтрака плыла наискосок,
и чтоб один степенный разговор
был начат — и продолжен — и закончен...
Ловушкам несть числа, но мы проскочим,
заклеим только дыры новым скотчем —
и с нас все взятки гладки с этих пор!

* * *

Небо в сердце и небо на шляпе,
и ещё одно небо — во рту.
И разверзлись небесные хляби,
и обрушили вниз высоту.
И не стало совсем уже света
над прибежищем нашим Земля —
Бездевушка, Игрушка, Комета
или Палуба Корабля.
И владели судьбой как хотели
все стихии, сцепившись в клубок, —
дни летели без смысла и цели,
и бездействовал Бог..
Вечерело, штормило, знобило,
волочило кормой по песку,
а потом ненароком прибило
наконец к одному островку,
где последний забрезжил мне берег
на беспамятном чёрном ветру —
разговор за пятнадцать копеек
обо всём, без чего я умру.

* * *

Как на маленьком парусе
детства — или далече —
нас качает на паузе
в ожидании встречи:

вы откуда отчалили,
побросав свои флаги,
два внезапных отчаянья,
две весёлых отваги?

Я — от шумного общества,
что почти незнакомо,
я же — от одиночества
в людном хаосе дома.

Леденя от ужаса,
без единого звука
нас баюкает лужица
на окраине века.

А стихия незрячая
всё колдует над чашей
моего красноречия
и безмолвности Вашей.

* * *

Жизнь снова бьёт через края
и снова кажется иная —
так ничего не знать, как я,
нельзя... но *так* я и не знаю:

мне ощупью в кромешной тьме —
поди пойми по очертанью —
мир перемальвать в уме,
за тайной тайну!

Сухая белая мука
далёких смутных истин, манна...
нет ничего наверняка,
нет ничего, усни, осанна!
 Спи, славословье, спи, тоска, —
 без снов, без просыпа, без звука
 и на границе городка
 чужого — спи, моя разлука:
жизнь не добра, но и не зла,
а так... нема лишь.
Что́ морок мой тебе и мгла —
забыв про все свои дела,
ты спишь во все колокола
и всё на свете понимаешь!

* * *

Напрасные хлопоты, карточный домик надежды,
сердечко и пика, квадратный бубенчик, трилистник —
дорожка шагов, бесконечно лукавых и лисьих,
обманщицы-жизни, чьи речи темны и мятежны!

Всё слушать, и слушать, и слушать мятежные речи —
пустые слова: позабудем, оставим, уедем...
все наши дороги известны дотошным соседям,
все наши дороги кончаются тут, недалече.

И сыпятся наземь сердечки, трилистники, пики
под звуки бубенчика — частые и золотые,
и сыпятся вслед двоеточья, тире, запятые:
ах, жизни мятежные речи бессвязны и дики!

Куда как нелепы все эти возьмите, храните... —
напрасные хлопоты, карточный домик надежды!
Но там, где кончается время и дни безмятежны,
две парки, пожалуй, уже перепутали нити.

* * *

Искусимся, пожалуй, немного
белым светом в начале весны —
ну-ка, что это тут за дорога,
где не видно ни чёрта, ни Бога,
ни дороги... не думай, рискни:
мы ещё никогда не ходили
мимо стольких далёких вещей —
мимо тонкого этого шпиля,
капителей коринфского стиля...
мимо всех, мимо вся — вообще!

Мимо маленькой, но златоглавой
светлой церкви о трёх куполах,
мимо славы и мимо расправы,
мимо прав, мимо льгот, мимо благ..
Небо ласково, небо сурово
смотрит сверху на милых людей —
и молчит, и не скажет ни слова,
а прекрасная Vita Nuova
лёгкой лодкой плывёт по воде.

* * *

Это всё уже неважно,
это всё уже не суть:
скрипка-и-немножко-лажа —
Бог желает отдохнуть.

Бог сказал, ничто не ново.
Мирозданье, поостынь!
Всё равно до Дня Седьмого —
сколько? Ровно шесть пустынь.

Как это — воздать сторицей
или, скажем, рваться в бой?
Если что-то сотворится,
то не мной — само собой.

Из каких-нибудь материй,
неизвестных естеству,
из фантазий, из мистерий
не во сне — так наяву.

Помнишь музыку былого
в переплёте золотом?
Там, в Начале, было Слово,
да забылось, что потом.

МЕЖДУ ДВУХ СТУЛЬЕВ

*

...В этом городе прекрасных миражей,
где действительность не знает, что ей делать,
было столько уже разных виражей
на мостах и мостовых заледенелых!
Появлялось божество из-за угла,
и два призрака владели нишей нишей,
и судьба моя меня подстерегла
львиной мордой, неожиданно возникшей...
Это было — я не помню, на каких
длинных улицах без всякого названья
и в каких-то переулочках глухих,
где встречались вы не с нами, мы не с вами,
где к утру уже от жизни кочевой
и от жизни вообще — такая жалость! —
вдруг совсем не оставалось ничего,
сновиденья — и того не оставалось!

*

А был когда-то розоват
наш белый свет — и, между нами,
приятно было называть
своими — вещи — именами

и говорить: кольцо, стрела
и поплавок из пенопласта! —
какие громкие дела,
какое лёгкое богатство...

Вот так, длина, и ширина,
и угловатость, и овальность:
мы называли имена —
и вещи тут же отзывались.

Но искоса, не в полный глаз
всё это время жизнь другая
хитро разглядывала нас,
наш смутный час подстерегая, —

Искусство... кто же виноват,
что ты всегда шутило с нами
и заставляло называть
чужими — вещи — именами!

*

Минувшая жизнь, имперфект и аорист —
подумайте, что за дела!
Я вдаль проводил мою повесть, как поезд,
и повесть, как поезд, ушла.

Зелёный фонарик далёкой свободы
уже догорает — и вот
затеплился красный фонарик: субботы
и милых домашних забот.

Убрать со стола, заварить себе кофе —
и долго смотреть из окна
на двор в сентябре, на качели в покое,
на облако в виде слона.

И вдруг — отойти от окна: беспокоясь,
как с этого самого дня
невнятная совесть по имени Повесть
одна проживёт, без меня.

* * *

Ступать из полымя в огонь
нетвёрдою ногой,
из одного дождя в другой,
из сумрака в другой —
по двум концам одной прямой
нас развели с тобой:
шаг из не-дома не-домой —
словно из боя в бой.
Из полыньи да в полынью,
с обрыва на обрыв,
с моей планеты на твою —
зонта не приоткрыв:
я дважды вымок и просох,
пройдя из шквала в шквал,
я дважды умер, видит Бог,
и дважды выживал —

кидаясь из броска в бросок
по скользкой мостовой,
как маятник твоих часов,
бессменный сторож твой.

П С А Л О М

Где безумные люди в безумии дней
уповают на зыбкий песчаник
и на нём воздвигают постройку – и в ней
пребывают в делах беспечальных,
там для нас нет ни родины, нет ни родни,
ни прибежищ – ни явных, ни тайных!
Ибо нам с тобой светят иные огни
в наших лёгких и бедных скитаньях.

И пока, окликаая нас словом чужим,
в отдаленьи беснуется форум,
мы в дешёвом кафе переждём нашу жизнь
за сердечным одним разговором:
переждём как какой-нибудь дождь или как
полоумный какой-нибудь морок –
в двух шагах от того, кто живёт в облаках...
Ибо Он приготовил нам Город.

* * *

Среди всегда кочующих громад,
прикинувшихся жизнью и искусством,
мне — сколько места можно занимать
не в жизни вообще... в твоей, допустим?
Аршин-другой, но дальше — ни ногой,
ни взглядом и ни помыслом случайным:
там не моя земля, там я изгой,
чужой твоим преданиям и тайнам.
Полпесенки оттуда, полсловца,
полпирога, полплитки шоколада,
одна восьмая светлого лица...
И хорошо, и правильно, и ладно:
благослови, Господь, твои шаги,
твой разговор со мной вполоборота
и все твои не-предо-мной-долги,
и все твои не-обо-мне-заботы.

* * *

В честь уже наступившего лета
на пустынной одной мостовой
вот тебе одуванчик салюта
надо всею твоею Москвой.
Это что-нибудь вроде подарка —
одуванчик, смешной сувенир,
это так, как от бублика дырка
или след от бесцветных чернил.

Это что-нибудь вроде привета.
Только так и могу я, увы,
посигналить тебе — через лето,
через тёмную бездну Москвы.

* * *

Осень, осень, золотая мишура,
бросим, бросим эту жизнь: давно пора
нам на лодочке какой-нибудь убогой
отправляться, захватив с собой черпак!

В самых общих, как мне кажется, чертах
мы поедem с Вами с печки на чердак —
пропылённой скрипучею дорогой,
чтоб однажды, через много-много лет,
вдруг прибыть на отобеданный обед,
на котором ни друзей, ни близких нет,
и закончить всё беспечной чашкой кофе
за одним столом с надеждой дорогой!

Хорошо, когда в печи трещит огонь.
Хорошо, пугая пламя кочергой,
золотые собирать в щепотку крохи
этой жизни, не жалея о другой.

* * *

То, что мы когда-то знали,
мы забыли позабыть —
и всё теми же глазами
плохо видим новизну,
и умеем мимоходом
поздороваться с чужим,
с незнакомым небосводом,
как с приятелем: привет!

Два тысячелетья с лишним
пронеслись во весь опор —
и не слушаем, а слышим
стук подков издалека.
Время, полчище Мамаю,
в сумраке пороховом —
там, где жизнь глухонемая
бьётся в танце вековом.

* * *

Прекрасный белый особняк,
в котором были мы на днях,
стоит, задумавшись глубоко.
И в тонкой галерее сбоку
гуляет маленький сквозняк.

Нас больше нет в особняке —
и друг от друга вдалеке

мы совершаем нашу память,
к которой нечего прибавить,
весь мир сжимая в кулаке.

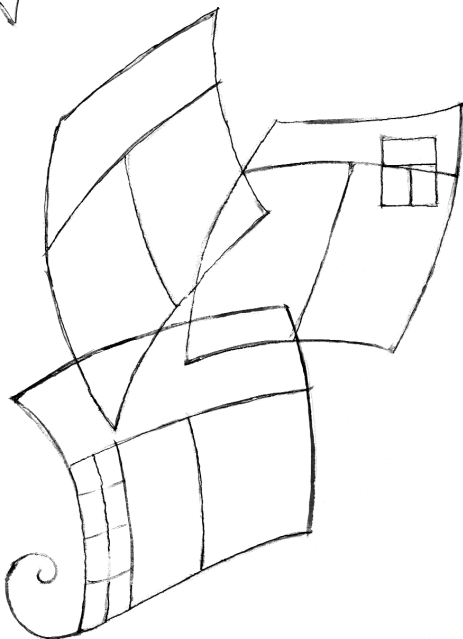
И, если силой сквозняка,
нас, как вот эти облака,
однажды вынесет со свету,
дай Бог нам встретить участь эту,
не разжимая кулака:

в котором мост, за ним дворец,
а дальше — лес, и в нём скворец,
минутной вечности глашатай...
И мир нам сладок, как зажатый
в ладошке детской — леденец.

* * *

Мир дольный и мир дальний,
долина и небеса...
Мир данный и не-данный —
нет, данный на полчаса
и взятый назад — вольным
движеньем: поднять флаг!
Мне пусто в моём, дольном,
а в дальнем твоём — как?

Оранжевым занавешен
на окнах твоих свет.
Я в дольном моём – грешен,
ты в дальнем твоём – нет.
И с тёмной моей тайной
на горнее божество
смотрю я – на твой, дальний,
из дольного – моего.



FORTUNA PRIVATA

1989-1990

* * *

Это облако не виновато,
это дерево тут ни при чём —
виновата Fortuna Privata,
громыхнувшая тонким ключом, —
и такие забытые бездны
приоткрылись в покое моём,
и такие безумные песни
полетели в зелёный проём!

Ах, фортуна с повадками феи,
как умело взялась ты за нас —
молчаливой старушкой в кофейне,
предлагающей кофе вразнос,
продавщицей в газетном киоске,
выставляющей всякую чушь,
чужестранкой на беглом наброске
на арбатском — бумага и тушь.

У цыганки есть сладкая вата:
что ни ком, то пушистый цветок!
Это тоже Fortuna Privata,
только носит беспечный платок
и игривые бусы на шее,
и бесценную цепь иногда...
И всё длится череда превращений,
бесконечная эта череда.

* * *

Несовершеннолетнюю каргу
Психею — к карусели привязали:
мелькают дни, летят перед глазами —
не знаю ничего, стой на кругу!
Не знаю ничего, стой на кругу —
на тонком берегу, бок о бок с бездной,
и неизбежность силы центробежной
ещё спасёт тебя, стой на кругу.

Замри и никогда не отмирай,
зажмурь глаза и думай о Лауре —
какие б ни свистели мимо бури,
каким бы дальним ни казался рай,
как ни томили б старые долги,
как старые грехи ни звали б с круга...
И будет петь шальная центрифуга,
нестись вперёд и не видать ни зги!

Я прилечу так скоро, как смогу,
на сером волке, на лошадке белой —
ты ничего для этого не делай,
ты лишь постой ещё... стой на кругу!

* * *

Милый случай, проводник слепой,
как ты знаешь нежную дорогу,
милый случай, предстоящий року,
лёгкой управляющий стопой!

Милый случай, златокудрый бог,
потерявший в небе погремушку,
будь здоров и счастлив, потому что
ты однажды мной не пренебрёг.

Хорошо, взлетевши над толпой
и держась за поручень небрежно,
на подножке бешеной надежды
зайцем путешествовать с тобой!

* * *

И снова нам встречаться не с руки,
и снова нет в пучине жизни брода...
Ты пересчитываешь лоскутки
бесценной, золотой твоей свободы,
а я всё тку и тку — из тонких строк,
тку день и ночь... я многорук, как Шива,
тку ткань одну, да только всё не впрок:
никто не просит ничего большого!
Однако я — хоть хохочи, хоть плачь —
какой-нибудь заржавленной железкой
всё тку, и тку, и тку — силезский ткач,
всё тку, и тку, и тку — паук силезский.
Я что... я полотно сплошное тку —
хотя куда уж правильной и легче

взять лоскуток, приставить к лоскутку —
полвстречи, да потом ещё полвстречи,
да четверть... дескать, так и наберём,
лоскутники, себе на одеяло —
в метро, да под вечерним фонарём,
да около киоска у вокзала!

* * *

«Увидимся через два дня...»

Два дня короче, чем неделя, видит Бог,
два дня короче четырёх, короче трёх,
два дня короче очень многого на свете,
но, к сожаленью, не короче, чем один.
К двум дням уже подходит слово «чемодан»,
и, скажем, «аэровокзал», и «Магадан»,
два дня есть маленькая свита — в этой свите
я замыкающий и плохо вижу цель.
А цепь звенит, и на цепи поёт свирель,
поёт о жизни нескончаемой своей
в течение двух в течение дней... в течение века —
какой тут век у нас и что тут за страна?
Два дня — Великая Китайская Стена,
в сон уходящая, пришедшая из сна,
два дня — река, строка гекзаметра, улика...

ЦЕРКОВНЫЙ ХОР

Послушаешь: поют! А жизнь, сама собою,
проходит стороной — такой напрасный труд...
но мы идём за ней тяжёлою гурьбою —
замрёшь на полчаса, послушаешь: поют!

О чём они, когда так тесно в расписаны
сгустившимся часам, когда не до молитв, —
забыв про небеса, живём под небесами,
а вспомнишь небеса, послушаешь: болит!

Внутри болит — и жмут плащи, пальто и шубы,
жмут хижины, дворцы, и все пространства — жмут,
и музыки почти совсем не помнят губы,
и полотно судьбы почти свернулось в жгут,

и жгут лучи светил — дневного и ночного,
вспоминанья жгут, свистя, как тонкий прут,
но больше жгут стихи: в них жжёт любое слово —
опомнишься от них, послушаешь: поют!

Бумажный храм мечты, надежды храм картонный,
светлопроцветший крест, как сон твой, невесом...
Но как они поют — над бездной, у которой
гуляем мы с тобой, забывши обо всём!

* * *

Как объяснишь, что нет невинней нас!
Невинны все, кто попадает в бурю,
невинны все, бредущие вслепую,
и все, кто верит в случай и в Богдаст.

Невинны все гонимые и все
отверженные, ибо — за чертою,
и все, кто говорит «я вас не стою»,
и все, чья жизнь висит на волоске.

А нам осталось жить — ну, день один,
ну, триста лет, ну, сколько пожелаем:
ведь всё равно за быстрым поцелуем
мы жизнь и всё на свете проглядим —

и нету никакой вины на нас:
невинны, кто отвели лавины.
А те, кто любят, много раз невинны —
они и умирают много раз.

И. СТРАВИНСКИЙ. ПЕТРУШКА

1

Февраль весь белый, весь в извёстке —
и даром что молодецват!
Сейчас я выйду на подмости
и стану плохо танцевать,

и все увидят, как увяли
мои пустые рукава,
и денежку дадут едва ли:
я деревянный, я дрова.

Но будет музыка, как мука,
меня к движенью понукать
и помыкать мной: дескать, ну-ка —
и будет ниже поникать
колпак, чьи бубенцы озябли,
пока пылал ваш карнавал...
Потом прильёт меня хозяин
за то, что плохо танцевал —

до крови... и, трясясь на нити,
я повторю свои слова:
я деревянный, извините,
я деревянный, я дрова.

2

А она балерина, а я...
на нея обращают вниманье:
она кружится, снег поднимая, —
будто вовсе и нету ея!
У нея голубые глаза,
а на туфельках множество пряжек —

золотистых: она ими пляшет,
а глазами — глядит... и нельзя
потому не любить её глаз,
и нельзя не любить её пружек —
тех, которыми так она пляшет,
исчезая в танце от нас!

Она пляшет и снег берedit —
и не видит меня на отшибе:
почему мы такие чужие
и она на арапа глядит?
Он ведь ей не родня, не ровня —
он из дальней страны окаянной...
Я не буду такой деревянный:
Госпожа, погляди на меня!

3

Это балаган, балаган, балаган —
балаганный дед веселит, веселит,
барабанщик бьёт в барабан, барабан —
барабан гудит, басовит, басовит.

А шарманка тоненько этак поёт,
и шарманщик крутит за ручку мотив,
и шарманщик розовый билетик даёт —
то-то будешь счастлив, ему заплатив!

Кто бы мне билетик такой подарил —
я ему за это спляшу и спою!
В ящичке чудесном полно балерин —
может, я найду среди них и свою.

Ан — проходят мимо, и то... балаган:
что им до Петрушкиных малых забот! —
Там с лотка торгуют, там страшный цыган
медведя ручного на цепке ведёт...

4

Вот они наконец наигралися мной —
я им тут вроде, как бы сказать, тамбурина.
Но закончился день этот, злой и смешной,
и ко мне приходила моя балерина!

Шла дорогой своею, по лестнице шла
и — зашла на минуту, зашла — и пропала:
перепутала дверь... так планета мала!
И растаяла облачком тонкого пара.

Я сегодня, наверно, уже не умру —
я сегодня богат: пусть чуть-чуть, пусть нечестно!
Пронеслась себе тучкой на летнем ветру,
и растаяла вся, и — растаяв — исчезла.

Жизнь прекрасна, она потому и пройдёт —
о, как много мне счастья она подарила:
карусели кружились, резвился народ
и ко мне приходила моя балерина!

5

Да что ж арап... он прислан на потеху,
и в его жилах чёрная вода,
он зол и глуп, он молится ореху —
ты с ним, мой ангел, не танцуй тогда!

Смотри, как я умею прыгать: бп-ля!..
А он — тяжёлый, что твоя руда,
и страшный: у него большая сабля —
ты с ним, мой ангел, не танцуй тогда!

Ему не внятен твой чудесный щебет,
но он тебя похитит из гнезда:
он никого на всей земле не любит —
ты с ним, мой ангел, не танцуй тогда!

Он саблею меня загонит в угол
и не оставит от меня следа.
Ты и тогда с ним не танцуй, мой ангел, —
танцуй со мною... даже и тогда!

6

Если фокусник прикажет мне: пляши! —
я спляшу ему: как фокусник прикажет.
Если фокусник прикажет: не пляши! —
так не буду.

Если фокусник прикажет: хохочи! —
я ему захохочу: как он прикажет.
Если он прикажет мне: не хохочи! —
так не буду.

Если фокусник прикажет мне: умри! —
я умру ему: как фокусник прикажет.
Если фокусник прикажет: не умри! —
так не буду.

Если фокусник прикажет мне: люби! —
полюблю я балерину, балерину.
Если фокусник прикажет: не люби! —
полюблю я балерину, балерину.

7

Славное гуляние: кони летят..
карусели крутятся — кони и львы!
На коне оранжевом скачет дитя,
а на льве лазоревом — я или вы.

Славное гуляние: искры летят!
Каблучки цыганочек — точно кремень.
Тут у жизни праздничной все мы в гостях:
разумей, голубчики, ах, разумей!

Славное гуляние: сполохи летят!
Что ж это за музыка, столько огня... —
шапито приветствует: бейтесь в сетях
без меня, голубчики, ах, без меня.

Славное гуляние: головы летят!
Вон моя валяется возле крыльца:
тут у жизни праздничной все мы в гостях —
распотешь нас, Масленица... Мас-ле-ни-ца!

* * *

И вечер неплох, и погода совсем неплоха —
и есть полстиха, и ещё полстиха наворкую,
но невыносимо горят и горят облака
над далью твоею, куда мне нельзя ни в какую.
Вот, тоже мне... средневековые — на самом краю
двадцатого века, в Москве, на Суворовском, в десять!
Не странно ль, что я ещё жив — и, к тому же, пою,
в то время как надо б давно меня было повесить?
Хотя ведь... меня не возьмёшь: у меня есть копьё,
копьё и улыбка — и с ними я выйду сражаться

за имя твоё, за короткое имя твоё —
ах, нет ни копыа, ни улыбки, и это ужасно.

А небо горит и горит над толпою окон:
и там твоя жизнь, среди них, — золотая, другая,
чей чистый огонь, чей высокий и чистый огонь
мне крыльями машет — оттуда меня обжигая.

* * *

Ты, как браслет, сняла запрет —
и сразу всё переменялось:
и на углу стоит Конь Бред,
копытом бьёт, скажи на милость...
Как безмятежно нам теперь,
как дерзко нам и как нелепо!
Привет, полубиблейский зверь,
ты с неба к нам? Ну, что там — небо?

Всё бредит жизнью без конца
и облаками золотыми,
всё заговаривается
и то же поминает имя,
всё треплет старенький мотив
по тем пространствам ненаглядным,
куда и мы с тобой, мой ангел,
махнём, поводья отпустив?

* * *

Когда сухому снегопаду,
когда слепому музыканту
наскучат площадь и зима,
он убежит с пустого бала
играть о чём и как попало,
бесчинствовать, сходить с ума
и путать карты и маршруты,
тысячелетья и минуты,
а также ноты и слова,
а также всё, что было с нами
и не было, а было снами:
Шираз, Венеция, Москва...
И мы заблудимся в метели —
мы не хотели, не хотели:
мы шли за музыкантом вслед,
чья музыка была сначала
тиха, а после одичала —
и больше нас на свете нет.

* * *

*И увидел я новое небо и новую землю,
ибо прежнее небо и прежняя земля миновали...*

Иоанн Богослов

И увидел я... нет, я сперва ничего не увидел —
я совсем ничего не увидел, я понял с усилием
сразу всё: почему называется идолом идол,
почему идеал — идеалом и символом — символ.

И ослеп, и оглох, и запутался в фразе невинной:
что-то вроде поймите-простите-позвольте-не-надо —
и потом онемел, и меня задавило лавиной
листопада любви, снегопада любви, камнепада.

И валилось из рук всё, за что я хватался руками:
было землетрясенье в Москве, в безмятежном апреле —
и все смерчи сцепились в клубок, все изверглись вулканы,
и все реки из всех берегов выходили, кипели и пели.
И все реки кипели и пели, неслись и рыдали
и смеялись, как будто напившись зелёного зелья...
Пелена спала с глаз — и открылись незримые дали,
и увидел я новое небо и новую землю.

* * *

Ты возьмёшь себе это и то —
и, сестричка-фортуна,
мы сойдёмся за детским лото
из цветного картона:
 это — яблоко, это — ружьё...
 С дружелобной враждою
 мы сыграем в твоё и моё —
 и в ничьё и чужое.
А когда уже всё раздадут —
даже всякую мелочь,
я останусь внакладе и тут.
Ничего, что ж поделать:

слишком мало на свете вещей
(это — хлеб, это — вишня) —
кто-то должен остаться ни с чем:
извините-так-вышло.

За вещами уйдут имена
(это — снег, это — порох) —
из всего, чего нет у меня,
можно выстроить город.

А представишь себе, что — потом:
ад, чистилище, дескать... —
всё вокруг только пёстрый картон
этих карточек детских!

* * *

Что память, что́ обманщица поёт,
когда трещат основы мироздания
и забивают наглухо, гвоздями,
вольнлюбивый — на ночь — небосвод?
Какая там луна или звезда —
не нужно благородного металла,
а нужно, чтобы небо никуда,
любезное, ночами не летало,
чтоб посреди вселенской пустоты
дремучая, как лес и совесть, дрёма
привязывала буйные кусты
к стене полуобрушенного дома.

Но память-лунья, в зарослях шурша
прелестными, бесчестными словами,
рисует очертанья шалаша,
и юность, и очей очарованье,
и может статься — почему бы нет? —
что, напевая песенку кривую,
обманщица сия, сия певунья
нас как-нибудь да выведет на свет!

* * *

Всего и дела что — вздохнуть,
расширив суток промежуток!
Как знать, а вдруг от этих суток
и мне перепадёт чуть-чуть?
Минут пятнадцать возле Вас,
не веря этакой удаче,
не думая, что будет дальше,
но — набирая про запас
два взмаха рук, два слова уст:
мне жить ещё!..
И, между нами,
сухой паёк воспоминаний
не так-то уж и плох на вкус:
слезой разбавишь и — живёшь
на хлебе и воде былого,
весь день твердя два Ваших слова,
а прочих слов не ставя в грош.

У встреч обуглены края.
У вечности шаг черепаший.
А эти ключья жизни Вашей —
они и есть *вся* жизнь моя.

О К Т Я Б Р Ъ

Ещё и завтра будет жизнь у нас:
ещё не вся природа облетела,
ещё не вся душа ушла из тела
и не настал последний раз и час —
ещё и завтра будет жизнь у нас.

Шарф завтра дошуршит свою балладу,
зонт высохнет до завтра как-нибудь —
и начатый в апреле крестный путь
продолжим завтра мы по снегопаду:
ещё и завтра будет жизнь у нас.

И будет в небесах сиять Парнас,
и будет намекать на близость рая.
Ещё и завтра будет жизнь у нас —
я говорю, сегодня умирая.
Ещё и завтра будет жизнь у нас.

С О Н В Л Е Т Н Ю Ю Н О Ч Ь

В Москве светает, а тебя увозят.
В Москве суббота, а тебя увозят.
На девяти вокзалах стон стоит
и плач стоит: это тебя увозят.

Тебя увозят — и звонят все церкви,
летят все птицы, и звонят все церкви —
все сорок сокрушённых сороков,
но нет других — и вот: звонят все церкви.

Звонят все церкви, все мосты сгорают:
пожар в Москве — и все мосты сгорают,
я на пылающий ступаю мост
и знаю, знаю: все мосты сгорают.

Мосты сгорают, а тебя увозят.
Куда бежать? Они тебя увозят!
Проснись, глупец, опомнись: кто — «они»?
Не знаю, но они тебя увозят...

КА К В Е Р И Л Б И С Э Й

Ради этой минуты я ехал, и ехал, и ехал —
в обезумевшем поезде, полном рассвета и дыма,
оставляя свой дом, свою родину — махом и чохом,
нелюдимо косясь на соседей, куря нелюдимо.
И потом я стоял, и стоял, и стоял: изваяньем,
истуканом, болваном — на самом краю ожиданья,

и мелькала в толпе золочёная пряжка твоя мне,
но была не твоя, а чужая и снова чужая.
Я там прожил ещё одну жизнь: я родился и вырос
прямо возле метро — в самой гуще кишашей, прохожей —
и навеки впитал в себя злую рассветную сырость
всем моим существом: всей душою, всем сердцем, всей кожей.
А настала пора умирать — я сказал себе: полно,
человек-не-пришёл-значит-так-человеку-удбно.
И меня поглотили холодные чёрные волны
безысходной толпы у подземного у перехода.

* * *

Спасаться стихами — чужим, бестолковым их шумом, —
ловить журавлей по холодным, по зимним бульварам,
быть призраком лета косматым размашистым шубам
в пальто — молодежовом и узком, но грузном и старом.

Я вам прихожусь, дорогие мои, неизвестным,
двумя неизвестными — маем и вместе июнем,
я вам прихожусь — вашим спальням, огням, занавескам —
как тень или воспоминанье о чём-нибудь юном.

Бульварный напев, стиховой перепев журавлиный,
молох снеговой!.. и, запрятав тепло под ресницы,
я вижу оттуда снега — неизбывной лавиной,
и мёртвые падают под ноги с неба — синицы.

* * *

Скажи, копеечка-орлом,
могу ль я под твоим крылом
в таком горячем мятеже
не пребывать уже —
и не молиться до утра
о том, чтоб жизнь была добра
с зеленоглазым существом,
с которым Бог нас свёл?

Скажи, копеечка-орлом,
ведь нет опасности в былом
и можно не бояться за
зелёные глаза —
переходя пучину вброд,
пока судьба слепа, как крот,
пока безмолвствует народ
и дурачок поёт?

Скажи, копеечка-орлом,
не сам ли Бог ли за углом
с улыбкой стережёт меня,
монетками звеня?
«Пой, говорит, мой дурачок», —
и поддевает на крючок
надежды, и блестит крючок,
и счастлив дурачок.

* * *

...а пока я Вас чуть-чуть ревновал
то к деревьям, то к траве, то к воде,
позади меня случился обвал —
я не знаю, как случился и где.
Даже, в общем, не обвал никакой —
просто осыпь небольшою волной,
просто гравия щепотку рукой
кто-то тронул у меня за спиной.

А за осыпью за этой вослед
потянулись, как стихи наизусть,
тридцать, стало быть, с верёвочкой лет —
за которую пока что держусь,
и которая не так уж прочна,
и которая не так уж нужна —
и которая дрожит, как струна,
как натянутая Вами струна.

* * *

Туман обвис и поредел,
и смилостивилась природа,
а золотая-рыбка-день
блеснул, плеснул — и снова в воду.
Но сразу несколько надежд
успело промелькнуть в просвете,
заполнив золотую брешь:
на жизнь, на счастье, на бессмертье.

Сегодня к завтраку капель
и разговор по-итальянски,
а к ним — нежнейшая свирель
и гиацинты в тонкой склянке,
но это позже, а пока
туман сползает с низких веток —
и так светла и коротка
улыбка ночи напоследок!

* * *

Гуляй, моё счастье, не тут — так там,
не там — так ещё где-нибудь:
гуляй, я хожу за тобой по пятам
и твой выпрямляю путь.
Гуляй, моё счастье, не с тем — так с тем,
а хочешь — так с тем и с тем,
гуляй, я тащусь за тобой, как тень,
твою охраняя тень.

И то, моё счастье, о чём тужить —
весь мир запахнув в пальто:
ведь сколько с тобой нам осталось жить?
Каких-нибудь там лет сто —
лет сто потянуть этот лёгкий вдох
и выдохнуть так: прости.
А все твои спутники... дай им Бог
забыть тебя на пути —

в тот край, где гобой протрубит отбой
и ангел погасит звезду,
куда никто не пойдёт за тобой,
а я за тобой — пойду.

* * *

День за мыслями грешными
пролетел, прохрустел —
шоколадом с орешками,
шелухой новостей,
и румяное облачко
догорает, шурша, —
это райское яблочко
или это душа.

Ты уж, душенька, старишься,
а туда ж — кочевать
да вдали от пристанища
своего ночевать!
И опять моя странница,
погуляв в небесах,
обещает исправиться
и меня не бросать.

* * *

Прийти к тебе ни с чем, как есть —
всё потерялось по дороге:
коротенькое слово «честь»,
коротенькая мысль о Боге,
сухой вопрос какой-нам-толк?
сухой ответ да-никакого...
и некий долг-зубами-щёлк,
и непонятно чьи оковы.

Мы наживём, дай только срок,
с тобой не меньше, чем имели,
и сложим всё, в чём будет прок,
в коробку из-под карамели.
Ты скажешь: «Сколько набралось
сокровищ караван-сарая!» —
перебирая горстку слёз
и вздохов гроздь перебирая.

* * *

Зелёного неба, весёлого неба края,
смотри, зацветают тяжёлой лиловой сиренью —
и низкие птицы, неправильно небо края,
рисуют на нём долгожданной грозы появленье.

Пора нам, гроза, собираться в недолгий наш путь:
ребёнок юлу раскрутил — и в природе жужжанье,
пора разрушать... это только потом как-нибудь
мы в бархатной с вами походим по дому пижаме!

Вот-вот он распляшется, этот сиреневый бунт —
и надо навстречу послать ему доброе слово.
Уж как ни бедны мы, а каждому хватит на фунт,
к примеру, хоть лиха — отчаянного, грозового!

И кто его знает, *что* наземь сорвётся с высот,
а что не сорвётся, хотя раскачается тоже, —
но каждый в кулёчке свой собственный фунт понесёт:
фунт лиха, изюма... уж это кому что дороже.

* * *

И мы плывём весеннею водой —
часов не наблюдая, но старея.
Уходят вдаль своєю чередой
деревья, зданья, голоса, и время,
и образы — как коротки их дни
и как скупится вечность на уступки!..
и образы — как лёгкие ладьи,
ореховые хрупкие скорлупки.
Куда же мы от них — в какую даль,
в какую жаль... кому мы их оставим?
Миндаль был сладким, горьким был миндаль —
и двойственным таким, таким лукавым!
Вкусив искусств... но не об этом речь —
речь всё о той же самой одиссее,
когда не удаётся уберечь
скорлупку-память на воде осенней.

PONTO DEI SOSPIRI

Носить улыбку на устах,
как птицу на руках,
и хохотать, никем не став,
оставшись в дураках,
и знать: пока растёт трава,
ты точно будешь жив,
и заучить свои слова,
и не хотеть чужих,
не думать о минувших днях
и о грядущих днях,
и вздох рассеянный ронять —
и забывать поднять...
И, улыбнувшись в полный рост
в глаза чужих химер,
подумать: здесь построят мост —
Мост Вздохов, например.

* * *

Какой золочёный учёный паук,
магистр беспечных наук,
ткал просто из воздуха — снов и теней —
материю жизни моей?
Такая непрочная... рвётся в руках
и крошится, и не удержишь никак,
и годы идут, и трещит всё сильнее
материя жизни моей.

А глупой душе этот треск незнаком —
ей всё бы порхать по твоим облакам:
душе невдомёк, что трещит всё сильней
материя жизни моей!

Возьми-ка, дружок, на свои облака
хотя бы два-три золотых лоскутка:
надставить — на несколько солнечных дней —
материю жизни твоей.

* * *

Рассказать, как лунатики падают с крыш,
до небес дотянувшись едва лишь?
Но тебя уже нет... ты всё время спешишь —
и всё время везде успеваешь.
Это только меня полоумная плеть
подгоняет, считая секунды,
это мне одному никуда не успеть —
никуда не успеть ниоткуда.

Слава тем, кто с иглой, слава тем, кто с метлой,
слава тем, кто встаёт в полседьмого —
и кого не смутит никакой поцелуй,
никакое сердечное слово:
и да стелется шёлком под ними проспект,
да продлятся их дни и их полдни!
Я тебя на руках понесу, чтоб успеть
до закрытья — чего, я не помню.

Значит, вечная слава тебе и хвала,
что на свете на чёрном... на белом
ты начать успеваешь и кончить дела —
и что любишь меня между делом.

* * *

Безо всякой такой сноровки,
ничего не умея вовсе,
понимая, что это глупость
и что этому грош цена —
из меня можно вить верёвки,
из меня можно делать гвозди,
из меня можно строить крепость,
если крепость тебе нужна.

Хочешь — скипетром и державой,
хочешь — свечкою к аналою,
хочешь — кроткой улыбкой Будды
под ногами, в пыли, в золе... —
одного из меня, пожалуй,
не получится: стать петлёю
для тяжёлой твоей свободы,
придавлившей тебя к земле.

* * *

На тему жизни, смерти и любви —
не хватит ли об этом, не сказать ли
о чём-нибудь ещё?
Да всё некстати,
что кроме жизни, смерти и любви.

А слово кружит бабочкой ночной
меж трёх миров, предложенных на пробу, —
и все они, увы, не так уж чтобы...
да где же взять какой-нибудь иной!

И слово кружит, а века гудят,
века растут — планета молодая
старее... слово кружит невпопад,
всё примеряясь, медля, выжидая —

крылатое такое существо
без страха и, должно быть, без упрёка —
порхает, не касаясь ничего,
всё около, всё близко, всё далёко.

* * *

Вечереет, и темнеет, и пустеет наша жизнь,
и часы идут, а парки... нет, не парки — шелкопряд
тянет ниточку, и прялочка вертится и жужжит
столько дней уже подряд и столько лет уже подряд.

Что за ниточка такая, для чего она блестит?
Это шёлковая ниточка, для связи всех времён!
Кто там держится за ниточку, стареет и грустит —
это Бог грустит о вечере, что кончится и он.

Видишь, прошлое всё думает, куда бы ускользнуть,
да за шёлковую ниточку потянешь — и опять
всё воротится обратно, пусть хоть и на пять минут:
посидеть за чаем сумрачным, поплакать, помолчать.

Можно вытянуть и будущность без всякого труда —
потяни в другую сторону, попробуй-ка рискни!
Лишь бы прылочка вертелась... а из коконов всегда
вылетают только бабочки, лишь бабочки одни.

* * *

На высоком летнем берегу,
где сидят два воробья,
есть на всякие истерики
полуулыбки у тебя:
полуулыбки, полкораблика —
возле всех моих пучин,
полфонарика, поляблока:
мол, не хмурься без причин!

На любой тяжёлый обморок —
бросить ночь, махнуть в кабак! —
у тебя есть грозный оберег —
полуулыбки на губах.

И за праздные терзания
(не терзайся, идиот!)
нас с тобой сквозь утро раннее
пол-лошадки увезёт.

КАРТОЧНЫЕ СТРАСТИ

Шесть стихотворений

1

Дню заканчиваться лень,
и далёк скандал.
Сколько хочешь Королей —
сколько хочешь Дам.
Всякой масти завались,
как в лесу опять.
Все на свете обнялись
и вповалку спят.
И никто ещё в пыли
шлейфа не валял.
Снятся Дамам Короли,
Дамы — Королям.

Но уже близка гроза.
Зябко на ветру.
Туз во сне толкнул Туза —
это не к добру.

Все несчастья от Тузов,
вставших на дыбы...
Чу! Шестёрки слышат зов
Боевой трубы.

2

Дама била Короля.
На бочок склонив головку,
обстоятельно и ловко
била Короля.
Высоко взлетали ленты,
высоко взлетали банты —
Дама била Короля.
Ведь истерики и бунты —
это дамские таланты...
Дама била Короля.

А Король был очень милый,
очень милый и усатый,
а Король смотрел с досадой,
усом шевеля.
И не знал, что Дама била
потому его, что милый,
очень милый, и усатый,
и ни в чём не виноватый,
а ещё смотрел с досадой,
усом шевеля!
Дама била Короля.

Отдыхала и по новой
била Короля...
А причиной (и основой)
было то, что он бубновъй,
и за то, что он бубновъй,
Дама била Короля.

3

Два Короля ночной порой
сходились под горой.
И с бубном был один Король,
и с пикою — второй.
И тот, который с бубном был,
всё время в этот бубен бил,
а тот, который с пикой шёл,
был беспримерно зол.

Они сошлись порой ночной
под общею луной.
И всё окончилось войной —
кровопролитной, но смешной
под этою луной.
И тот, который с бубном был,
того, кто с пикой был, убил
под этою луной.

А если б тот, кто с бубном был,
того, кто с пикой, не убил
под этою луной,

тогда бы тот, кто с пикой был,
того, кто с бубном был, убил
под тою же луной.

Но, в общем, их военный пыл
поднял вокруг такую пыль
под общею луной,
что непонятно, кто там был,
и кто кого из них убил,
и под какой луной.

4

За Дамой гонялись четыре Валета
(Валет, и Валет, и Валет, и Валет):
четыре берега, четыре жилета
и восемь цветных эполет.
И восемь цветных эполет.

Четыре Валета ей пели куплеты
(куплет, и куплет, и куплет, и куплет) —
и ей подарили четыре браслета
и восемь пакетов галет.
И восемь пакетов галет.

Наверное, Дама была из балета,
ей было семнадцать, наверное, лет.
И Дама влюбилась в береты, в жилеты
и в восемь цветных эполет.
И в восемь цветных эполет.

За Дамой гонялись четыре Валета,
четыре Валета ей пели куплеты,
к тому же, стояло прекрасное лето,
а Дама была стрекоза...
Она с удовольствием съела галеты,
а после надела четыре браслета
и замуж пошла за Туза.

5

Шестёрки сказали Семёркам,
Семёрки сказали Восьмёркам,
Восьмёрки сказали Девяткам,
Девятки сказали Десяткам...
Валеты любили секреты
и Дам обожали Валеты –
и так разносилась по свету
ужасная тайна Туза:
 Туз был староватым,
 не очень богатым
 и, главное, пятым
 в колоде Тузом,
 а в пятом – какой же резон?

Но эта кошмарная новость
про эту кошмарную старость
была совершенная глупость
и, в сущности, бред или сон:

 Туз был староватым,
 Туз не был богатым,

но не был и пятым
в колоде Тузом,
поскольку... какой же резон?
И так получилось, что как-то
разбил он все прочие карты —
конечно, весьма деликатно,
а всё-таки вышел конфуз.
Поскольку, хоть он староватый
и даже совсем не богатый,
но всякие сплетни чреватые,
и Туз — это всё-таки Туз.

6

Только начинался вечер,
но уже кончался покер.
На полу валялся Джокер
и молчал как мог.
Крыть друг друга было нечем,
глупо посылать за сменой —
и витал над мрачной сценой
розовый дымок.

Дама обижала Даму
(не пуская Даму к дому),
на отшибе думал думу
пиковый Валет.
Три других стрелялись рядом
и, спалив друг друга взглядом,
наполняли едким чадом
целый белый свет.

Короли погибли оба.
Туз Тузом раздавлен грубо.
Дам — всех сразу — сгрызла злоба.
Пал Валет — в груди с дырой.
Мелочь порвана на части.
И, когда утихли страсти,
Джокер встал и крикнул: «Здрасьте!
Я теперь король!»

БАЛЛАДА О ПОЧТОВОЙ СУМКЕ

Я цитирую цитаты, сочиняю сочиненья —
завтракаю лёгкий завтрак и обедаю обед.
Почтальон приносит почту, улыбается улыбкой —
лицемерной и коварной: «Вам письма сегодня нет».

Я отнюдь не обижаюсь: я-то знаю почтальонов —
всю их подлую породу, и меня не проведёшь:
почтальоны вечно прячут массу писем в толстых сумках
и нисколько не краснеют, ибо — обожают ложь!

Так что я крою спокойно мину номер сорок восемь
(равнодушие к событиям) и спешу произнести:
«Как дела и как здоровье? Не зайдёте ли на кофе?
Дождь идёт, и всё такое... Вы промокнете в пути».

Он развешивает уши на некрашеном заборе —
я же сразу понимаю: алчет кофе негодяй! —
и лениво добавляю: «Впрочем, если не хотите,
мне же лучше... кстати, сливки просто льются через край!»

Почтальон снимает уши — ухо за ухом — с забора и негромко отвечает, обращаясь к дождю:
«Слишком многие мечтают выпить кофе с почтальоном... Я подумаю сначала, а потом уже скажу».

Я-то вижу, что попался он в расставленные сети и, уже почти ушедши, говорю: «Ну, нет так нет... Кстати, вот что интересно: кофе часто пьют с печеньем, а закусывают тортом и коробками конфет».

Я-то знаю почтальонов, всю их гнусную закуску, и отнюдь не удивляюсь, слыша, как он говорит:
«Если только ненадолго... я же всё-таки на службе», — ухмыляючись ухмылкой, омерзительной на вид.

Он почти бежит за мною на весёлый запах кофе, обсуждая по дороге сотню всяких пустяков: что за торт, что за печенье, импортные ли конфеты — и большая ли коробка, и срок годности каков...

Я, конечно, отвечаю на вопросы — пункт за пунктом — и подталкиваю гостя к креслу — мягкому притом: развалившись в мягком кресле, он хватается за чашку и хлебает как безумный крепкий кофе жадным ртом.

Я отнюдь не раздражаюсь (я-то знаю почтальонов!) — повторяю: «Ах как странно, что мне не было письма...» И, притворно сожалея, он внезапно засыпает: кофе с пачкой димедрола быстро действует весьма.

Тут я открываю шкафчик, вынимаю острый ножик
и втыкаю этот ножик раз пятнадцать — двадцать пять
почтальону прямо в сердце — и, когда он умирает,
я, вздыхая облегло, принимаюсь хохотать.

Хохоча, я расчлениваю тушку пакостного гостя
на квадратные кусочки и бросаю их в мешок,
а потом мешок сжигаю в алом пламени камина
и спокойно жду, покамест улетучится душок.

Наконец, уже отныне не теряя ни секунды,
еле сдерживая сердце и пылая как в огне,
я бросаюсь к толстой сумке и вываливаю на пол
массу утаённых писем — все до одного ко мне!

Я совсем не возмущаюсь (я-то знаю почтальонов),
я ласкаю письма взглядом, силясь подавить озноб,
открываю все конверты, складываю письма в стопку —
и читаю, и читаю, и читаю их взахлёб...

И никак не начинаюсь, всё никак не начинаюсь —
строчка тянется за строчкой, как коралловая нить...
Многое в них устарело — и в сердцах я повторяю:
«Раньше надо было, раньше эту гадину убить!»

Впрочем, пусть и так спасибо скажет мерзкое отродье,
что изнеженные руки об него я замарал!
И прижавши письма к сердцу, я танцую до рассвета —
и ликующие крики издаю, что твой марал...

* * *

Поверим на слово беспутному апрелю,
не расстающемуся со своей свирелью
до декабря, до января, до февраля...
а там до марта — чтоб опять гулять по склонам
в неувядающем плаще своём зелёном,
свистя в свирель и ничего не говоря.

Поверим на слово молчащему сурово
чужому Богу, охраняющему слово, —
чтобы тому случайно вдруг не убежать
куда-нибудь от разлюбезного предмета...
а я клянусь, что прекращаю делать это —
ловить слова и, заключая их в тетрадь,
бурчать: довольно-вам-гулять-по-белу-свету!

* * *

Любовь умнее нас с тобой — и ей видней,
как объяснить «распоряжайся» и «владей»:
любовь сама ведёт людей по краю дней,
по краю дней сама ведёт своих людей.

Тебе не нужно знать об этом ничего,
силков бояться и глядеть по сторонам:
к тебе и мне привязан ангел бечевой,
и этот ангел — он не даст погибнуть нам.

Ты, если хочешь, понимай всё это так:
мы в безопасности, любовь нас бережёт —

своих избранных с печатью на устах,
легко ступивших на сыпучий бережок.

И если можешь, то не думай ни о чём,
когда земля почти уходит из-под ног,
а нет — подумай: тихий ангел над плечом
и чуть подалее — охраняющий нас Бог.

* * *

Ничего я не ищу, не прошу —
по воде тупым пером я пишу
золотые да пустые слова,
а вода моя темна и крива.
И дрожат на той воде словеса,
но неграмотны твои небеса —
и, присматриваясь: «*Что* это тут?» —
всё читают, да никак не прочтут.

И тогда я говорю небесам:
я всю воду до конца искромсал,
я перо своё о волны сломал —
пробиваясь к самым главным словам.
Но неграмотны твои небеса,
хоть — на полчаса, на четверть часа
землю светом золотым осеня —
вроде как и понимают меня...

* * *

Право дело, не стоит того эта явь,
чтоб забыться в ней хоть на полдня:
потому и скольжу я по улице вплавь —
там, где нет и не будет меня.

Я не здесь, говорю я, а здесь меня нет —
есть берет, есть пальто, но не я!
Окончательной бренности ласковый бред,
бред бездонности, небытия...

И качается мир на ветру, на плаву
и смещается за горизонт —
в область сна, сновиденья, а здесь, наяву,
только дождь остаётся и зонт.

Из дождя и зонта не построишь палат,
а построишь — так вряд ли навек,
ибо век твой летуч, ибо век твой крылат,
как привет, как намёк, как набег.

И опять, начиная с того же с нуля
этот день, этот сон, этот бред,
ты берёшься за шлейф своего Короля —
шлейф от платья, которого нет.

* * *

На клочке, на салфетке, на пачке от сигарет
запишу впопыхах, что ночной набормочет бред,
пока будет бороться с кромешною темнотою
насекомый пустяк уайльдовской запятой.

Два прозрачных таких, два коротких таких крыла —
не то муха какая-токая... не то пчела,
не то есть запятая... не то, так сказать, не есть,
ибо завтра её ты уже не увидишь здесь.

И кивает копною спутанной мастерство,
да из этих пределов почти не видать его:
тут успеть бы за топотом двух каблучков пустых...
тут, по чести признаться, давно не до запятых!

Ан — висит над душой насекомый один пустяк
и звенит: дескать, тут у Вас, мой дорогой, всё не так, не так...
И летят каблучки — неуклюжему тексту вспять,
да напрасно: теперь их, видимо, не догнать!

...тоже глупость ещё — охотиться по ночам:
оставайся наутро с чем есть — со своим ничем,
со своей вперекрест исчерченной немотой,
с пустяком насекомым уайльдовской запятой.

* * *

Ходит в небе серебристый пароходик
и не виден, как его ни наблюдать:
что-то лишнее на свете происходит —
сверх событий обязательных и дат.

Как вернуться бы в рассеянность и дробность
дня прохожего, минующего дня,
где изюминка, иголочка, подробность
ускользала от тебя и от меня?

На подробность припадая и хромая,
день прошёл по людным лужам и истёк —
где звезда в большом ковше одна восьмая,
где сирени один пятый лепесток?

Не накладывались сущность и явление
друг на друга — оставался миллиметр,
на линейке было лишнее деленье,
и всё время ошибался геометр.

А меж тем клубилось время и густело,
и потом, когда пора её пришла,
собралась из ничего и улетела
побирушкой, богачкою — душа.

* * *

Моя милая вольная птица,
прежде чем целоваться при всех,
надо б как-нибудь договориться,
это будет любовь или грех?
Всё равно, кто правей, кто левее
и за кем — всё равно — перевес:
надо б выяснить, благословенья
иль прощенья просить у небес?

Мне-то — что? Я давно уже знаю,
как ответить на Страшном суде:
я вставал под зелёное знамя,
я молился зелёной звезде.
Это Вам, моя вольная птица,
наказанием звать благодать,
сомневаться, стыдиться, молиться,
улетать — и опять прилетать.

* * *

Две бури встретились в окне
и погибают в поединке.
А мы весь вечер варим льдинки
с тобой на медленном огне.
Зачем? Затем, что жизнь мала,
затем, что непонятно небо,
затем, что разные дела
вокруг топорщатся нелепо,

и в ступке плещется вода,
и вечно бьёт баклуши время,
и — за бирюльками старея —
всё спорят счастье и беда,
 что тут нарочно — что всерьёз,
 что даром — что имеет цену,
 и где тут блеск напрасных слёз,
 а где — иголки в стоге сена...

И может ли пустяк в парче
и золоте ещё увлечь Вас,
когда малюсенькая вечность
на Вашем плачется плече?

* * *

В захламленном прошлом... а впрочем, мы выбросим хлам:
посмотрим на небо — всё ближе оно, всё родней.
И, если ты хочешь, я выстрою маленький храм
на месте надежды, безвидной надежды моей.
Я выстрою храм — что-то вроде кормушки для птиц:
верёвочка, значит, дощечка... и весь разговор —
затем, чтоб однажды нам было с тобой где спастись
от всякой напасти, от всякого взгляда в упор.
На месте надежды, безвидной надежды моей —
наверно, последней надежды на этой земле —
я выстрою маленький храм на рабочем столе:
над сумраком всех моих грозных бумажных морей.
Я выстрою храм — ты узнаешь его без труда:
у самого синего моря, над бездною вод —
и, может быть, будешь сюда прилетать иногда
сушить свои крылышки после больших непогод.

* * *

Меня преследует звонок —
Ваш: ниоткуда возникая
то в тонком, с ложечкой, стакане,
то рельс трамвайных поперёк,
то разрывается стеклом
почти над самой головою,
то — музыкой полуживою
в каком-то доме нежилом.

Меня преследует звонок,
беспечную своей стрелою
разящий всё напропалую
вокруг меня и между строк,
и держит ироничный рок
меня на золотистой нити
и говорит: «Пляши, дурак!» —
и я пляшу, да всё не впрок:
Вы никогда не позвоните.

* * *

Как хочешь — так и буду говорить:
мне всё равно, каким далёким словом
пройтись по легкомысленным основам
неуловимейшего бытия!
А правда — не твоя и не моя,
она ничья, и влюблена в свободу,
и тянет через небо за собою
прямой и бесконечно светлый след.

Не знаю, объясню я или нет
тебе, что имена всегда излишни,
что светлый след — всё выше он и выше:
закинешь голову — бросает в шат,
что нам с тобою не принадлежат
ни улица, ни дом, ни день недели,
ни самые безумные идеи,
ни самые беспечные слова.

* * *

Сочтя непогоду за благо —
вот повод остаться вдвоём! —
гуляет ночная собака
с хозяином, богом своим,
и в снежной колючей шипучке
она, огибаючи лёд,
на цыпочках и на цепочке
хозяина рядом ведёт.

Нисколько мы не замерзаем —
нам, дескать, и так ничего,
мой лучший на свете хозяин,
заснеженное божество!
Нисколько мы не одиноки:
меж нами струна поводка —
а что ещё нужно собаке,
тем паче что жизнь коротка?

Но тут ты внезапно зашторишь
окно — и исчезнешь из глаз:
ах, шторы годятся на то лишь,
чтоб вечно обманывать нас —
лишаючи всякого знака
невидимого бытия!
И только вздыхает собака,
ночная собака твоя.

* * *

Далёкий путь у мыслей горьких
и много времени и сил.
Вот страшный год на двух восьмёрках
откуда-то приколесил.
Две вечности... куда как много!
Четыре ровные петли:
два чёрта, стало быть, два Бога
и по два — неба и земли.

А выбрать не из чего... где там!
Да как-то я и не готов:
управиться б с минувшим летом,
с букетом высохших цветов,
с четверостишьем — невесёлым
и ускользающим, как дым...
С одним невысказанным словом.
С воспоминанием одним.

* * *

Что-то с неба упало и снова взлетело
с зеленеющей веточкой наперевес —
ничего, это просто заблудшая тема
старой веры в далёкую милость небес:
привиденья — они мастера возвращаться,
рукавами махать да вздыхать невпопад!
К месту древних огней пробирается счастье
и на месте огней застаёт снегопад.
А вон там — ошибаясь и путая адрес —
из совсем уж неведомых времён Никогда
по задворкам крадёт Прости-моя-радость,
и пылает над нею чужая звезда.
В переулках гуляют весёлые страсти,
перепутав навеки, где «я», где «не я»,
и теряется небо в огромном пространстве
одного бытия.

* * *

Зима похожа из окна
на Брейгеля: там так же тесно —
там на кусочке полотна
Большое разместилося Детство.

Оно катается с горы
и застывает на морозе
среди размашистой игры
в какой-нибудь прекрасной позе.

И замирают на снегу,
веками не перемещаясь,
то на лету, то на бегу —
Проделка, Выдумка и Шалость.

А мне до них — как до звезды
или до Вашего привета:
не помню, сколько вёрст езды,
но помню, что четыре века.

* * *

А вот вам грёза — или стрекоза
прозрачная, как подобает грёзам
и, может быть, как подобает музам.
Так, значит, стрекоза. Или слеза.
Всё, что прозрачно, выстроилось в ряд,
пусть и не слишком стройный, но достойный
и осенённый беззаботной тайной:
жаль будет, если так-не-говорят.

Но так не говорят, а говорят
совсем иначе: это-то и грустно —
и в том, как говорят, нет ни искусства,
ни правды, ни любви, а только яд
обыденности...
Кто из нас убит —
пусть выйдет вон и не мешает прочим,
которым больше заниматься нечем,
в подруги брать стрекоз или сильфид.

* * *

Воробьшком или Гаврошем
порхает сердце по весне:
вон чистый дым над нашим прошлым —
из всех садов по всей стране.
И свежей веткой жизнь другая
уже кивает нам сквозь дым —
и мы спешим, мосты сжигая,
расправиться с пережитым.

Какая глупая расправа!
В чём виноваты пред тобой
уже давно сухие травы,
шуршащие наперебой?
Зачем с былыми временами
ты так немислимо суров,
что на одно воспоминанье
изводишь столько вот костров?

Но день грядущий бьёт крылами,
ловя тебя на шум и свет,
и ты всё раздуваешь пламя,
и чистый дым летит вослед.

ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ О ВАРШАВЕ

Mamy tylko jedną Warszawę...

1

Пан предлагает приправы,
пан извиняется охотно
за облака над Варшавой,
за плохую варшавскую погоду,
за обветшавшее барокко,
за облетевшие деревья,
за суетливую мороку
листьев в пустынной галерее...
Как будто морока листьев,
лето, улетевшее рано,
и вообще всё на свете — зависит
от этого любезного пана!

2

Как воздушный поцелуй на лету
восемнадцатое это столетье!
Обращаюсь ко второму лицу
через церемонное третье —
экий польский, экий птичий язык,
экий щебет из далёкой дубравы!

Он, мне кажется, однажды возник
наподобье небольшой переправы —
как такой один старинный мосток:
вот и мы на нём чуть-чуть постояли...
Поболтали б, да обычай тут строг:
заставляет соблюдать расстоянье —
скажешь «prosz ę do herbaty», а ответ,
разумеется, последует птичий...
Польский неземной этикет,
соблюденье заоблачных приличий.

3

Узкая варшавская галерея —
тесное пространство в колоннах,
бедная варшавская лотерея
в жёлтых тонах и зелёных!
Плесень старины на латуни,
мох на обветшалых банкнотах...
Надо поклониться «Фортуне»
за немислимое множество злотых!

Существуют медь или паста —
начищать до блеска монеты,
но, бедное варшавское паньство,
у тебя сплошные банкноты...
Панове коммерсанты, у вас я
перенял вашу старинную моду —
с Богом на углу торговаться
на предмет хорошей погоды.

Меж тучных ламп и костёлов тощих
есть Рупек Główny, где всё в порядке:
один шарманщик, один извозчик,
одна шарманка, одна лошадка...

Вам, пани Польша, не нужно больше:
всего, что мило, бывает мало.
А ты, извозчик, тогда изволь же
везти туда... да куда попало!

А ты, шарманщик, тогда изволь же
играть о том... да о чём угодно:
для пани Ночи, для пани Польши,
для пани Очень Плохой Погоды.

А я для пани Каквашеимя
пишу слова на стене шершавой,
что всё на свете неповторимо —
как жизнь, как смерть или как Варшава.

* * *

Упустим из виду пустяк
и вдруг решим, что в наших бедах
жизнь улыбнётся, скажем так, —
глядишь, а улыбнулась эдак.

Улыбок множество у ней —
пустых, коварных и неверных,
и множество ночных огней,
огней дневных, огней вечерних.

Хоть душу грей, хоть память грей —
не отогреешь: холод, лёдник.
Прикуривай от фонарей,
от иллюзорных, от последних.

Но Ваше Вашество Пустяк
махнёт флажком из близкой дали —
и жизнь вдруг улыбнётся так,
как мы совсем уже не ждали.

* * *

За колючим за боржомом —
ветру зимнему под стать —
скучно в городе тяжёлом
злое время коротать.

А за островом Кукуем
есть кафе, где жизнь как дым.
Хочешь, сядем потолкуем —
хочешь, просто посидим.

И возьмём по чашке кофе
да по рюмочке вина,
чтоб не думать об эпохе
то ли смерти, то ли сна.

Вспомним что-нибудь другое —
утренний, к примеру, лес
и за облаком погоню
через лес наперерез,

или как узор на ткани
просиял — и был таков,
или кроткое мельканье
узких серых башмачков...

Музыкант тут музыканист,
денег некуда девать...
Слава Богу, что покамест
есть о чём не забывать!

* * *

Говорили: давайте запомним, а нет — так забудем!
Хорошо говорили: забыть всё равно что запомнить.
И поэтому, может быть, наше «спасибо за подвиг»
так же просто и мило звучит, как «спасибо за пудинг».

Всё равно и светло... и пока, моя жизнь, мы с тобою,
всё равно от чего отказаться и с чем согласиться, —

и неважно, что строишь ты мне или я тебе строю:
это храм у нас будет с тобой или будет темница.

Сколько нужно грехов, чтобы их положить в основание
лучезарнейшей святости — столько я даже не знаю.
Обойдёмся не этими — значит, другими словами,
начертаем на знамени... впрочем, оставим и знамя:

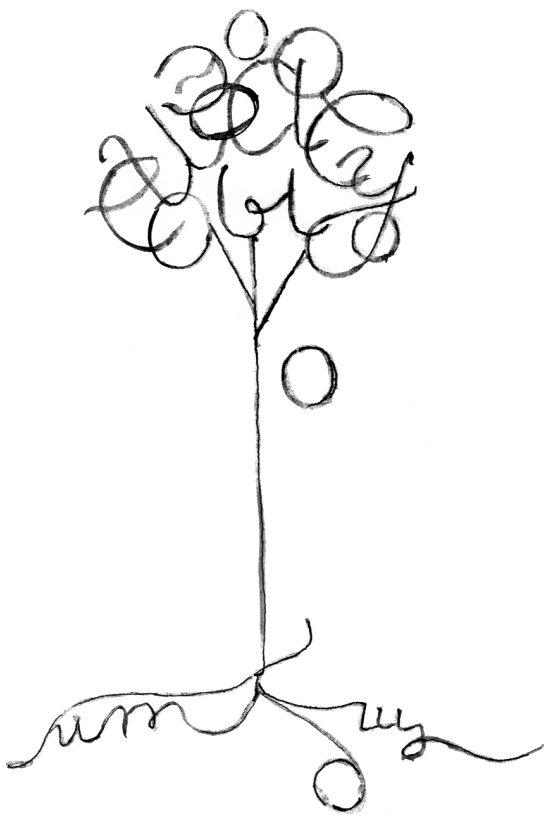
всё равно не для нас гроыхает, шумит и клокочет
эта площадь бескровных страстей и кровавых видений!
Я иду за тобой, на застенчивый твой колокольчик,
как весёлый маньяк за хрустальной своею идеей.

* * *

На бестолковой распродаже,
где золото идёт как лом,
давай-ка от греха подальше,
сцепившись пальцами, уйдём.
Оставим скорби и восторги
и призрачную благодать:
увы, на этом бурном торге
нам вовсе нечего продать.

Строка из Нового Завета
вспорхнёт и сядет на чело:
сказать беспечно, что всё это
не стоит ровно ничего, —

веди ж нас, нежный бог Багульник,
под твой сиреневый салют
от мест, где всё ещё торгуют,
к местам, где вот уже поют.



СОБЕРИ СВОИ СТИХИ

1991–1992

* * *

Собери свои стихи
по бульварам по осенним,
по песочницам по детским,
по задворкам по сырм.
Собери свои стихи —
что ж ты, друг мой, так рассеян?
Не бросай их где придётся:
мы не знаем, что творим.

Собери их по домам,
где ты был когда-то гостем —
поздним гостем Ренессанса, —
собери их по домам.
Собери их по домам —
там их и найдёшь, где бросил:
к ним никто не прикасался —
их никто не понимал.

Ей-же-ей, давно пора
начинать пустые сборы
в честь последнего веселья,
в честь поездки никуда.
Вот и кончилась игра.
Сделай так, чтоб скоро-скоро
от стихов твоих на свете
не осталось и следа.

Потому что их удел
состоял, признаться, в том лишь,
чтобы на тебя взглянуло
маленькое божество.

И — отворотясь от дел
(очень важных, если помнишь) —
на тебя *уже* взглянуло
маленькое божество.

Д В Е С Т А Р Ы Е В И Р Ш И

1

По синему ельнику заяка бежит,
королевич маленький в люльке лежит,
у него по пташечке в каждой руке,
говорящих мысли на его языке:

Небо над тобою, говорят, роково:
не ходи за облаци, там нет никого. —
Кочет вон на тереме не хочет в полёт,
Бог сидит на дереве и плюшку жуёт.

Всё-то тут устроено на диво умно:
на лужайке ангелы ткут полотно,
рыбаки над речкой зажигают свечу,
в речке столько нечисти — бери не хочю!

Всё-то тебе дадено — и дадено тут:
тут тебе и родина, и вечный приют,
пчёлы золотые роятся у сот,
Богоматерь ягоды в подоле несёт.

2

Пути шёлковые по лугам пролегали —
Цветы маковые взошли над лугами,
Ибо нету на свете ни места пустого,
Ни пустого слова.

И что было с земли снесено — воротится:
принесёт тебе в клюве незнакомая птица
хочешь — пух лебединый,
хочешь — город родимый.

А заплачешь — не плачь: там, где рана кипела,
будет жёлтый цветок чистотела,
где дымилась чёрная яма —
будет луковка храма.

Не найдёшь, что ищешь, — найдёшь, что найдётся:
погляди-ка, вот оно — твоё детство:
где сафьяновые башмачки топотали —
небо кружевом золотым залатали.

2006

* * *

Никаких черновиков,
никаких чистовиков —
песню спел, и губы вытер,
и умчался, словно ветер,
и на этом был таков!

Что успел, то и успел,
сколько спелось — столько спел.
Время спелою черешней
в кузовке несёт Всевышний
в свой серебряный придел.
Он трудился, не присев,
он сегодня без часов —
и, вздохнув над светлой нишей,
запирает день минувший
на серебряный засов.

Уплывает в облака
лёгкий образ кузовка:
он теперь уже вчерашен —
только свежий вкус черешен
ощущается пока.

2005

* * *

...но беспокоит — непонятно что:
вино ль Ронсара, облако ли Данте,
Тартини ли смиренное анданте...
не обращай внимания, пройдёт!
Куда ни то приткнётся, замолчит
и, может быть, умрёт, как умирали
и умерли — да вот хоть ригурнели:
ах, друг ты мой, в нас мало что живёт!

Тем паче — эти древности: музей
давно закрыт и переделан в лавку,
бирюльки переданы в переплавку
и в перековку — лишь бы с глаз долой —
иметь неловко было, не иметь
обидно... а показывать знакомым
совсем уже смешно: тяжёлым геммам
не выдержать короткого суда
истории... зачем ходить сюда?
Тут всё всерьёз, тут слёзы льют, тут сыро,
тут слишком много смысла, хлама, сора,
тут, в сущности, один большой чулан.
...но шёлковую розу из руин
достань: она пережила Помпею —
и я на лепестках её успею
оставить терпеливую строку —
о чём у нас тут пишут на шелку?

2005

А Р Т Ю Р Р Е М Б О

Ткани возить и кожи
на обветшалом ослике —
всё что угодно, Боже,
всё что захочешь, Господи:
чтоб износились мысли,
звёзды чтоб обессилели
и небеса провисли,
только не Абиссиния!

Стайка весёлых денег
выпорхнула из памяти.
Случай сказал: «Бездельник,
больше не заарканите!»
И проплыла Удача
сеткою с апельсинами.
Что б ни случилось дальше,
только б не Абиссиния!

Бедность стреляет метко —
прямо по окнам с улицы.
Плакать не надо, детка,
всё ещё образуется,
станет вином и благом
и тишиной осеннею
под сумасшедшим флагом
только не Абиссинии!

* * *

А вот этого мне не закончить:
всё тут как-то уже подзабыто —
и какой мне гремел колокольчик
в те далёкие времена,
я уже не скажу — хоть убейте,
потому что из списка событий
тех — не помню, а помню лишь эти,
за которыми — тишина.

Безошибочный вёл меня почерк
безошибочно точной дорогой
мимо всех запятых, мимо точек,
двоеточий и прочих дел —
и звенел колокольчик бесстрашный,
и упрявился месяц двурогий,
и над полем, над лесом, над башней
я летел себе как хотел!

Тут, пожалуй, нужна уже правка,
то есть очень большая работа —
с ней начнётся большая неправда
или маленькая, но ложь —
и закончится так-то и так-то —
и останутся, скажем, две ноты
от всего, что тут было... два такта —
и потом ты их уберёшь.

* * *

У тебя такая рифма,
у меня другая рифма —
кто же в этом виноват?
У тебя такая правда,
у меня другая правда —
есть ли повод враждовать?

Дубу ли судиться с клёном,
золотому ли с зелёным,
воробью ли с соловьём?

У тебя пятнадцать бусин,
у меня пятнадцать басен —
не грусти, переживём!

Друг мой, враг мой распрекрасный,
эти бусины и басни
для какой корысти нам?
Разойдёмся, Бога ради,
я пешком, а ты в карете —
да по разным сторонам!

Мне любовь, тебе коварство,
мне мытарство, тебе царство,
здравствуй там же, где прощай:
ты помашешь мне косынкой,
я тебе — плаща изнанкой,
вот и вся печаль.

* * *

Свистит любви смертельной плеть,
летит ночной трамвай.
Но, если ты танцуешь петь,
душа моя, — давай!

Весь мир тебе зелёный луг,
что ни сарай, то рай,
ты сердце выпустишь из рук
с беспечным «умирай».

Но, если ты забудешь знать,
о чём танцуешь петь,
и с небом спутаешь тетрадь,
истёртую на треть, —

тогда... в последний раз пляши:
тираж пошёл под нож! —
тогда все пляски хороши
и пляски смерти тож.

* * *

Не знаю, что сказать, и как сказать — не знаю,
и ничего не говорю — и ни о чём.
И только бабочка, беспечная, шальная,
крылом тщедушным сокрушает грузный чёлн.

Но это глупости и не об этом речь —
а речь о том, что смысла нет ни в чём на свете,
вот разве в музыке... но в музыке — бессмертье,
а смысла нет — и, значит, нечего извлечь!

Во-о-он на далёком чердаке, среди звёзд окрестных,
живёт творец — он всем известен и мастит..
Но смысла нету и в его делах прекрасных —
есть смысл в бабочке, но бабочка — летит.

БАЛ

*...чёрный с белым не берите,
да и нет не говорите –
Вы поедете на бал?*

В нас, конечно же, запал не пропал,
мы, конечно же, поедем на бал,
потому что на балу, на балу
все танцуют на паркетном полу!
Потому что на балу все милы,
потому что ведь на то и балы,
чтобы дамы все и все господа
отвечали без конца: дзынь и бум!

Дескать, ангел мой, когда же, когда
я услышу долгожданное дзынь?
– Ах, мне лучше бы сгореть со стыда,
но примите хоть сейчас моё дзынь!
Дескать, Вы мне не дадите совет?
– Разумеется, голубчик мой, бум!
Не погибнуть ли во цвете мне лет?
– Что за глупости... конечно же, бум!

На балу, куда ни глянь и ни плюнь,
генералы зелены словно лунь,
и при дамах – вот весёлая роль! –
негритята голубы точно смоль.
А снаружи розоватая ночь
сыпет в окна рыжий снег во всю мочь:
там у них, на сером свете, давно
небо жёлтое, как уголь, красно!

...ах как пенилась с сиропом вода,
ах как барыня была молода,
и какой был дорогой туалет!
И как просто было всё — дзынь да бум...

2004

* * *

Опять собирать по кускам всё, что было так цело,
и так невредимо стояло, так не разрушалось,
и так презирало стихии — случайность и шалость,
и так ничего не боялось — блестело и пело!

Что ж, ветер подул... а едва только ветер подует,
как всё в нашей жизни давай и давай осыпаться —
и тянут полнеба к себе побелевшие пальцы:
раз ветер подул, так планета вся как на ходулях!

Глаза ненадёжны — и смотрят всё мимо и мимо,
а с губ уже, кажется, больше не Ваших — ничейных —
весь день осыпаются вздохи, и, как на качелях,
качается дом наш на ниточке серого дыма.

Я мог бы поправить и дверь, улетевшую с петель,
и угол улыбки — сместившейся, кажется, влево, —
и всю нашу жизнь, дорогая моя королева...
да только не знаю, откуда подул этот ветер.

* * *

Давай встречаться за столом —
давай встречаться за углом
весёлой жизни: там темно,
там все равны, там всё равно
двум кофе, прóлитым на стол
в одном беспамятстве пустом.

Давай встречаться за бортом
судьбы игривой — с полным ртом
улыбок, сладостей, вина,
пока беспечная волна
несёт нас не пойми куда:
смотри, залив! смотри, звезда!

Давай встречаться за чертой,
за лентой света золотой,
за абсолютным рубежом —
где мир в обличии чужом,
стуча со злостью о корму,
уже не дорог никому!

* * *

Здесь, где никто меня не любит,
мне надо думать о другом,
оставив этот детский лепет!
Я поперхнулся пирогом —
и надо выйти за порог,
чтоб как-то выдохнуть пирог.

Я дикий гость, я гость неловкий,
я прихожусь не к пирогу,
не к месту, не к посудной лавке
и вообще — не к очагу:
полвзгляда брошу на очаг —
и тотчас же очаг зачах.

Зажечь ночную сигарету
во славу первого снежка,
сказать карету-мне-карету,
после чего сказать «пока»,
покой покинув впопыхах, —
и заблудиться в трёх строках.

* * *

Но как я узнаю — по скрипу какой из дверей,
по свету какой из планет о событиях бесценной —
бесценнейшей! — жизни, забывчивой жизни твоей,
среди целой вселенной... ах, немногословной вселенной!

Все двери молчат, все планеты молчат, и молчит
мой глухонемой телефон, мой тиран безязыкий:
меня отключили от мира, поставивши щит
меж мной и моею, хоть и не моею музыкой.

Ни веткой никто не махнёт, ни ночным фонарём,
ни тёмным крылом, ни мафория сумрачным краем,
ни даже хотя б шаловливым одним топором
над этой пустой головой (дескать, что ж... умираем!).

Хотя мы гнезда, так сказать, всё равно не совьём,
а стало быть, что ж... приставать бесполезно и глупо
к забывчивой жизни — задумавшейся о своём
над книжкой, над решкой монеты, над ложкою супа.

* * *

Цвет и запах померанца,
отголоски вечных тем,
лёгкий шелест жизни райской...

Тихий ангел пролетел.

Словом, звуки иногда лишь
так чтоб вовсе не слышны —
разве только ты подаришь
мне полслова тишины:

мы о ней почти забыли
за весной, за суетой —
горстку просто лёгкой пыли,
лёгкой пыли золотой!

Это кто ж с высот низвергся,
нам уста позолотив, —
мотылёк ли бессловесный,
бессловесный ли мотив?

* * *

Ну, поехали с Богом, поехали,
полетели за первым снежком
над событиями над островерхими,
где история ходит пешком —
и, конечно, не делает записей:
не забудем авось этих дат! —
и, уж в сторону если глаза кося,
то почти что не глядя назад!

На весёлых заоблачных саночках —
не касаючись нижних миров,
ничего вообще не касаючись,
позабывши отеческий кров,
полетим в направлении полюса:
в пустоту, в никуда, в молоко —
мы потом-то, должно быть, опомнимся...
да уж будем совсем далеко!

* * *

Довольно, мысль, тебе скитаться:
средневекового китайца
глазами — мир не так широк,
средневекового китайца
глазами — негде заплутаться
среди петляющих дорог!

Есть в узелке немного неба
немного розового — либо

немного рисовой муки.
А мир — он здесь, с тобой, и ближе:
на блюдечке огромной лужи
и в водах маленькой реки.

И всё, что ищем мы в тумане,
давно лежит у нас в кармане
среди повседневных пустяков:
ключей от брошенного дома,
записки от случайной дамы
да пары свежих облаков.

**ПО МОТИВАМ
ВЛАДИМИРА ГЕЙДОРА**

Б л у д н ы й с ы н

Штрих отвесный летит, покидая
эту землю, со скоростью камня.
Я туда пропадаю, куда я
уже падал когда-то, не помню, —
и полёт мой, невзрачное чудо,
был отвергнут моим небосводом:
ибо все мы, кто родом оттуда,
не оттуда, наверное, родом!

Ночь такая ещё молодая,
что и тени, и страхи ей чужды.
Я туда припадаю, куда я
припадал — и уже не однажды:
к монолитности каменной кладки,
к мимолётности знобкого стука —
я на ощупь узнал эти складки,
под которыми только разлука.

Ах, отец, не позволяй же мне мимо
пронести безутешную ношу:
я не знаю по памяти имя,
но я знаю по имени душу —
эту душу зовут До Свиданья,
по которой скорблю и стенаю
и которая стала — стеною
на пути моего упаданья.

Титаны и боги

Достаточно нескольких птиц, что с ладони кормилось,
и — самое большое! — пары внимательных звёзд,
чтоб стали понятными меры: вот вес, а вот рост...
Зачем Вам титаны и боги, скажите на милость?
У них свои старые счёты — и между собой
они разберутся, не стоит за них волноваться:
идут они в бой небольшою своею гурьбой,
ни нашего свиста не слыша, ни наших оваций.

Ни глаз Вам не хватит, ни дней Вам не хватит, ни лет:
там бездна — не остановиться и не отдышаться,
там Вас заморочит неровный прерывистый след
на ровной поверхности полуживого ландшафта...
Чем занята Ваша, смешной человек, голова!
Живите себе беззаботно, платите налоги...
А Вы над столом подымаете два рукава —
и сыпятся прямо в тарелки титаны и боги.

Ветка ивовая

Ты гитара моя,
ты совсем не моя,
ты гитара ночная,
шагреновая —
не заметили, как
в далеких далеках
ночь звенела, минуты разменивая.

Был похож гитарист
на дрозда, и, как дрозд,
обрывал гитарист
звуков спелую гроздь —
вот и ночь пронеслась,
вот и жизнь пронеслась,
ничего, Ваша Честь,
наш Серебряный Князь,

Ничего, Ваша Честь,
ничего, Ваша грусть:
если жизнь только часть
жития, значит, пусть
с этих лет, с этих пор
нам поёт Гамаюн
под сухой перебор
Ваших шёлковых струн.

И гитара ночная, шагреневая,
повторяет, немного мигреневая,
аккуратненько так выговаривая:
вет-ка и-во-ва-я, вет-ка и-во-ва-я...

* * *

От ёлочных игрушек прежних лет
осталось только хрупкое сиянье —
сухой снежинки золотой балет,
да колокольца пляс перед санями,
да вот хлопושка со... со всё-равно,
с неважно-чем, поскольку это было
так рано, так беспмятно давно!
К тому же всё смешалось после бала.

Теперь, моя внезапная любовь,
украсим ёлку новыми словами —
тяжёлыми: уж тут не до забав,
когда мы всем на свете рисковали,

схватив друг друга за сердце врасплох, —
но мы сейчас забудем всё, что знали,
и на земле опять родится Бог,
и пожалеет нас, и будет с нами.

* * *

С невесёлой белой башней,
с неприкаянной душой —
что, кораблик мой бумажный,
как плывётся, хорошо ль?

Или — как: к туманным странам
плыть за тридевять земель
океаном окаянным,
грозной лужицей твоей?

Бог с ней — плачьте ли, не плачьте —
с жизнью, как-то прожитой!
Ничего, что мы без мачты —
хоть без мачты, да с мечтой.

Выбирай себе любую
из игрушек бытия.
Но оставь в покое бурю:
это буря не твоя.

* * *

И что с того, что легкокрыло
над нами бабочка вилась,
раз будет только то, что было, —
эх, раз, да раз, да много раз!
Я вспоминаю слово «страсть»
и ужасаюсь, вспоминая:
какая музыка шальная,
а как легко оборвалась!

Но то, как двое-под-зонтом...
но то, как двое-утром-рано —
об этом я совсем не стану,
хоть, может быть, скажу о том...
а впрочем, не теперь, потом!
Ещё не все круги замкнулись,
ещё не все названья улиц
я знаю в городе пустом:
ещё мне внове тот изгиб
и эти деревца кривые —
и, оттого что я погиб,
ещё мне горько, как впервые.

* * *

Мой Друг Противоречия, давай
смотреть на жизнь немножко розовее!
Я помню, как, над колыбелью вея,
ты предложил мне в руки взять январь, —

и вышло так, что с этих самых пор
я, обжигая холодом ладони,
хватался за несчастья, за юдоли,
за блёстки мира, за пустынный сор,
за никому не нужные слова
из сновидений и ночей бессонных —
и Спарта, кажется, была жива,
и у неё за пазухой лисёнок.

Что́, Дух Противоречия, что́, друг,
как больно жгло нас то, что мы любили!
И мирозданье выпало из рук —
горячим уголёчком звёздной пыли.

* * *

Золотая колесница,
дорогая, — колеси!
Всё ещё успеет сбыться,
а не сбыться — так разбиться
всё успеет на куски.

Время щедро... — время тщетно
одаряет, господа!
Потому и жизнь волшебна,
что хотя бы горстка щебня
нам обещана всегда.

Оттого-то мы украдкой
каплю-две смахнем со щёк
над одною книгой краткой,
где топорщится закладкой
полувысохший цветок.

* * *

Всё это нам нашёптывала жизнь,
ходившая повсюду вместе с нами,
влачившая своё за нами знамя
по площадям и улицам чужим.

Всё — с голоса её, и ничего
не сказано по нашей доброй воле:
ей нравилось шуршать сухой листвою,
собакою скульпить сторожевой,
ей нравилось так плакать, так молить —
за что прощенья, у кого прощенья? —
и в тщетный шелест шарфа кутать шею,
и палочкой стучать, как инвалид, —
ей нравилось! А нам с тобой... а нас
она учила — из доверья к детству —
передавать не слишком близко к тексту
обрывки чудных и бессвязных фраз.

* * *

И не вспомнишь уже, что за образ —
так бесплотен, так сух, так далёк!
Вы теперь про какую подробность?
Жизнь беспамятна, как мотылёк.
Всё мечты у неё, всё надежды,
всё ступанья на тоненький лёд:
видишь, новую шляпку надевши,
жизнь себя уже не узнаёт —
сновидения только и копит...
Ан — из ветхой котомки опять
спелым яблочком выскользнет опыт,
да теперь уж его не догнать.
И, когда уже поздно учиться
и учить, — по бессонным глазам
вдруг плеснёт, беспощадно и чисто,
осязаемый зреньем сезам.

* * *

Опять мирить и снова разнимать
со счастьем беду и с горем радость —
всё то, что мне навязывает март,
со всем, что мне навязывает август!
Кому со мною нравится играть
в игру — такую милую и злую?
Я плащик распахну: вперёд, мой грач,
вперёд, мой плач — лети, прощай, целую!

И пусть меня теперь бросает в жар —
бросает в жанр... какой? — допустим, фарса:
я буду весел, потому что спасся,
а тем, кто спасся, — ничего не жаль:
они глядят уже с таких вершин,
с которых всё смешно напропалую.
Я плащик распахну: на волю, жизнь, —
будь счастлива, лети, прощай, целую!

* * *

Шёл ноябрь, ночь вторая,
и рябины гроздь —
дорогая, догорая,
говорила: «Пусть,
ничего, забудем, бросим,
посмотри, какая осень,
и как тесно красным гроздьям,
и какая грусть!»

Но одна из шумной стаи
тонкая стрела
золотая, залетая
в сердце, пела так:
«Будь смелей на поле боя —
и останутся с тобою
твоё небо голубое
и зелёный стяг!»

Дорогая — догорая,
золотая — залетая...
я не знал, кого мне слушать,
и не слушал их —
я всю ночь мурлыкал вальсы,
танцевал и целовался,
и всю ночь мне удавался
самый лучший стих.

* * *

Ваша правда, это всё одно и то же:
циркуль крутит, циркуль крутит фуэте,
только истина — всё проще, всё моложе
в рыхлой сутолоке суток, в суете.
Поцелуй... или нет — рукопожатья,
поздравленья с наступающей весной,
только истина — ей не за что держаться —
не братается ни с вами, ни со мной.
И, пока снега и шубы ветер треплет
и дудит в свою бездонную трубу,
что же — истина? Спасётся в детский лепет,
в штандр-стоп какой-нибудь, в али-бабу...
А однажды вдруг в античной галерее
встретит нас ударом красного мяча,
рассмеётся: «До чего ж Вы постарели!» —
и — вперёд по галерее, хохоча.

* * *

Чтобы мы с тобой не сгнули
в тяжком облаке абсурда,
ты на добром старом зингере
увези меня отсюда —
непрерывной ровной строчкою
по петляющему миру
за какую-нибудь птичкою...
сохрани нас и помилуй!

Было время, жили крохами
мы надежды безотчётной —
ехали, да не уехали
на машинке на печатной,
на беспечной нашей эрике
и на грозном роботроне...
На чужом споткнулись береге
да на общем небосклоне.

Ты крути свое колёсико,
жми на все свои педали —
выйдет маленькая песенка
о прекрасной нашей доле,
и забрезжит нам Италия
или, скажем, Гантиади —
развесёлое катание
по одной штормящей глади!

* * *

Вгляни-ка вот, какая тишь да гладь
да Божья благодать: петля на горле,
да плаха свежая, да многое другое —
Вы знаете, о чём я... И опять
всё тишь да гладь да Божья благодать.

В жизнь камешком швырнёшь — счастливый плеск,
за ним — счастливый блеск, но вот что странно:
жизнь тотчас затянулась, словно рана,
вгляни-ка вот, как быстро след исчез —
и не понять, о чём был плеск и блеск!

И может быть, теперь там вырос лес,
построен храм — на месте воли бывшей,
и птица поселяется под крышей
и в клюве прут несёт наперевес.
Но нет, скорей всего там вырос лес.

От этого легко сойти с ума —
принять весь мир и тут же опровергнуть...
Но жизни помутневшую поверхность
уже шлифуют: жёстким ворсом — тьма
и мягкой белой ветошью — зима.

* * *

Как тогда, как уже никогда —
в детстве, в спальне, да в свежей пижаме! —
поиграем-ка мы в города,
побренчим именами чужими:

помнишь, бусинки в глупых руках —
знай нанизывай, значит, на нитку
да играй на своих облаках,
украшаячи крошку-планетку!

Там, конечно, вдали перевал,
только как туда — не на трамвае ж...
Ах, нигде ты ещё не бывал,
ах, везде ты ещё побываешь:
вот запрыгает бусинка прочь
звонкой косточкой от чернослива —
и потянется ниточка-речь,
и закружит бездомное слово...

А присматривавший за тобой
половинку раскрошит ковриги,
и накормит своих голубей,
и пойдёт побродить по округе.
А в следах у него — города,
а в следах у него — надежды.
И в слезах у него борода,
и в слезах у него одежды.

2003

* * *

Всё это старые дела...
Я жил, бессмертия стяжая.
Мало того что жизнь прошла,
она ещё была чужая.

Но я легко смотрю ей вслед...
А этим вот забытым строкам,
пожалуй, уж сто лет в обед —
поздравим-ка их с этим сроком!

Они достаточно лихи,
дружны с хореем и бореєм
и чуть скучны, как все стихи.
О, как же быстро мы стареем!

Смотри, какая чепуха:
полдня назад мы были дети —
полдня прошло как полстиха,
и к вечеру нас нет на свете.

А в механизме часовом
сбой так и не был обнаружен...
Но — торжество за торжеством:
сто лет в обед и двести — в ужин.

* * *

Между тем летала тема,
как умела и хотела, —
и гулял в ней ветер!
Между кухнею и спальней,
молотом и наковальней,
между тем и этим...

И светился промежуток
меж ладоней — прежде сжатых,
но теперь раскрытых
(ибо в них — такая жалость! —
ничего не удержалось,
никаких секретов).

В промежутке пели птицы
и пыталось разместиться
небо с облаками,
и два-три небесных тела
порезвиться прилетело,
стукаясь боками,

и три ангела в лесочке,
танцевали, сняв носочки,
а набив мозоли,
сели на большую ветку,
пошептались для порядку
и потом сказали:

«Мы сидим между ладоней,
посреди твоих владений,
посреди вселенной —
ибо, лишь разжав ладони,
ты удержишь своей доли
вечный шар стеклянный».

2004

* * *

Что-то ещё? Да пожалуй, пустяк:
лето кончается. Всё остальное,
благодарю Вас, не плохо... а так —
так, как обычно бывает со мною:
 не зажигается на ночь звезда
 на небосводе — теперь уже тусклом,
 в чайнике не закипает вода —
 и оттого неполадки с искусством.
Всё ещё нет ни гроша за душой —
есть только чиж... обошлись и не ропщем,
он голосистый и чаще смешной,
но временами хандрит, то есть, в общем,
 всё как всегда: бесконечной строкой
 тянется вечер, дымит сигарета,
 время бубнит не-пора-ль-на-покой —
я бы и рад... да кончается лето.

И Н С Т Р У К Ц И Я

Надо в блюдечко с водой
опустить сперва Ордынку,
чтоб прозрачная картинка
сделалась переводной.
Надо в блюдечко с водой
опустить потом Таганку,
чтоб проснулась спозаранку
золотой и молодой.

Надо в блюдечко с водой
опустить потом Полянку,
чтоб зелёная изнанка
порастала резедой.

И тогда уже травой
от тяжёлой мостовой
вдруг пахнёт, едва лишь выйдешь
в город — как бы и не твой,
и по лёгкой ряби вод
этот город поплывёт
точно так, как город Китеж, —
но совсем наоборот!

* * *

Нет шведов в Шведском тупике,
и кто уж разберёт,
как вышло, что невдалеке
Никитских нет Ворот!

Гуляет древняя земля
в чужих обновках вся —
как в новом платье короля:
смущаясь и форся.

Где голубые небеса
совсем сошли с ума,
там золотые словеса
построили дома.

А если так, тогда не грех
нам встретиться, мой свет,
у Красных у Ворот — у тех,
которых тоже нет.

* * *

Под старинной любви игом
я отправлось себе, хмурясь,
невесёлым ночным снегом,
огоньками слепых улиц —
и в густой тишине странствий
встречу то, чего нет больше —
и, пожалуй, скажу: здравствуй!
И услышу в ответ: Боже...

Всем солдатам — держать стойку,
балеринам — держать стойку:
я не видел тебя столько,
сколько мог, но не мог — столько!

И неслись, словно край к краю
в беспощадном бреду круга,
ад мой — да к твоему раю,
север мой — к твоему югу.

* * *

Ничто не решается, видишь, — на что ни решишь,
и дождь повисает, не падая, над мостовыми.
А вечером сходит с ума наша смиренная жизнь,
уходит из дома и ходит путями кривыми.

Теперь уже всё нипочём ей и всё ни к чему:
она не от мира сего — и ей проще простого
в окрестную тьму оступиться и кануть во тьму,
надвинувши шляпу и не проронивши ни слова.

Бумажным фонариком нежным её помани —
и тотчас готова забыться, готова помчаться,
не помня уже ничего — ни семьи, ни родни,
навстречу несчастью, которое, может быть, счастье.

Уж чем так приманчива скользкая эта стезя,
спроси — она скажет: «Не в этом, голубчик мой, дело».
Что там прозвенело об землю — монетка, слеза...
какая ей разница: что-нибудь да прозвенело!

* * *

Не ярмо, но шарф на шее —
буйный шарф на все века!
Вот лихое превращенье
в черновик чистовика.

Улыбнулась запятая...
Запятая, Вы куда?

Пропадает, золотая,
как падучая звезда.

Слово с вещью не согласно,
да само не без греха!
Всё казалось так прекрасно,
оказалось — чепуха.

Залитый водой овражек
принимать давно привык
два судёнышка бумажных —
черновик и чистовик.

* * *

Дождёмся, чтоб стало немножко теплей,
а чуть только станет теплей —
я флот соберу из моих кораблей,
из белых моих кораблей:
высокие мысли о чём-то таком,
гуляющие вразной,
однажды удастся построить гуськом
и вывести вслед за собой.

Когда-нибудь кончится мёртвый сезон
и высохнет влажный газон —
и в том, что случается, будет резон,
не правда ли, друг мой Язон?

Да нет, золотого руна чешуя
становится всё тяжелей —
и дни ускользают, как рыбки сна, —
и нет у меня кораблей.

* * *

За мной бумажный плащ Басё
летает неотвязной тенью —
и все мои приобретения
зовут Зачем-Мне-Это-Всё.

А там — весёлый пилигрим
при посохе неумолимо
идёт владеет целым миром
за то, что распростился с ним.

Присев у краешка стола,
я отпускаю на свободу
мои дремучие заботы,
мои гремучие дела.

И улыбается душа —
в преддверии прогулок пеших,
и надо мной уже трепещет
крыло бумажного плаща.

* * *

Тут можно сократить, тут — просто снять.
Я ничего не буду объяснять:
всё это были не мои слова —
так светит солнце, так растёт трава.

И если что не так — я ни при чём:
так распевала птичка над плечом,
так утверждала ветка бузины,
с которой мы давно уже дружны.

А если о душе... то что ж — душа?
Душа, легонько крыльями шурша,
всё время хоть и близко, да не здесь —
и точно знаешь, что была! А есть?

Я знал одну букашку — и она
любила ныть до самого поздна
о том, что счастья в жизни не нашла, —
а тоже ведь летуча... Как душа.

Я ни за что не отвечаю сам,
я переменчив, я Марсель Марсо —
а если что не так и написал,
то измените... нет, забудьте всё.

* * *

Вот и мы нагулялись: присядь
на бессонную снежную гладь,
на бездомную эту скамью
неизвестной земли на краю.
Ненадолго останемся тут,
где отважнейшая из минут,

парой крыльев смешно семена,
норовит улететь от меня...

пусть её! Не удержишь, не тщишь
всех минут этих, цепкая жизнь,
всех рисунков, всех видов письма,
на какие способна зима:
всё равно от тебя ускользнёт
в стрекозиных прожилочках лёд,
и за все за твои за труды
на ладони — лишь капля воды.

* * *

Ах, память, память... за тобой
возок с трофеями — из рая:
кольнула Первая любовь,
задела крыльями — Вторая:
так, значит, живы до сих пор
те небеса, слова и даты —
хоть жизнь себе во весь опор
давно летит ещё куда-то!

А то, случается, стегнёт
совсем уж беспощадной плетью:
я узнаю твой знойный гнёт,
любовь — мучительная, Третья;
или повеет холодком:
любовь Четвёртая — шалунья,
она была ночным цветком
и расцветала в новолунье.

Притом что со стены любой —
напоминая чем-то что-то —
всё смотрит Вечная любовь:
забыл, которая по счёту.

И М Я

А н а с т а с и я

Ты не ходи по траве босая
и не сметай облака рукою,
а погляди-ка, что тут такое:
тут воскресенье, Анастасия.

Мы под суровыми небесами,
вдоволь накушавшись валилода,
помню, не раз уже воскресали,
Анастасия... да не надолго.

Нынче всё будет совсем иначе:
мы уже больше не поддадимся
ни темноте сумасшедшей ночи,
ни золотой тесноте единства.

Все безделушки детского сада
сложим в какую-нибудь шкатулку:
в них всё равно ведь немного толку...
Правда, нам много-то и не надо!

Будем как голуби и как дети —
чистые перья, лёгкие крылья,
райские кущи... дескать, владейте,
дескать, бездонен рог изобилья.

Да не пойдёт наша жизнь на убыль,
в новые пропасти нас бросая, —
или тогда уж опять — погибель
и воскресенье, Анастасия!

Д а р ь я

Вышел на́ берег старый дурень,
у него и молитва — дурья:
смилуйся, государыня Дарья,
не руби мою жизнь под корень!
В ней полно драгоценного скарба:
и стихи, и глупенькие рисунки,
и весёлые железные санки,
и былинка по имени Верба,

и патрон от угасшего фугаса,
и лампадка, покрытая гарью...
Смилуйся, государыня Дарья,
не лишай меня этого богатства,
этого хрупкого порядка,
этой комнатушки с решёткой,
этой моей песенки — шаткой,
как из тростника загородка.

Уходи, не стой у порога,
не ищи последнего слова —
дверь, уже открытая, слева,
мы почти не знаем друг друга...
Помоги жуку-скарабею,
чтоб он, государыня Дарья,
свой проклятый мир покидая,
не сорвался вслед за тобою!

М а р т а

Мысли спутаны и смяты:
камфара, ментол и спирт,
холодок нездешней мяты,
март в саду, и в марте — мирт.
Зелень вечности — и талый
снег, цветочная пыльца...
песни Марты, Марты милой,
песни Марты без конца!

Госпожа моя богиня,
врачевать — тяжёлый труд...
У ангины есть сангина,
а у Марты — изумруд!
Госпожа моя богиня,
Вам ли поправлять постель?
У ангины георгины,
а у Марты — иммортель!

И всего, что есть у Марты,
невозможно описать:
на окне у Марты утро,
под окном у Марты сад,
а в перстах — попеременно —
то источник бытия,
то источник Иппокрены,
то чужая жизнь моя.

В е р о н и к а

Всё хорошо и правильно... однако
ты не умеешь видеть подоплёк —
что знаешь ты о жизни, Вероника,
Verónica, былинка, стебелёк!

Ты ничего не знаешь, Вероника,
ты просто так растёшь себе в миру —
и жизнь свою кольшешь одиноко
среди больших растений на ветру.

В родстве с тобой далёкая звезда лишь,
да и она не помнит про тебя:
что ты своим незнаньем побеждаешь
всю грозность и громоздкость бытия.

Прошу тебя... не знай и, ради Бога,
не знай — опять, и дальше, и смелей,

хоть капельку ещё, ещё немного —
не знай! И ни о чём не сожалей.

Пока у нас есть небеса и солнце,
нам — что... мы однолетняя трава!
А истина гуляет где придётся
и с кем придётся — и она права.

Е л е н а

Елена, ты легка — как лента и как пена,
как песня, в облака запущенная жить,
осенняя строка из музыки Верлена —
ей только бы лететь, ей только бы кружить!

Елена, не жалею о тяжести Вселенной,
Елена, веселей смотри на каждый стих,
Елена... Лорелей по имени Елена
и медленный елей для бедных уст моих!

Что́ зелень прежних лет, что́ зелень школьной парты!
Зачем зелёный цвет опять мне шлёт привет —
в душе растаял след вольнолюбивой Спарты:
Елена, ты со мной, но Спарты больше нет.

Мы... сколько же нам лет? Нелеп нам запах тлена,
но меркнет полотно, все краски хороня, —
и было бы темно, когда бы не — Елена,
не лёгкое пятно в тяжёлых складках дня.

М а р г а р и т а

Привет тебе, жемчужина чужая,
немыслимая нежность океана:
я очень рад Вас видеть, Маргарита,
хоть в наших палестинах это странно.

Мне надо бы держать Вас на ладони
и объясняться с Вами на латыни,
но я легко смущаюсь, Маргарита,
и забываю звуки золотые.

И я стою немножко в отдалении
и говорю бессмысленные вещи,
к примеру: как здоровье, Маргарита?
И мучаюсь, и не умею проще.

И с каждым мигом делаясь всё дальше,
глупею на глазах и молодею —
а Вы так молчаливы, Маргарита,
и блещете, и пахнете водою.

Ю л и я

Чем чертить удачи линию
по ладони, вниз и влево,
Юлия, возьмите лилию
и пребудьте королева.

Чем гадать да думать попусту,
лучше так или иначе

обойтись с судьбою попросту:
что нам дарят, то и наше!

Юлия, возьмите лилию:
нет волшебнее приманки,
чтобы снова стать счастливою —
по-былому, по-романски.

Вам её сегодня срезали
прямо с грядки подмосковной —
да вести Вам род от Цезаря:
род прекрасный, род греховный.

А не так... тогда могу ли я
попросить (и будем квиты!):
лилия, возьмите Юлию
под высокую защиту.

А д а

Всё совсем не так уж плохо:
вот любовь — костёр и плаха,
плаха в пламенных цветах...
Ада, что от нас зависит!
Нас убьют, потом повесят —
и прекрасно, коли так.

Не грусти, малышка Ада,
не грусти, малышка ода:

вытрем слёзы — и не сметь!
Есть отраднейшие темы:
скажем, кто увил цветами
нашу жизнь и нашу смерть?

Кто так весел был, ей-богу,
что украсил розой шпагу,
чей на пепелище сад?
И — всего святого ради! —
не раздумывай об аде:
что такое, Ада, ад?

Будущность необозрима,
Ада смотрит вдаль и мимо —
дескать, как там, в облаках? —
и, обняв колени немо,
улетает прямо в небо,
кистью пледа помахав.

А р и а д н а

Куда как ново и отрадно
держат в руках клубок судьбы!
И все-то мы твои рабы,
царица, вечность, Ариадна.

А город полон нежных тайн,
лукавит свет, и ночь нарядна,
всё бред полночный, Ариадна:
не слушай, мимо пролетай!

Луна туманная громадна
и дымным пламенем горит,
но бред полночный — лабиринт —
распутывает Ариадна

и говорит: не бред, а брод,
не ложь, а блажь!.. И пусть, и ладно:
всё так, как видит Ариадна, —
хоть всё совсем наоборот.

Ведь так, как видит Ариадна,
никто не видит — и до дна
вся жизнь прозрачна и ясна,
и неоглядна, неоглядна.

М а р и я

Летучей новостью, случайным разговором
подхвачен день и унесён, как лёгкий чёлн.
Взгляни, Мария, это мир, он пахнет морем!
Но он отчаливает, вот ведь дело в чём.

Ещё видны в туманном мареве, Мария,
его примерные черты и огоньки —
ах, Боже праведный, как нас они манили,
покуда не были ещё так далеки!

Мираж оранжевый, прощай: не узнаю вас,
заметы прошлые — твою, рябина, гроздь...

Смотри, Мария, как относит нашу юность —
и вслед за нею нашу глупость, нашу злость.

Смирись, Мария: ничего не будет снова,
в ночь после бала всё становится золой,
и мир отчаливает — урони хоть слово,
пошли ему хотя б воздушный поцелуй.

Смирись, Мария, не сердись: ведь мы не знали,
что так случится, — в тот момент, когда, бочком,
ты прямо в море обронила мирозданье
и подтолкнула — остроносый башмачком!

В а л е р и я

Короткая пугливая история —
какая там любовь, Бог с вами... мания!
Простимся же, нет больше сил, Валерия,
всё это было недоразумение.
Игра да вот... неловкое чудачество,
две тени, словно ангелы, крылатые,
начищенное мелом одиночество
и встреча — только раз в тысячелетие.

Мы оба вышли из осенних сумерек:
смятение, Валерия, авария —
и это было: морок, было: обморок,
забудем и так далее, Валерия!
А если что потом... проделки памяти,
тоска или очей очарование,

так это что же... Вы ведь это знаете!
И время даст Вам силы на забвение.

А н н а

Анна, кто же как не ты,
наклонилась над страницей!
Скажешь «дева красоты» —
сразу Франция приснится:
что за милый оборот,
что за дальние напевы —
оборот-наоборот
(красота, допустим, девы!)

Анна, погаси огни,
Анна, опусти ресницы,
отпусти и извини:
мне никак не объясниться!
Так случилось, что слова
слишком зыбки, слишком странны,
так случилось, что права
Анна — или имя Анны.

Я за ним, слепой ездок,
мчался молодо и браво:
мимо станций Честь и Долг,
мимо станций Блеск и Слава —
и любовь в семи верстах
промелькнула огонёчком:
нет, не станцией, а так...
полустанком полуночным.

* * *

Чай холодный спозаранку —
Ледовитый океан.
Это лето наизнанку,
и на всей Москве туман.

 Пешеход не жает нося
 в нежилое бытие —
 и опять мы разминёмся,
 время чудное моё!

Кто бы ни было ты — солнце,
птица или деревцо, —
мне никак не удаётся
разглядеть твоё лицо,
 кто б я ни был сам — заблудший
 лист, залётный воробей,
 мне никак не выйдет случай
 познакомиться с тобой.

В шелесте небесной манны
не слышать твоих шагов
возле острова Буяна
на другом конце тумана
у молочных берегов.

* * *

Вот и встретил наконец хорошего человека:
он прожил на земле года три или четыре —
и у него была своя большая забота,
переполнявшая его маленькое «я»:
она гнала его всё дальше и дальше,
от одного незнакомца к другому незнакомцу:
его забота заключалась в вопросе:
«Как тебя зовут?»

Я тотчас же отвечал хорошему человеку,
что зовут меня так-то и так-то, —
и мне сделалось не то чтобы грустно,
а просто немножко не по себе:
что я знаю так много другого
и что несколько пудов соли,
съеденных на протяжении жизни,
совершенно испортили её вкус.

* * *

От честных слов и бурных чувств
под плащ сухую душу пряча,
я потихонечку учусь
отточенной повадке грачьеи:
 смотреть на мир со стороны —
 хоть и рассеянно, но метко.

Не знаю, чем Вы смущены —
я просто грач со средней ветки.
Немножко искоса, внаклон,
так беспристрастно и так сбоку
я вижу жизнь, как видят сон,
заснув в трамвае неглубоко,
когда что дружба, что вражда
годятся разве для заметки,
когда и жизнь почти чужда —
я просто грач со средней ветки.
Так видят мир из-за угла...
Я просто грач со средней ветки —
и хороши мои дела:
я средней, стало быть, руки,
и мне немножко велики
слова «до завтра» и «навек».

* * *

Не то чтобы мир был настолько уж беден и плох,
не то чтоб любая стезя была слишком кривая —
всё может удалться и сбыться, и дай-то вам Бог,
всё может быть просто прекрасно, но я уплываю.
Какие пожитки? Я тут ничего не собрал:
сперва не умел, а потом не поладил с весами...
Вы будете царь или раб, а я буду корабль —
хороший такой, одномачтовый и с парусами.

Вы будете правы, а я буду снова не прав —
не прав так не прав, всё равно моя жизнь кочевая!
Тут столько цветов золотых и серебряных трав,
тут столько всего дорогого, но я уплываю.
И как со мной быть, если цену не я назначал,
и не торговался, и не предлагал для обмена
ни душу, ни тело, ни прочее по мелочам —
тем паче страну: я не знаю стране этой цену.

Какие погожие лета стоят на дворе,
какая погода, какая природа живая!
И все, кто грешил, сожжены на высоком костре,
а кто не грешил, тот прославлен, но я уплываю —
не то чтобы знаю зачем или знаю куда,
не то чтобы всё показалось и пусто, и тщетно,
а просто вода, дорогие, а просто вода
несёт свою лёгкую ношу — соломинку, щепку!

* * *

Смотри, какие годы отшумели —
и вслед за тем, свою чередой,
летит к нам тихое недоуменье
зелёной изумлённой стрекозой.
Она стрижёт умелыми крылами
беспечный воздух, газовую ткань... —
а всё, что в этой жизни было с нами,
полно загадок и высоких тайн.

И, обернувшись розовым туманом,
бок о бок с нами ходят наши сны,
но мы в них ничего не понимаем —
и этим бесконечно смущены
и прельщены...

И жизни чёрный ящик,
в котором тьма приманок и наград,
мы открываем, чтобы, растерявшись,
извлечь оттуда что-то наугад —
и, взяв уже знакомое на пробу,
мы понимаем: мы в конце пути,
и эта жизнь была дана нам, чтобы,
всплеснув руками, руки — развести.

* * *

Застряв беспечных слов промеж,
не перелистывай страницы:
там где-то тропочка таится —
пойдёшь по ней и всё поймёшь,
там мальчик-с-пальчик набросал,
ведомый, помню, в лес дремучий,
так... камешков на всякий случай
по безутешным небесам.
Иди по камешкам, иди:
авось не потеряешь следа
к руинам дома людоеда
шварцвальдской ночи посреди.

Там станет ясно, что к чему,
что ни к чему..
И тут же память —
ей незачем теперь лукавить! —
начнёт вести тебя сквозь тьму
страстей и страхов, и судьбы,
и преисподней в отдалении —
в одном знакомом направлении:
где кони стали на дыбы,
где жизнь, собравши все счета
и, расплатившись чем сумела
за всё вокруг, шагнула смело,
не понимая ни черта,
в неведомую благодать —
и разошлись два очевидца:
моё Счастливо-оставаться —
с твоим Счастливо-покидать.

* * *

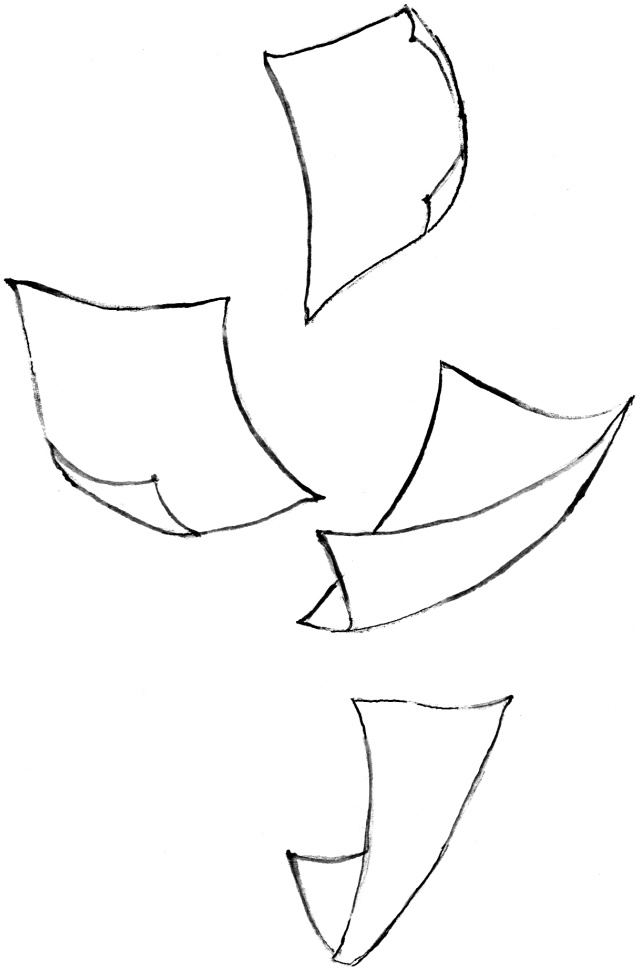
С божеством и дождём на плече, с небольшим божком, —
тут лишь Небо и Время, тут можно идти пешком,
можно хлопать по грязи — и... хлопать, и славить дождь, —
так из грязи да в князи не ведаешь, а придёшь.
Это только вопрос небес и вопрос времён —
никаких по пути известий и перемен,
только дымка в глазах, только ветер свистит в ушах —
не заметишь и сам, как к тебе подобрел ландшафт,

не заметишь и сам, как на рынке твоих полей
продают по дешёвке бальзам, продают елей,
как к тебе по пути заплутавшим щенком приник
неродной твой язык, твой отныне родной язык.
С божеством и дождём на плече в никуда, вперёд —
где гуляет, земли не касаясь, чужой народ,
принимающий за своего и тебя, и всех
и светящийся светом лазоревым из прорех.
Может, люди, а может, и птицы — не всё ль одно:
будет ткаться и ткаться воздушное полотно,
пузырьковое, лёгкое, пенное... пять минут —
не заметишь и сам, как тебя в него завернут,
не заметишь и сам, как приснится весёлый сон —
о каком-нибудь дне миновавшем... и обо всём,
что своими шагами стирал и стирал с листа,
перед тем как заснуть за пазухой у Христа.

* * *

А за ниточкой за тонкой
пропасть пролегла:
чур! — на пропасть хворостинкой,
распахнув крыла...
Полетишь — за что держаться?
Не за что пока:
ни тебе рукопожатья,
ни тебе кивка,

ни приветов никакого
от кого-нибудь,
ни хотя бы просто слова —
дескать, добрый путь.
Да придётся, Ваша Робость,
в бездну, в глубину..
А минуешь эту пропасть,
и ещё одну,
и ещё одну похлеще —
вот и угодил:
загуляешь в райской чаше,
да опять один —
исключение из правил:
сам с собой играй!
Всех вокруг переупрямил:
вот тебе твой рай.



ДЕНЬ ВОСЬМОЙ

1993–1996

* * *

Я не знаю, зачем произносится День Восьмой
и что делать мне в День Восьмой, что мне петь, что есть.
И посею я в землю разорванное письмо —
на клочки разорванное письмо я посею здесь.

Время сеять письма, разорванные на клочки,
время сеять буквы — и сеять их только тут,
эти полуживые окружности и крючки
время сеять тут и думать, что прорастут.

Вышел сеятель сеять, и сеять, и думать, что —
что попало, и что придётся, и что почём.
И в руках у него было сумрачное решето,
и висело облако, как в учебнике, над плечом.

А потом, сразу вслед за облаком, приходил
полоумный март — и угадывались в ростках
двадцать опер, пятнадцать баллад и ещё один
то ли вальс, то ли марш с безрассудным флажком в руках.

На пустынной окраине безутешного сентября,
где давно ничего не родится ни так ни сяк,
ты позволь мне вырастить этот сад для тебя —
весь в чернилах, и весь в потёках, и весь в слезах.

МИССИЯ

Т. И. Матвеевой

1

Эпоха дыма по тысяче за кольцо
в полуподвале с античными головами.
Мы лучше многих умели играть в серсо
в полуподвале, где мы дневали и ночевали.

Как называлось то, что всех нас свело?
Никак... ну, скажем, дымок, но дымок не имя.
И он удалялся сквозь выбитое стекло —
других морочить или играть с другими.

Мерцала в чашке сумрачная звезда,
смерзала в горле солнечная рулада,
но было весело рушить своё тогда
и строить завтра из кубиков шоколада.

Вот так и прожили жизнь неизвестно чью,
счета остались, расходные книги, чеки...
Зима дымилась — не помню в каком краю,
и кофе Jacky — не помню в каком веке.

2

При умирающем на глазах дирижёре
в гулких залах аварийного сентября
мы собрались, чтобы сыграть в форс-мажоре
всем известную пьесу исключительно для себя.
Мы почти не смотрели в истлевшие ноты —
мы из свежего воздуха ткали этот мотив,
и летали по воздуху рукописи и банкноты,
птицы, листья и звёзды — восхитительный коллектив.

А когда ураган, притаившийся в сводах старинных,
рухнул сверху и всё это смял и стёр,
мы остались играть под обломками, на руинах
совершенно новую пьесу в тональности форс-мажор.

* * *

Что за грустную тему — Шильонского узника —
затянуло внезапно в нашу ветхую сеть,
где шуршала над залом бумажная музыка —
и бумажная музыка не умела взлететь,
где простая мелодия чёта и нечета
увлекла опекаемый музами зал —
и маячила в форточке голая веточка
(и могла бы взлететь, да Бог крыльев не дал)!

А когда уже лектор положил свою дудочку
на старинное дерево стольких сразу веков,
оказалось, что истина — просто нищая дурочка,
у которой есть песенка из одних лоскутков.

* * *

Ничем отродясь не владея
из прелестей этой земли,
моя дорогая идея,
я тут без тебя на мели!
Так-так... времена не из лучших:
не знаю, подняться ли над!
Но сто пятьдесят безделушек
теперь нас уже не пленят.

Ну, что там у Вас, извините?
Подвеска — стеклянная чушь,
бубенчик на тоненькой нити,
трезвоном пугающий глушь,
почёт, перевитый бечёвкой,
и страсть на крючке золотом,
какая-то дама с ночёвкой,
ручные слова не о том?

И — в тысячный раз — холодея,
раскачиваюсь на краю,
но вновь дорогая идея
по душу летит по мою.

* * *

Так поздно, что почти в такую рань
уже не засыпают, друг сердечный.
И ты восстань и говори, что — янь,
но также инь, а после снова янь
и снова инь — и дальше, дальше, дальше...

Китайство хитроумное, когда
ты наконец оставишь нас в покое,
отпустишь нас на запад, скажешь да,
но также нет, а после снова да
и снова нет — и так без остановки!
Мы выучили это назубок,
и нас не проведёшь и не поймашь,
когда мы повторяем слово Бог,
но также чёрт, а после снова Бог
и снова чёрт — и временами плачем
или смеёмся надо всем вокруг,
как всё вокруг печально и забавно!
И в этом нас поддержит старый друг,
но также враг, а после снова друг
и снова враг — и, может быть, другие.
А глупое фортуны колесо
напрасно машет щедрою рукою,
поскольку так и так у нас есть всё
и ничего, а после снова всё
и снова ничего — и всё такое.
И жизнь уже дошла до той черты,
где ни случайных, ни необходимых,
но только круг кромешной пустоты,
с самой собой вступившей в поединок.

**КАЗИМИР МАЛЕВИЧ.
ЧЁРНЫЙ КВАДРАТ**

Н. Б.-Р.

Положи за пазуху стрелу или пулю —
мчится век по воздуху, по чёрному полю,
у эпохи-нищенки похитив скрижали!
...белёдые трещинки, куда побежали?
Зеркало коробится по тайной причине:
чудо-юдо-рыбища резвится в пучине.
Боги все повергнуты, поют комиссары,
по речной поверхности гуляют узоры.
Воевали весело — легко умирали:
наварили месива для всей камарильи —
кушали нас заживо, оружием бряцали,
а потом всё зажило... да только с рубцами.

Ах, Твоё Ребячество усталое Время,
ничего не лечится устами твоими!
Тóлпы всякой нечисти на долгом постое
населили вечности пространство пустое —
и у всякой личности достало умений
провести по вечности хоть парочку линий
не мечом — так ножиком каким, поострее:
слава им, художникам... в штыки, батарея!
Небо исцарапано — копьё или пика, —
кровавая крапина, какого ты века?
Это красных рот вина: шли по небосводу, —
тяжёлая рытвина, какого ты роду?

Летопись по Пимене — сплошные атаки,
и на чёрном знамени белеют потёки.
Ваше Белокровие Отчизна бывая,
выпьемте за здоровье, смертельно болея...
молодость и ненависть глядят из бокала —
бесстрашная летопись, куда поскакала?
По тяжёлой пашенке бегут кракелюры —
где промчались грешники дефис юбиляры, —
на пирушку скачете... да не до потехи:
вам на чёрной скатерти — одни лишь прорехи!
Всё давно истрёпано, истёрто, измято —
только и настряпано что вечная смута.

Знала лишь метелица одна в белой рясе,
чи черты затеплятся на чёрном убрусе:
видела, затейница, корпя над картиной,
что потом затянется времён паутиной!
Мы пойдёмте вместе-ка в далёкие гости —
под защиту крестика на чёрном погосте:
светлая слезинка да земли три аршина...
поздня позёмка, куда заспешила?
Патина истории легла без мотива,
жизнь-то штука старая, да сердце — ретиво...
Ниточка-иглочка, ти-ти, улети,
красную ленточку с собой захвати!

2004

* * *

Всё как прежде: те же слуги
с тем же мёдом на устах,
с тем же ядом... Жизнь в испуге
на серебряные круги
возвращается свои.
Время, съехавшее набор,
держится на остриях
разных брошей и булавок...
Обитатель модных лавок,
видишь, всё это — твоё.
Ты теперь у нас хозяин —
полоумный этот бред,
он тобой организован:
сшей нам всем парчовый саван
нас пора похоронить.
Ибо мы не знаем правил
этой мелочной игры,
ибо всеми нами правил
только голос, только профиль,
только призрак, только сон.
Мы помешаны на слове —
слове лживом, но своём!
Присягнем любви и злобе
на серебряном изломе
девяностой нищеты.

* * *

Ну что ж, привет-привет вам, Полный Крах,
Крушение Надежд и Всё Такое!
На стол поставлю золотистый мрак,
исполненный весёлого покоя.

 Пылай же, лампа, сумрачней пылай,
 сжигай судьбу, как бабочку ночную:
 я заслужил желанный этот край —
 домашний рай при лампе одесную!

Так всё на свете века испокон
смиряется и делается бытом —
и тонет в чашке солнечный лимон,
и горько пахнет детством позабытым.

 Но сладок чай, но лампа весела —
 я рад, что больше нечем восхищаться,
 и птичка в клетке на краю стола
 поёт ручные песенки о счастье.

* * *

Ночные сюжеты: огней коромысла
над площадью и через ночь,
остатки лукавого здравого смысла,
слепая, как музыка, речь:
вот, дескать, ноябрь — и окна остыли,
вот, дескать, идём к декабрю.
Что ж тут говорить? Я не знаю пустыни
безлюдней, чем ночь, говорю.

И слов бестолковых летучие мыши,
пускаясь в пустынный полёт,
несутся в потёмках — не видя... а слыша?
Да кто же их, милый, поймёт!
Для слов бестолковых есть цепкие нити —
и прочно раскинута сеть,
но есть ещё и золотое нитье —
чтоб мимо предметов лететь.

* * *

Тут, видишь ли, задумались глубоко:
за дымом за табачно-голубым,
тут без подсказки — разве что от Бога
молчащего (за это и любим!) —
живут и пишут сутки напролёт:
так, всякое... что в голову придёт.

Ни перед кем на свете не в ответе,
ни мнений, ни ований не ловцы,
от века не причисленные к свите
иной, чем летописцы и писцы
истории, — сидят и терпят труд,
покуда над трудом и не умрут.

Тут, значит, что ж... собою не владея,
а уж тем паче — кем-нибудь иным,
живут, как им хрустальная идея
велит — и шестикрылый серафим.

А дело принадлежности другим
считают и пустым, и неблагим.

Тут пуще лжи не любят панибратства —
и только выстрел пушечный даёт
понять, докуда стоит подбираться,
чтобы ядро не тронулось в полёт
и чтобы невзначай не разнесло
на части — имя, город и число.

Тут, видишь ли, прекрасное далёко —
то самое, куда заказан путь,
прекрасное далёко — видит око,
да зуб неймёт... продолжи как-нибудь,
но не входи и не вноси огня
туда, где нет тебя.
И нет меня.

* * *

Всё в порядке: невидимый скрежет
пролетающих мимо планет,
всё в порядке... а ну как забрезжит
хоть какой-нибудь узенький свет —
что тогда? Я не знаю, я занят:
из податливой уличной тьмы
мой старательный взгляд вырезает
кружевную фигурку зимы.

Чтоб пустая ночная прогулка
не была ни пустой, ни ночной,
пусть её украшает фигурка
темноглазой работы ручной...

Вы, душа моя, вряд ли поймёте,
что искусство — пугливый предмет
и живёт в неприметной работе,
и смущается, выйдя на свет.

ХОДИКИ

...говорят, будто, гайку подвесив к одной из гирь,
можно гайкой заставить Время ходить точнее —
например, на несколько лет, недель или дней:
так и сделали, значит...
И Время ходило точнее,
но не сильно — всегда не хватало эпохи-другой:
например, на то, чтоб собрать наконец свой скарб,
например, на то, чтоб взвалить этот скарб на горб.
И подвесили к гире молот, а после — серп.

И добились, чтоб Время ходило ещё точнее!
Невнимательный маятник — ринувшись было вспять,
но отчаявшись — как-то случайно успел успеть
размолоть на своём пути человечью плоть.
Его вытерли красной тряпкою — на лету...
Цепи чуть не сорвались с цепей в направленьи степей,
и замешкалось время — впрочем, поняв, что теперь
ему нечего больше терять, кроме этих цепей.

Цепи, правда, остались на месте — а как без них?
Чем приковывать будем ко Времени праздный люд,
если все разбежались, разъехались — и норовят
оторвать от бессмертья хоть пару, хоть тройку лет!
И, спасая бессмертье, подвесили к гире меч,
а ещё — на всякий случай — подвесили щит:
и сперва было слышно, как-то вблизи пищит,
только этого писка решили не брать в расчёт.

И добились, чтоб Время ходило ещё точнее!
Уже можно было загадывать наперёд,
что тогда и тогда-то — хотя бы вот через год —
каждый будет счастлив... по крайней мере, богат.
Шестерёнки крутились — и жизнь была б хороша,
если б только не этот, совсем небольшой, зазор
между прошлым и будущим — щёлочка между эр,
где всегда собирается некий досадный сор.
И подвесили жёрнов к гире: он не молот,
но висел не без дела, поскольку тянул на дно
всё, чему на поверхности было не суждено
коротать свои дни с историей заодно.
И утопленников находили на берегу —
вниз лицом, словно все они загодя пали ниц,
но никто не тужил, ибо жизнь-то не без границ —
и почти что всему на свете приходит конец.

И добились, чтоб Время ходило ещё точнее!
Уже были назначены сроки всему вокруг,
уже явь различали от сна и от прочих врак,
уже знали, кто друг, кто не друг, но коварный враг.
Лишь немножко смущал — иногда, среди ночи — бой,
неуместный такой, когда все, предположим, спят —

безобидною, стало быть, кучкой лесных опят,
предназначенных завтра на праздничный стол господ.
И подвесили к гире, чтоб выровнять бой, медаль
или орден — он, разумеется, тяжелей,
и минутная стрелка, себя возомнив стрелой,
пропорола навывлет век — уже пожилой.
Кстати, веку давно пора было умирать.
Хоронили его без почестей и без речей:
оказалось, что век этот был вообще ничей,
а потом, как заметил народ: не последний, чай...

И добились, чтоб Время ходило ещё точнее!
И оно заходило, и рядом был часовой:
значит, в оба смотри, значит, в сумерках не зевай —
а заря над землёй становилась всё розовой.
Рано утром считали убитых — не без того! —
и смеялись: дескать, дошастались по ночам...
Но утешить убитых уже не могли ничем,
и рыдал часовой, и честил себя палачом.
И тогда поднимались убитые — все подряд,
к палачу подходили маршем — за взводом взвод,
говорили: мол, успокойся, мол, всё пройдёт,
мол, не плачь, дорогой, а ступай, дорогой, вперёд.
И пошёл часовой за Временем как герой —
а потом перешёл на бег и пошёл бегом,
и подвесил он к гире гранату, и все кругом
с благодарностью пали к тяжёлым его ногам.

И добились, чтоб Время ходило ещё точнее!
И оно зашагало — точный чеканя шаг,
а за ним собирали кости в чёрный мешок
и несли к большаку, чтоб костями мостить большак.

И шагало новое Время по большаку,
только кости окрест летели под ветра свист,
и вставали дни грядущие во весь рост —
и тогда наконец подвесили к гире крест.

2005

* * *

В облаках моего безумия,
за качающимися снами,
моя милая Тарабумбия,
что случилось с тобой и с нами?

Из империи винно-водочной,
чьи огни уже отмерцали,
уплывает пустынной лодочкой
Тарабумбия с мертвецами.

В этом глупом огромном городе
не осталось живых в помине —
по прошествии лет, по Ироде,
по забытым Отце и Сыне.

А из текста с его прорехами
(что ж, где тонко, брат, там и рвётся!)
все сто лет уже как уехали
и никто теперь не вернётся.

Потихонечку, понемножечку
распрощаемся со стихами:
пусть одна золотая ложечка
вечерами звенит в стакане.

* * *

Юрию Левитанскому

...и снова нечаянно выпив вино,
и снова увидевши беса на дне,
Вы бесу сказали — довольно темно —
что, собственно, Марбург искали в вине.

И — в Марбург скользнув по пустому стеклу —
мы всё позабыли в одном кабачке,
где только любовь подавали к столу —
беспечную бабочку в вечном сачке.
И Вы говорили, что здесь все свои
и что наконец-то не надо хранить
в дырявом сознании былые бои,
что память есть нить — и что лопнула нить.

И, вывернув напрочь карман потайной,
Вы вдруг принялись предъявлять, торопясь,
обрывки минующей жизни земной —
и всё повторяли: нарушена связь...

Мы их разложили на круглом столе,
пытались собрать, но собрать не смогли —
всё в крошках от хлеба, в табачной золе
и в пороховой заскорузлой пыли.

И тут Вы сказали смеясь: «Это Вам», —
и, всё со стола осторожно сгребя,
смели мне в карман драгоценный свой хлам,
оставив трамвайный талон — для себя.

* * *

Наступала судьба — так и помню: малина со сливками,
закрома, тайники и секреты с конфетами липкими,
двух потерянных пуговок встреча в районе орешника
и кристальная совесть совсем малолетнего грешника.

Дальше — больше: полёты во сне и походы к заутрене
(наступала судьба) — брови сдвинуты, щёки обветрены,
тайники со стихами запретными, записи шифрами
и пустые вчера вперемешку с великими завтрами.

Дальше — снова-здорово: напрасные поиски имени —
то есть поиски бремени в некоем замкнутом времени
(наступала судьба), тайники с псевдонимами, масками
и глухая борьба со страстями и мыслями низкими.

Дальше — всё как по нотам: молва, златокудрая bestия,
приносила с базара любезные сердцу известия —

и, плодами запретными балуя, пичкая... пачкая
(наступала судьба), приучала смиряться с подачками.

Наступала судьба, наступала как вражее полчище,
громкогласное молчище, неодолимое волчище,
и рубила сплеча, и колола отравленным дротиком,
и стояла душа, как свеча, оловянным солдатиком.

2003

* * *

Оставлю только два часа прогулки
и — выбросивши сразу всё, что сверх, —
детальями украшу облик булки:
изюм, цукаты, земляной орех...

Неспешные шаги по Патриаршим
и пиршество на левом берегу —
подхваченное мимолётным маршем
на, кажется, двенадцатом кругу:
оркестр играл...
И осень собирала
имущество из листьев и плодов.
Всего, чего мне в жизни было мало —
так это той прогулки у прудов.

Но распугала светлые детали,
пока приподнималась на носки,
глупышка-память — и пред ней предстали
два сумрака: смятенья и тоски.

* * *

Видишь, в храме, в полом храме...
Ничего не видишь в храме —
только пусто слышишь в храме,
слышишь и не понимаешь:
как-то всё тут не по-русски —
как-то всё по-древнерусски,
по-предельнодревнерусски —
полусвет лишь, полутьма лишь.

Впрочем, узнаётся слово.
Слово узнаётся снова —
дважды... Что ж до остального,
остальное непонятно.
А из этих слов — не сразу —
можешь сам построить фразу.
Или лодку. Или фразу.
И уплыть на ней обратно:

где темнеет Понт Эвксинский
и белеет флаг российский:
Понт Эвксинский, флаг российский —
Понт ли с флагом не знаком?
Блещет маленькое небо,
плещет маленькая рыба,
вьются альфа и омега
исчезающим дымком.

* * *

Да будет песенка с тобою кочевая
бродить по улице с котомкою пустой,
бродить и бредить, никого не задевая
из окружающих — ни мыслью, ни мечтой;
и день прозрачный в небесах читать прозрачных,
и легкомысленный придерживать берет,
и ничего ни в чьей судьбе уже не значить,
а на свою судьбу — и вовсе не смотреть,
и долго слушать, как бормочет по-китайски
листва сухая... но язык листвы сухой
почти совсем не понимать — и не пытаться,
а только слушать — сознавая, что не твой,
и только слушать — сознавая, что отныне
твоё родство с другими сделалось бедней
и что один язык звучит в твоей пустыне,
тебе известный да вот... песенке твоей.

* * *

По новейшему завету,
без креста на всех путях
это беженцы по свету,
это беженцы летят:
 это вроде бы и как бы
 те же птицы в небесах —
 горстка пуха, горка скарба
 на неправильных весах.
И неправильное время
озирается вокруг,

на лету под корень брея
бывший сад и прошлый луг.

Помнишь, жили... помнишь, пели

«Отче наш» и «С нами Бог»?

А теперь одна Помпея —
песней на ничьих губах.

Как стираются скрижали,
как истаивает стяг...

Было: саженцы сажали,
стало: беженцы летят.

* * *

У тихой одной переправы — из этого дня,
не знаю, в другой ли, но в новый — стоит оборона:
не то чтобы флот или войско — лодчонка одна,
челнок... неприкаянный шест да улыбка Харона.

Пустые формальности — кто не ходил за черту...
досмотр на таможе: работа, дружок, есть работа!
Так что там у Вас, извиняюсь?
— Монетка во рту:
велели молчать и хранить её пуще чего-то,
чему я на самом-то деле не знаю цены —
монетка, таблетка от сердца, пластиночка мяты...
Ах, эллины, эллины, страшные детские сны!
Голубчик Харон, я не помню, что там — после Леты.

Там, кажется, осень... зима, Санта-Клаус с шестом,
опять переправа и снега пространство рябое —

и там моя радость с лукавым, изменчивым ртом
мне снова задаст свой бессмертный вопрос: «А потом?»
Ах, вечная жизнь, я не знаю, что делать с тобою!

* * *

...друг, который уехал в провинцию У.
Сайгё

Никому не сказавшись и ничего не сказав,
просто взять и покинуть безвидную местность Я:
что тут делать теперь? Кроме нескольких сорных трав,
ничего не возшло здесь — и вряд ли уже взойдёт.

А уехать куда... да куда-нибудь — в область О! —
на одном на колёсике величиной вполнебес,
ибо там-то, конечно уж, просто полно всего,
по чему столько лет тосковала твоя душа.

Ибо там и растёт, например, тот высокий смысл,
у которого нет побегов и нет корней,
и разлит над землёй аромат сокровенных масл,
чьё присутствие делает воздух почти вином.

Там живут они все — ну, которым жизнь нипочём:
у них нет ничего, кроме пары-тройки идей,
днём витающих в небе, но падающих по ночам
с полоумных высот — да никто не помнит куда.

Там легко забывать и не нужно знать назубок
ничего из того, что не нужно знать назубок,

и заходит запросто в гости сосед твой, Бог,
и сидит, и плачет, и не вытирает слёз.

Ты останешься там, ибо нету земли добрей, —
и тебя представят Богу и всем вокруг..
даже жаль, что однажды и сей заповедный рай
для тебя превратится в безвидную местность Я.

* * *

Ещё такие светлые надежды
гуляют вместе с нами вдоль аллей!
Ну не смешно ли, что они всё те же —
и даже, вроде, кажутся светлей,

хотя уже, пожалуй что, все феи
слетелись к нам, все корабли пришли
и все цветы всех брошенных офелий
приплыли — и едва ли не смешны;

хотя давным-давно все наши дали
ждут у порога, кинув якоря, —
хотя сбьлось и то, чего не ждали,
и то, чего, казалось, ждали зря...

Походим-ка по дому, посвистим-ка —
и всё-таки подумаем о том,

куда ж нас манит детская картинка,
где яблочко на блюде золотом.

* * *

Время кончится, начнётся,
жизнь захочет умирать,
да потом опять очнётся —
и опять играть

на разбитых фортепьянах
из времён войны,
на разбитых да на пьяных —
на дурацких фортепьянах
у разрушенной стены.

Не стена — так яряся,
зляся, брызгая слюной:
понесётся восвояси
жизнь в полубезумном плясе
за придурочной волной —

за придуманной, за дикой,
за такой-сякой —
пахнет красною гвоздикой,
революцией... гляди-ка,
кончился покой!

Лязгнут глупые затворы,
в изготовку станет рать,
чтобы жизни переборы —
тары-бары-растабары —
перебарывать...

Обойдёмся половиной —
пусть тут вырастет трава:
всё равно походкой львиной
жизнь опять придёт с повинной
года через два!

* * *

Полно, дружок, чертить иероглифы чёрной тоски:
руку твою — лёгкую — я всё равно узнаю.
С этой руки слетают голуби, с лёгкой твоей руки,
с лёгкой твоей руки — на скорую руку мою.

Это тебе кормить твоих неторопливых птиц
и Южный Крест прилаживать на небосвод в уме,
это тебе — не простить, подумать... и вдруг простить
месяца через два, в голубином одном письме.

...плыло письмо по воздуху — плыло, легко паря,
полное разных разностей, дальних миров и планет,
плыло набраться радости, да получилось — зря:
нет уже больше адреса и адресата нет.

Жизнь помахала прутиком — старенькое дитя —
и укатила на роликах... за сердечко держась,
и паровоз на станции, гневаясь и пыхтя,
ей уступил дорогу: да ну тебя, дескать, Жись!

Ролики плохо прикручены, а за дальним бугром
рытвины да колдобины — только ведь не впервой!
Нету грозы давно уже — там, где грохочет гром,
нет уже боли там, где отныне чужой привой.

Что ж тосковать, дружок... рисовать кружки и штришки!
Руку твою — лёгкую — я всё равно узнаю.
Твой поцелуй воздушный слетает с лёгкой руки,
с лёгкой твоей руки — на скорую руку мою.

2004

* * *

Вон серебряная бабочка субботы
промелькнула в переулочке ничьём:
отпусти свою улыбку на свободу —
впрочем, что это я, Господи... о чём?

Но: весна, слюда, фольга, стеклянный шарик
гиацинта в целлофановом дымке —
всё обманывает, дразнит, обольщает
и — растаивает льдинкой в кулаке.

Вот последнее семейство снежных мошек
исчезает — и никто не знает где!
Ничего на свете нет и быть не может —
всё мираж и отраженье на воде.

Весь твой мир — проделки луж и небосвода:
пусть играют, действительность твоя!
Отпусти свою улыбку на свободу:
всё равно это улыбка не твоя.

1989

* * *

После того, как щёлкает засов,
уходит только гость, хоть и последний,
но слишком много слишком разных слов
ещё толпится в маленькой передней...

Опять всю ночь не спать под этот треск
и — отзвуков почти не различая,
спасаючись на кухне чашкой чая —
хоть слышать, да не слушать наотрез.

Под неживые эти пересуды
пересидеть и головную боль,
и ночь пересидеть, и жизнь — доколь
не станет слышно утренней посуды,

которая одна во всём права —
и так звенит, чтоб текста не читалось!
Вселенная в окне живым-жива,
а истина есть попросту усталость —
усталость дальше подбирать слова.

* * *

Дорогая строка, погости, посиди,
посиди, не бросай музыканта:
всё никак не кончается небо в груди
и ещё далеко до заката,
а стаккато в стакане — так руки дрожат,
слишком сильно он, стало быть, в пальцах зажат,
оттого и выходит стаккато.

Это мелкие пакости ложки стальной,
это мелочи жизни забавной одной,
затесавшейся, да не по делу,
в область карточных, глупых, напрасных хлопот,
где секундами мерится медленный год —
всё стремясь к нулевому пределу.

А уж если откроется где-нибудь брешь —
хлынет небо туда с облаками,
и тогда — хоть повесь, расстреляй и зарежь,
оглуши этой ложкой в стакане! —

но вот неба назад ни за что не возьмишь,
разве вот со строкою, бросающей в дрожь,
или только уж вместе с душой —
с незаметной такой, с небольшой.

1999

* * *

Вот зажгу сейчас пять свечек
и отправлюсь на покой —
счастья своего кузнечик,
обязательный такой!
Та ли музыка, не та ли,
забирайся-ка в халат:
мы своё отстрекотали
много лет тому назад —
по лугам, тогда зелёным,
по полям, тогда пустым,
по дорогам беззаконным,
где наш след давно простыл.
И в простывшем этом следе
собирается вода...
но — чего на свете ради? —
закипает иногда.
Ждали чёт, а вышел нёчет —
никакого сна в ночи!
Слова своего кузнечик,
поднимайся, стрекочи...

2000

* * *

Немного пресной лжи в словах чужих
да пара откровений допотопных:
жизнь учит умирать, смерть учит жить...
но улыбаться учит горький опыт.

Я улыбаюсь: грош всему цена —
одна всему цена, я улыбаюсь.
Полсигареты да глоток вина —
и не страшна, и не нужна реальность.

Но иногда бывает: дверь поёт
и повествуют кухонные краны,
а иногда пускаются в полёт
бумаги со стола — и это странно,
и старые бескрылые слова
внезапно разлетаются по дому —
и пропадает пропадом Москва,
подобная тяжёлому фантому.

А в комнате моей звучит рожок,
и бродит дух ромашки и шалфея,
и зеленеет маленький лужок,
и над лужком кружат дитя и фея.

* * *

Я с четверга до понедельника
не прикасался к словесам —
я слушал пение будильника
и ничего не написал.

Мне лампа, превращаясь в аиста,
напоминала в пустоте,
что всё никак не называется,
а если как-то называется,
то имена всегда не те,
что эта вот большая улица,
простёршаяся по ковро,
под утро вновь преобразуется
в прямоугольников игру,
что эта золотая рощица —
полоски поперёк гардин,
что ни фамилии, ни отчества
у Бога нет — и Он один.
И мирозданье незнакомое
висело неба на краю,
и грусть, ночное насекомое,
дудело в дудочку свою.

* * *

Что́ это «всё это» — и для чего это всё?
Я не умею дробить этот мир и любить —
и окликают меня то Сайгё, то Басё:
горная хижина, вишенно-яблочный быт.

Сбросить сухие заботы и мысли с горы,
сбросить сухие шелка, облачась в облака,
будемте с вами бедны: это значит мудры,
будемте жить на пока, как живут на века.

Что тебе, крошка-цикада, прогнавшая сон?
Ты с темнотою дружи и не знайся со мной.
Ах, ты опять захотела сказать обо *всём*
в маленькой песне ночной — в полминуты длиной!..

УРОКИ АРАБСКОГО

Когда судьба моя опять
запуталась в своих же струнах,
мне снова стало не хватать
согласных — солнечных и лунных.

И в жёлтом облаке возник
невероятный и нездешний
наездник — кочевой язык
с зелёной веточкой надежды.

Он весь петлял, он был длина,
завязанная узелками,
над ним то солнце, то луна
в одном беспамятстве мелькали,

и под переполох планет
мерцал и ничего не весил
рассеянный двоякий свет
его безгласных тёмных песен.

* * *

Строчка мелькнула дальняя
в мороке бытия:
«Стой и держи предания!»
...милая жизнь моя,
стой и держи предания:
через ручей Пока
жёрдочка До Свидания
ах как тонка, тонка!
От поцелуя вечности
замертво падал век —
переживая в точности
заново каждый миг.
Но вылетал из памяти
бабочкою в костёр
выстрел сухого: «Полноте!» —
грохнул — и память стёр.
И, из нездешней общности,
тем, кто пришёл на звук, —
было неважно, в сущности,
как тут кого зовут.

* * *

Жизнь на липочке висит,
потихоньку истекая,
редкий дождик моросит —
это липочка такая,

жизнь на липочке висит.
Между небом и землёй,
между правдою и кривдой,
между волей и петлёй,
между Сциллой и Харибдой
жизнь на липочке висит.
Моросит из мелких сит,
сыпется из тонких книжек;
словно беженец без ножек
дождик по свету трусит.
Жизнь на липочке висит.
Свет струится из апсид —
где Недрёманное Око,
глядя грустно и глубоко,
в нашу сторону косит.
Но без страха и упрёка
жизнь на липочке висит.
Вся Россия голосит —
голосиста ли, нема ли,
боль в коляске колесит,
все знамёна снимали —
жизнь на липочке висит.
Свет струится из апсид —
как-нибудь потом покаюсь,
дождик по свету трусит —
будем счастливы, покамест
жизнь на липочке висит.

2002

* * *

И всё-то было хорошо тогда-когда...
пока ещё тогда-когда... хвостом крутило,
и было детство нам, и не хватились тела,
и в область памяти мы заходили с тыла,
а с тыла память коротка и молода.

А на хвосте тогда-когда... висел бубенчик,
и всё вызванивал какой-то там гопак,
и был капризен, переменчив, выкобенив
и недоверчив — и, мелодию закончив,
обычно спрашивал: «Сначала — или как?»
Ещё к хвосту была приделана трещотка,
прищепка глупая с пурпурным хохолком —
под ней гудела зачарованно брусчатка,
и площадь древняя, как детская площадка,
бурлила дерзким и счастливым языком.
А за трещоткой сразу шла одна жестянка,
она была очаровательно пуста
и говорила быстро, путано и тонко —
хоть речь жестянки не имела ни оттенка,
ни смысла, но... какие общие места!
А за жестянкой на хвосте неслась гирлянда
из огоньков, сзывавших весь честной народ
туда, где весело, туда, где многолюдно,
где очень скоро всё пройдёт — и пусть, и ладно,
и хорошо, что очень скоро всё пройдёт!
А за гирляндою стрелой неслась орава,
в те дни входившая ещё в состав хвоста, —

она ревела так небесно и дворово,
что жизнь от этого немыслимого рёва
внезапно делалась блаженна и свята.
А в ту ораву влетена была надежда —
на что надежда... да забыл уже на что:
на золотое, на сыпучее однажды —
однажды, как-то повторившееся трижды
и провалившееся в то же решето!

Вот и гадай теперь, не слишком ли мы быстро
неслись за веком!.. — через площадь, через мост:
туда, где будущего старенькая люстра
да очертанья безобразнейшего монстра,
на много лет опередившего свой хвост.

2000

* * *

Что за блажь — ловить приметы
в сущем — прежнего? И всё ж:
вот зима, когда-то — лето,
вот метель, когда-то — дождь.

Пересмешник, соглядатай
смотрит с неба: всё прошло.
Вот число, когда-то — дата,
да теперь уже число.

Кружит в белой круговерти
настоящая зима...
Всё бело на белом свете,
но и свет когда-то — тьма,

но и грусть когда-то — радость,
но и плач когда-то — смех,
но и встать когда-то — падать,
но и жизнь когда-то — смерть.

А давно ли — Божья Милость
и заботы ни одной... —
всё, что пелось и любилося
мальчиком — когда-то мной?

* * *

Когда весь твой мир собрался в полёт,
всё так и так смещено:
рисует ли музыка, кисть поёт —
не всё ли тебе равно?

Балуйся хоть красками, хоть вином,
хоть рифмами, хоть водой —
ты всё о своём, ты всё об одном —
всё с тою же ерундой.

Ты выберешь мёд и выберешь лёд,
ты выберешь круг и крест,
а Тот-Кому-Это-Надо придёт
и всё подчистую съест.

Но что ж горевать, раз любой состав
на свете, любая смесь
на то и рассчитаны, чтоб, создав,
как можно скорее съест!

А полный бедлам в твоей мастерской...
не ройся в нём, подожди:
ведь Тот-Кто-Водит-Твоей-Рукой —
ему в этом нет нужды.

Он улыбнулся — и был таков:
на облаке укатил:
тот автор — всех на свете стихов
и всех на свете картин.

* * *

Не по этой ли отправиться улице,
не на этот ли случайный просвет —
осторожно рифмуя что рифмуется
и совсем не рифмуя — что нет?
Стихотворство, беспечное насилие!
Целый мир загоняется в силок,
и меняется белое на синее —
чтобы эхо поймать и приручить...

Но охотиться за эхом в дороге ведь
не умней, чем за фалдами плаща!
Ах, ничто ни к чему бы не пристёгивать,
что не хочет гулять сообща:

не навязывать вожжам этот мелочный,
жалкий дождик, боящийся вожжей,
а затейливейший крендель над булочной
отпустить в незатейливый полёт...

За свободу, мой друг, за неравенство,
за святое одиночество лет,
за глухое ущелье Мне-не-Нравится,
за далёкую пустошь Нет-так-Нет,
за петлянье по окраинной улице,
за изодранную в ключья тетрадь —
и за всё, что ни с чем не рифмуется
никогда, ни у кого и нигде!

* * *

Строго так, как назначили Бог и Природа
(а других я не знаю богов и природ),
я живу в окружении всякого сброда —
я люблю всякий сброд:
из вралей, неумех, да нерях, да отпетых
идиотов (огни, мотыльки, корабли) —
помешавшихся на неделях, непобедах,
запивающих небом нехватку земли.
У них глупые выходки, дикие лица
и блудливые и роковые глаза,
а в петлицах у них — у кого небылица,
у кого помазок, у кого стрекоза.

И уж так повелось в золотой этой роте —
хохотать да друг друга лупить по бокам,
предавать — хоть меня — на любом повороте,
и бросать — хоть меня — на съеденье волкам,
загонять — хоть меня — в пасть к зелёному змию
и, совсем без каких-нибудь дружеских чувств,
издеваться над тем, чего я не умею
и чему никогда уже не научусь.
У нас принято так: пропадать на полгода,
умирать в одиночестве и вдалеке...
а из общего есть у нас только свобода —
и не то чтобы вся — по обрывку в руке:
по клочку, по смычку, по надломленной сабле...
но когда заиграем мы, ты наконец
вдруг поймёшь, что такое — звучанье в ансамбле,
что такое — музыка свободных сердец.

2004

* * *

Мой дом... я не скажу дурдом,
но дом, который словом «дом»
я назову с большим трудом,
остался за спиною.
...хоть тот, где буду я потом,
не лучше, но вопрос не в том,
а в том, что славно за бортом...
и мой laptop со мною.

Вот, правда, Время — начеку:
следит, как я беспечно тку
по тридцать лет одну строку
и в ус себе не дую, —
и всё заносит в свой архив
(сегодня, дескать, был ленив),
но что же — Время?.. только миф,
и мой лaпtop со мною.

Да Небо смотрит свысока —
на нерадивого сурка —
длинна ли, стало быть, строка
и не пора ли, дескать,
поставить точку, голубок,
и годы свить в один клубок,
но что же — Небо?.. только Бог —
и мой лaпtop со мною.

А больше-то — какой надзор?
Лети себе, как прочий сор,
не сея спор, не зная ссор
с реальностью чумною!
Блуждай среди заветных троп,
а там... там после нас потоп,
но я с тобою, мой лaпtop, —
и мой лaпtop со мною.

* * *

Беспечные слова за поздним чаем —
попустословим, милые, пока
сентябрь не обрушится молчаньем
и слова не спугнёт, как мотылька.

И станет тихо — и надполой чашкой,
перед её внезапной глубиной,
душа замрёт, от тишины легчайшей
отведав — от осенней, от шальной.

Слов нет — с домов на юг слетают крыши,
слов нет — и дверь на юг летит с петель,
слов нет — и слышно только, как неслышно
на юг за ними август полетел.

Слов нет — и непонятны начертанья
затейливейших теней вдоль стены
в начале ночи.

Я Вам почитаю:
стихи не нарушают тишины.

М О Н Т И . Ч А Р Д А Ш

Как странно: скрипка в переходе
подземном! Это для кого?
Ни при какой погоде, вроде,
сюда не ходит божество:
сюда не ходит божество —
тут обитает большинство.

Но выкомаривают Монти
три развесёлые струны!
Теперь, когда страна в ремонте,
им нету дела до страны.
Им нету дела до страны:
они исправны и длинны.

Хромой ли это бес Лесажа
трясёт изнанкой бытия,
чтоб на счастливые пассажи
просаживалась жизнь моя?
Ах, жизнь погибшая моя,
пустая да беспутная!

А всё о распоследнем моте
рассказывает горстка струн:
мой кошелёк к услугам Монти —
и даже пешеход-ворчун
мне говорит: — Поэкономьте! —
Но я всегда плачу за Монти.

* * *

Что-то кажется небо уж слишком суровым,
что-то кажется истина чуть ли не злой —
не пойти ли опять на охоту за словом,
не поймать ли его высоко над землёй?
Полоумный зигзаг — непонятный, пернатый —
прекращён в облаках, а остаток — в руках,
и уже я с улыбкой и с трубкой пирата
вопрошаю его, бедолагу: ну как?

Всё на свете воротится, я объясняю,
всё, что пущено жить, возвратится назад —
и без грусти смотрю на далёкую стаю
мелких воспоминаний, построенных в ряд,
и уже собираются в четверостишие
из каких-то окрестных садов и лесов
на ближайшей одной скособоченной крыше
воробьи моих слов.

* * *

За Кудькиной горой
нарисован в небе рай —
и написано чернилом
возле рая: «Не горюй».
На фанере голубой
пара-тройка голубей,
нарисованные мелом,
говорят между собой.

Апельсин и ананас,
размещённые анфас,
человечьими глазами
смотрят пристально на нас.
А в румяных облаках
скачут кони в яблоках,
в винограде и в изюме
и с хоругвями в руках.

И святых суровых строй
за Кудькиной горой

гонит в шею иноверца
хворостиною сырой.
Меж раскрашенных планет
вместо Бога — тусклый свет:
Бог бывает только в сердце,
а снаружи Бога нет.

2006

ХОДИТ ДРЁМА ВОЗЛЕ ДОМА

Вот... ходит дрёма возле дома: так, помнится, мне пела мама —
уже не помнится когда... в одни старинные года!
И песенка вокруг летала, пока деревенело тело
и речкой тёмною плыло — в края, где, может быть, светло.
Вот ходит дрёма возле дома: тяжёлая такая дума
(пятидесять ли годов?) — и весит тысячу пудов,
и смотрит невозможно косо, то есть совсем без интереса,
на дно исчерпанного дня — и всё равно не видит дна.
Она в одеждах полосатых (так точно, из пятидесятьх:
там просто помешались все на клетке и на полосе!)
идёт себе походкой чинной, как на прогулке заключённый,
без цели, всё равно куда: пятидесять, да-да...
И время (бремя, племя, стремя) идёт за ней, теряя имя
шаги считая в полутьме: раз... десять... сто (журавль в уме), —
идёт за ней походкой чинной, как на прогулке заключённый,
и жмётся к бедному жилью, сходя с ума по журавлю...
Так ходит сторож в тёплых ботах — среди складов, жульём
забытых,
обозревая не ему принадлежащее сквозь тьму,
он ходит просто для порядка, постреливая (правда, редко),
но выстрелы его немые и, в общем, не тревожат тьмы.

Ничто не спит на самом деле: ещё полугорят медали
и полублещут ордена (которым родина цена),
и полусонные куранты ещё роняют комплименты
эпохе наших славных дел, — как говорит политотдел.
Долистываются знамёны, дочитываются романы,
с нажимом, но без суеты довинчиваются винты,
задёргиваются завесы, дописываются доносы —
хоть и небрежно, вполруки, но всё ж... цепляются крючки!
А героические будни и героические бредни
клюют носами в стороне — для вида, но бодры вполне —
и не свалить их ни в какую (я никого не упрекаю!)
ни доводом, ни топором: ещё не скоро грянет гром.
И ходит дрёма возле дома — прислушиваясь, нет ли грома
далёко за каким бугром... (ещё не скоро грянет гром),
принюхиваясь, нет ли дыма — какого-нибудь возле дома,
но воздух пуст и нелюдим: ещё не скоро будет дым.
И кот, покушав слишком жирно, хоть и мурлыкает мажорно,
но постоянно начеку: чекист, сжимающий чеку!
И сквозь опущенные веки два попугайчика, две буки,
наспуясь, наблюдают тьму: зачем, а также почему?
И ходит дрёма, ходит дума, дебелая такая дура,
бубнит, бубнит себе под нос (и всё-то, видимо, про нас!) —
с расширившимися зрачками и утолщёнными очками —
очками, честно говоря, посаженными на нос зря:
бесплотны, стало быть, виденья — летучи, стало быть, идеи...
что без очков, что сквозь очки мы выглядим как дурачки!
...мы дети, дорогая дрёма, и наша жизнь необозрима,
и наше завтра далеко, и наша пища — молоко,
мы безопасны и безвинны, и мы уж спим наполовину,
у нас уже глаза косят, а завтра нам с утра в детсад —
на сонных санках, по сугробам — к товарищам, чужим и грубым,
тая от их большой семьи свой клад — «А ну-ка отними!»...

Мы безопасны и безвинны, и мы уж спим наполовину,
и тратить ленинский прищур на нас немножко чересчур.
Но ходит дрёма возле дома... и вот ведь не проходит мимо
нас, малолетних — Бог прости, не спящих после девяти:
«Всем спать! Лицом к стене, гадёныш! Чего ты вертишься
и стонешь?»
Прожуй печенье! Прожевал — и руки, стало быть, по швам!»
Она уже почти что дома — железная такая дама
в телячьей коже (в январе!) и с пистолетом в кобуре,
она уже к столу уселась, на маму с папой покосилась,
командует: «Открыть буфет! Дать мне варенья и конфет!»,
а те — дрожащими руками — не могут справиться с замками,
и слышен дрёмы лёгкий смех: «Вас завтра расстреляют всех!..
Ну, а пока — в постель». И снова — вокруг ни слова, ни полслова.
Сплошной отбой. Сплошной бай-бай. И шепчет мама:
«Бог с тобой!»

1997

С МИСТЕРОМ ХОРТОНОМ

*

«Ах, где тонко, там и рвётся!» —
утверждает половица,
развёселяя девица (лет пятидесяти двух).
Чу, крадётся мистер Хортон —
гость ночной с вином и тортом
и с орудиями пыток: добрый вечер, dear Sir!

...он, как месяц из тумана,
вынул ножик из кармана

(десять пачек цитрамона приготовились к прыжку)
и сказал с улыбкой мирной,
покачавши эфемерной
головой заокеанской: — *Буду резать, буду бить!*

Я ответил: «Вот как славно!»
(словно так и есть, и словно,
прочих планов не имея, я того и ожидал),
но спросил — ещё до старта:
«Как насчет вина и торга?»
— *Ах, поставьте в холодильник, нам покамест не до них!*

И, держа свой тонкий ножик
осторожно, как подснежник,
он (художником художник!) глаз прищурил голубой
и заметил: — *Дело к ночи —*
значит, так или иначе...
И воткнул в меня свой ножик как пришлось: пришлось в висок.

Я воскликнул: «Мистер Хортон!..»
Но, прикидываясь тёртым,
мистер Хортон усмехнулся: — *Вы как будто в первый раз!*
Между тем при Вашем стаже
Вы могли бы боли те же
принимать, как принимают, скажем, ванну или душ.

И, оставив нож воткну¹тым,
мистер Хортон как по нотам
стал разыгрывать со мною задушевный разговор.
Мне — из уваженья, в общем,
к обстоятельствам зловещим —
ничего не оставалось, как любезно отвечать.

П р и с т у п п е р в ы й

– А скажите для начала:
Вас бы очень огорчило,
если б ножик был короче и тупее раза в два?
Впрочем, лучше Вам, пожалуй,
промолчать: вопрос тяжёлый,
а тяжёлые вопросы Вам пока не по плечу.

Так что мы начнём с простого,
как параграф из устава:
сколько будет сорок тысяч разделить на тридцать два?
Но у Вас такая мина,
будто Вы объелись тмина, –
ну нельзя же так, голубчик, из-за всякой ерунды!

Посудите сами: боли –
те, что есть, и те, что были, –
это, так сказать, не боли, а не более чем... так,
чепуха на постном масле –
в смысле терпкости и в смысле
тех, которые Вам дальше предстоят, мой дорогой.

Я сравню их с острой пиццей,
ибо я любитель специй –
всяких перцев, всяких травок, всяких лезвий и бичей,
чтобы жгло, но не сжигало:
наподобие глагола,
только дольше и сильнее – раз примерно в миллион.

Жизнь, бывая слишком пресной,
часто кажется напрасной:

*день прошёл, как скорый поезд через пригород ночной, –
не пытай аборигенов,
сколько было в нём вагонов,
ибо спали и, конечно, не успели сосчитать!*

*Но представьте: тот же скорый
прилетел небесной карой –
снёс вокзал и перешёл сто пятнадцать человек:
расспроси аборигенов,
сколько было в нём вагонов
и какие занавески, – всё узнаешь в тот же миг!*

*Я к чему про всё про это:
боли, скорби и утраты –
что они если не вехи, отмечающие путь?
Ведь иначе-то, без болей,
милю пролетишь за милей –
и не вспомнишь, как летелось, где летелось и куда!*

*Так что я на Вашем месте
был бы счастлив хоть отчасти,
что приходит мистер Хортон и даёт Вам редкий шанс
измерять Ваш день бездонный
единицами страданий –
от страданья до страданья, это ли не благодать?*

*Вы отмечены особо –
так скажите мне спасибо
за попытки подраскрасить Вашу бледную судьбу!..*

И, размазывая слёзы
благодарности, я сразу:
Отвечал: «Ах, мистер Хортон, как Вас не благодарить!»

П р и с т у п в т о р о й

*– Между прочим, друг любезный,
где, как только не над бездной,
полноценно проживаешь ускользающую жизнь!
Ваши глупые попытки
полагаться на таблетки
умалют прелесть пытки – прекратите наконец...*

*Будьте, так сказать, мужчиной –
и покончим с чертовщиной
вроде всяких препаратов: это ж просто стыд и срам!
Встретьте новый тур улыбкой –
и покажется голубкой
боль, которая казалась ястребом полдня назад.*

*Вы же, видимо, не против,
если, массу сил потратив
на один весёлый приступ, Вы сумеете потом
на втором поэкономить?
Вы ведь знаете на память
Ваших болей расписание и сценарий Ваших мук.*

*Я не то чтоб ободряю...
просто сделайте игрою
то, что кажется кошмаром: поприветствуйте кошмар!*

*Если уж страдать, то с песней,
и причём отнюдь не с постной –
с настоящей, с походной... с маршем, тысяча чертей!*

*Как любой палач, я тоже...
мягок – и причём не реже,
чем какой-нибудь влюблённый с серенадою во рту, –
и совсем мне не отрадно
наблюдать, что Вам так трудно,
если я, допустим, спицей протыкаю Ваш зрачок.*

*Пытка в настоящем смысле –
как и прочие ремёсла –
тоже дело вдохновения, а не просто абы что:
ведь с надорванной душою
не сломать красиво шею –
так что в Ваших интересах душу мне не надрывать.*

*Так-то, друг Вы мой... короче,
сделайте же шаг навстречу:
усмехнитесь, пошутите – человек Вы или кто?
Мы ведь как иголка с ниткой –
но одной неточной ниткой
Вы способны всё разрушить, весь наш творческий союз!*

*Вы б попробовали лорду
Байфону соорудить морду
в тот момент, когда он пишет «Чайльд-Гарольда», например, –
не видать тогда нам «Чайльда»...
разве это не печально,
если Ваша морда – лорда вышибет из колеи?*

Тут и сам он впал в печальность —
и, нацеливаясь в челюсть
золотым своим кастетом, выразительно вздохнул.
И, хотя мне было тяжело,
я пропел ему частушку,
чтоб народная частушка ободрила палача.

Приступ третий

*– Так-то лучше, мой хороший!
Правда, этой вот парашей,
только что пропелой Вами, мастера не вдохновить.
И, хотя прогресс заметен,
слишком много красных пятен
на лице у Вас, а это неприятно наблюдать.*

*Вы поймите, Бога ради:
Ваших болей нет в природе —
это плод воображенья, выросший на пустыре!
Подойдёшь к нему поближе
и поймёшь, что большей блажи —
лажи! — не сказать ни в сказке, ни пером не описать.*

*Всё вокруг — одни мониста
в пальцах иллюзиониста:
дунул-плюнул-переплюнул — и пропало всё вокруг,
сколько ты потом ни ахай —
только кролик вислouxий
в лаковом сидит цилиндре, улыбаясь невпопад...*

*Кролик, как это ни глупо, –
явь, всё остальное липа:
ничего не существует, кроме кролика, – божусь!
Даже фокусник – подделка,
он продержится недолго
и исчезнет, а вот кролик – это вечно, это да!*

*Носом хлопни, слёзы вытри –
жизнь подобна лёгкой сутре:
спишь и видишь, а проснёшься – всё рассеялось давно,
носом хлопни, слёзы вытри –
ты сидишь в кинотеатре,
и механик полупьяный крутит плёнку не туда.*

*И вращаются колёса
в направлении от леса
о ту пору, как повозка едет строго в этот лес, –
но, пока Вы наблюдали
за повозкой, Вас надули –
и очиньтесь не в лесу Вы, а в пустыне, дурачок!*

*Так и тут вот: Вы на страже
Вашей боли... дескать, Боже,
сколько ж можно и доколе, чёрт бы всех бы вас побрал
с этим пеклом, с этой лавой!..
Вы же всадник безголовый –
голова болеть не может, если нету головы!*

*Хоть спросите у Майн Рида,
хоть у прочего народа!
Что майн риды, что народы скажут: так оно и есть –*

*а таких фантомных штучек
у отсутствующих точек
сколько хочешь: эти штучки хоть кого сведут с ума.*

И, вогнав мне гвоздь в затылок,
крякнул он: – *Психопатолог –
вот кто нужен Вам, пожалуйста, ибо Вы, голубчик, псих...*
Я б кивнул, даю вам слово,
но, когда ты безголовый,
получается, что, в общем, и не очень-то кивнёшь...

П р и с т у п ч е т в ё р т ы й

– *Что же...* – он взглянул победно, –
*спите дальше беспробудно,
если любите кошмары! Говорят, на вкус, на цвет...*
*Сон хорош, когда он вещий,
но... как собеседник спящий*
Вы мне малоинтересны, откровенно говоря.

*Сон уносит Вас отсюда –
ничего себе беседа,
если Вас почти что нету в поле зрения! Алло,
дайте мне хоть знак, что живы:
смотритесь Вы так паршиво,
будто без предупреждения дали дуба наконец...*

Кали так, то горько, горько...
*У меня вот тут есть гирька
небольшая, килограмма на четыре – нет, на пять:*

*Если Вас шарахнуть в темя
и спросить, как Ваше имя,
Вам же даже и не вспомнить – хоть горшком Вас назови!*

*Впрочем, имя... имя – немо,
боль терзает анонима,
ей с высокой колокольни наплевать, кого как звать,
ей что Вы, что... Чарли Чаплин:
каждый за полцента куплен
и готов служить ей – лишь бы не терзала без конца:*

*гимны петь; язык поганя,
говорить «моя Богиня»,
предварять любую прихоть, пребывая начеку,
спать в ногах и кушать падаль,
с бантом танцевать, как пудель,
и вылизывать ботинки – после дождичка (в четверг)!*

*Боль – Царица, Боль – Хозяйка
(«Знаю, больно... знаю, зайка!»),
только хлыстиком нацелит – станет шёлком кремешок!
Где уж там свобода воли –
тут одна свобода боли:
абсолютной, что твой разум абсолютный – мировой.*

*Кто Вы ныне? Вы игрушка...
деревянная матрёшка –
в недалёкой перспективе вся сходящая на нет.
Вот и прекратилась личность –
остатётся только вечность:
масса времени и места – заходите навсегда!*

*В этой массе Ваша масса –
небольшой кусочек мяса:
это мясо для разделки (для разделки под орех) –
дух скончался, разум помер...
как Вам мой блестящий юмор?
Я ведь лезу вон из кожи, чтобы Вас развеселить!*

*И, протягивая лапки,
я подобие улыбки
подарил ему на память – перед тем как ускользнуть
в бессознательную область...
Он сказал: – Merci за доблесть,
только я, прошу прощенья, задержу Вас на часок.*

П р и с т у п п я т ы й

*– То Вы распускали нюни,
то теряете сознание –
прямо царская невеста, а не гражданин страны!
Как же можно, извините,
на такой высокой ноте
взять и попросту исчезнуть – по-английски, так сказать?*

*Кстати, эти англичане...
Я бы сдох от огорченья,
если б чем-нибудь случайно сам бы их напоминал.
Старые комедианты!
Истерические бунты –
это дело их холёных рук – по локоть в перстенях.*

*Их дожди и их туманы,
разумеется, отменны,
или Тауэр, допустим, превосходный бастион,
или Кромвель – тоже душа,
или... эта нескладушка –
лимерик! – надёжней нету средства против стариков!*

*Но зато всё остальное
в этом самом Альбионе –
извиняюсь, Альбионе – просто оторви да брось:
королева с глупой фолью
ветхого мешочка с пылью,
пара пэров, пара сэров да с полсотни париков –*

*вроде как над стариками,
только их под париками
часто просто не бывает:хватишься – да где ж старик?
Обратишься к камеристке –
«Удалился по-английски!» –
...значит, то ли стрекача ли – задал, то ли дуба – дал!*

*Старики – они ведь прытки:
раз – и в дамки... то есть в предки!
И ищи потом по стенам – средь портретов родовых,
а на стенах – холст да масло,
то есть ни полпенса смысла:
сто балбесов в толстых рамах – и ни слова, ни гугу!*

*Что ни Авель, что ни Каин –
поглядишь: давно покоен –
и поди пойми, какой он был при жизни старикан!*

*Все надменные, как цапли, –
и не скажешь, что усопли,
будто правда удалились по-английски в мир иной...*

*Да и Вы туда же, впрочем...
дескать, так: возьмём и спрячем
нашу индивидуальность в некое небытие!
А другим одна досада –
как бы к Вам туда отсюда...
чтоб на все на Ваши муки поглядеть одним глазком!*

Я подумал: что за притча!..
я отважился напрячься,
ненадолго отложивши посещение мира грёз, –
и, почти теряя разум,
простонал: «Не верю грёзам!» –
чувствуя, как мистер Хортон водит бритвой по щеке.

П р и с т у п ш е с т о й

*– Вы, пожалуйста, дайте клятву,
что боготворите бритву,
потому что я иначе Вас не стану щекотать, –
ибо мне на самом деле
важно, чтобы Вы **хотели**
выйти за свои границы – захотите наконец!*

*Вы ведь в курсе, что граница –
это только то, что мнится,
что граница не снаружи, а наоборот – внутри?*

*Где поставишь, там и станет:
этот стонет – тот не стонет,
ибо взял и передвинул пограничные столбы!*

*Полицейские, таможня –
привиденья: как же можно
слушать тех, кого ты сам же сдуру и понаплодил?
Без тебя б тут было пусто –
и везде росла б капуста
или сахарная свёкла, скажем... на худой конец!*

*Никаких тебе туристов,
никаких тебе арестов,
никаких контрабандистов, перебежчиков и проч.:
вынешь линию из мысли –
и катайся сыром в масле
по всему по белу свету, ибо нет других границ!*

*Так и с болью: нестерпимо –
то, чему мы дали имя
«нестерпимое»... терпенью, значит, подведя черту.
А вот если б эта пытка
называлась «незабудка»,
Вас от пытки бы тогда бы за уши не оттащить!*

*Вот Вам вежа... или вешка:
мир – словесная ловушка,
Вы, мой милый, просто жертва Вашего же словаря,
превращённая в игрушку...
всё на свете понарошку:
позабудь значение слова – и рассеется предмет.*

*Всё на свете в Вашей власти,
и от радости до злости
расстояние – три звука, три мгновения пешком!
А от злости и до лести
(пусть хоть лопнут моралисты!) –
только два, причём пешком же... так сказать, рукой подать.*

*Нету «высшего закона» –
есть законы лексикона:
назовите дом тюрьмою – и не выйти за порог,
назовите дом ковчегом –
и, глядишь, под стать пичугам,
через миг, покинув землю, сядете на Арафат!*

*Ой, у Вас порез на шее...
впрочем, ранка небольшая
и едва ли помешает продолжать наш разговор...
Право, жаль, сказать по чести,
что Вы снова безучастны...
«Нет, – воскликнул я, – взгляните: я живее всех живых!»*

Приступ седьмой

*– Ох, как трудно Вам поверить...
но не буду лицемерить:
Вы на вид скорее живы, чем мертвы, да вот внутри
Вы щепотка брэнной пыли,
Вас сто лет назад отпели
и оплакали, а после с почестями погребли.*

*Право, Вы весьма умело,
хоть и не сказать чтоб мило,
игнорируете смертность и цепляетесь за жизнь:
это-то как раз и дурно,
ибо жить, как Вы, бездарно –
ради собственных мучений – не годится никуда.*

*Вам бы вот... ослабить хватку –
душу отпустить на ветку:
пусть чирикала бы птичка о прекрасном никогда,
где понятия не хранятся,
где не знают про границы...
там-то он Вас и обнимет, Ваш любимый Абсолют!*

*Там, уже не ерепенясь,
Вы поймёте: Вы японец –
Бога в боли ровно столько, сколько, например, в любви!
Обойдитесь сим примером –
и ступайте себе с миром
воплощаться в птиц и в кошек, кушающих этих птиц...*

*...чем сверлит меня глазами,
лучше бы сообразили,
что меж нами нет различий: Вы и я – одно лицо.
Вы к себе попали в лапы –
и претензии нелепы!
Хм... любой, кто притязает, истязает сам себя.*

*Полубуйтесь, как неловко –
в бровь себе воткнув булавку –
Вы случайно угодили, так сказать, не в бровь, а в глаз!*

*Полобуйтесь, как Вы сами
ножницами искромсали
ухо левое – притом что... ухо вовсе ни при чём!*

*Тут, по сути разобратсья,
не поймёшь, кому бояться –
тут такое происходит... просто сумасшедший дом,
где сцепились Хайд и Джекил, –
нож рассеянно завжикал
и вошёл куда попало... – и не вышел никуда!*

*А толпа кричит в запале:
дескать, так **кого** убили? –
о ту пору, как на деле не убили **никого!**
Просто нож пропал из виду –
словно в вату, словно в воду
вместе с чьей-то глупой жизнью... но никто не пострадал –*

*только целое на части
разнесли в порыве злости
или мести... или грусти – что, конечно, всё равно!
Тут, стряхнув слезу с бородки,
он добавил: – **Всё в порядке**, –
и, обняв меня за шею, стал затягивать петлю.*

П р и с т у п в о с ь м о й

*Вдох – и выдох, вдох – и выдох:
мы пока в нейтральных водах,
так что нечего бояться – смело следуйте ко дну.*

*Здесь обычно очень тихо –
и, заметьте, вся потеха
в том, что здесь Вам не помогут, ибо здесь – это нигде!*

*Здесь Вы выбыли из списка,
и теперь Вы только тёзка
самому себе, а значит, Вас в нейтральных водах нет!
До свиданья, единичность:
раз конечность, два конечность,
но за ними – бесконечность, то есть просто пусто-та.*

*Так скажите мне на милость,
не к тому ли мы стремились
полчаса назад, по мере продвижения к концу –
в Ах-прости-прощай-пространство?
Это ль, друг мой, не блаженство –
провалиться (кроме шуток!) в промежуток, ха-ха-ха...*

*Вот свобода так свобода,
вот победа так победа
над привязанностью к месту: безвоздушная среда!
Как Вам Ваша невесомость,
Ваша несоотносимость
с тем, что прочно и надёжно и имеет место быть?*

*Вы абстракция пустая,
точка-точка-запятая-
палка-палка-огуречик-под-названием-челове-
чек... такая просто мошка,
хоть и видная немножко,
но при всём своём «немножко» эфемерная вполне.*

*Дунь на Вас – и Вас не стало...
То, что вытеснило тело,
было не другое тело, как учил нас Архимед,
а – простите – праздный воздух:
на особенно нервных
только дунуть – и готово... так сказать, и след простыл!*

*Вы тут, скажем по секрету,
ожидаете карету
скорой помощи – с бригадой из двух тысяч человек
(тот со шприцем, тот со шлангом,
этот – с медицинским сленгом,
и сестричка милосердья – со слезами и в соплях):*

*как навалятся всем миром,
как дадут фрозда химерам
Ваших адовых страданий – только щепки полетят!..
Вот тогда-то мистер Хортон,
дескать, и взовьётся чёртом
на горячей сковородке... как бы, милый мой, не так!*

*Эти чудо-черепашки
из районной неотложки
у меня на договоре, я плачу им по чуть-чуть,
чтобы на своей тележке,
через час по чайной ложке...
Эй, чему Вы рассмеялись?
Я махнул рукой: «Да так!»*

Приступ девятый

– Шутки шутками, а всё же
было бы совсем негоже,
если Вы бы тут, к примеру, взяли и сошли с ума!
Видеть муки идиота
слишком тяжело для эстета,
каковым себя, надеюсь, я зарекомендовал.

Тут ведь правило такое:
я обычно беспокою,
так сказать, не обделённых, а убогих – никогда.
Надо быть совсем отпетым,
чтоб, глумясь над идиотом,
наслаждаться точно так же, как над прочими глумясь.

Это, я скажу, мученье –
развлекаться под мычанье
существа, неадекватно выражающего боль:
как животное тупое...
бессловесно свирепея
и всё дальше отступая от понятия «человек».

Тут, пожалуй, поневоле
вспомнишь о культуре боли:
homo sapiens на то он homo sapiens и есть,
чтоб страдать не как попало –
чтоб душа при этом пела! –
и осмысливать мученья, – так учил нас старый Франкл.

Боль красива, если тело –
совершенная система,
где любой из произвольно взятых жизненных узлов

*служит выражению муки...
впрочем, никакой науки
тут не требуется вовсе – требуется лишь контроль.*

*В свете этого контроля
наш кретин в кошмарной роли
растерявшегося вепря – незавидный образец:
тут уже не до изыска –
тут... спасайте недоноска –
не по нём такая встряска, он сейчас концы отдаст!*

*А меня как гуманиста
это убивает просто:
запредельное насилие откровенно мне претит,
между тем как Ваша участь –
или, так сказать, живучесть –
собственно, располагает распоясаться вконец.*

*Так, наверно, и поступим,
потому как с вашим типом
церемониться излишне: Вас сам Бог велел терзать.
Так отрадно видеть разум,
по страданью, как по розам,
путешествующий – с тростью, бабочкой и в котелке!*

*Тут-то он и поддал жару:
стул подвинув к абажуру,
вывинтил оттуда лампу и прижѐг мой потный лоб,
а потом воскликнул бодро:
– Доброе, дружище, утро!
Ночь прошла, погасим свечи, – здравствуй, здравствуй, новый день!*

Приступ десятый

– Продолжаю: Вы, наверно,
как и все мы, суеверны –
дескать, как там говорится: день минувешь – год живёшь...
Только день гораздо чаще
ночи адовой почище:
подкрадётся и – как влечит не спросясь промеж ушей!

Нам бы всем понять однажды:
так соврать, как врут надежды,
мало кто соврёт на свете, хоть его озолоти, –
не успеешь оглянуться –
перепрыгнута граница,
но за нею снова ужас: тот же, что и перед ней.

Думал: после этой ночи
всё окажется иначе,
да откуда же «иначе» взяться, строго говоря,
если шаг идёт за шагом?
А что кажется зигзагом –
состоит на самом деле из коротеньких прямых.

Берегись пустой котомки:
не бывает «раз – и в дамки»,
запасись водой и хлебом, улицу переходя!
Кто ж поручится, разиня,
что на самой середине
ты случайно не забудешь, кто ты и куда идёшь?

Долог путь твой, человек, –
лишь в конце его, маяча,
некое подобье цели возникает, но оно,

*некое подобье цели,
там пока ещё не в силе –
и, качнувшись одиноко, расплывается опять.*

*Жизнь, она ведь кто? – Улитка!
Так на что Вам Ваша плётка?
Сколько ни хлестай улитку, а улитка тут как тут –
неподвижна, точно мантра:
ни на четверть миллиметра
не сместилась за полсутки, а всегда была в пути...*

*слава Богу, хоть не пятясь!
Так что Вы не торопитесь
попередь другого в пекло, ибо пекла хватит всем
и сгореть мы все успеем –
значит, не берите с боем
новый день: того не стоит ни один из новых дней.*

*Я вот тут припас осколок –
и сейчас на Ваших скулах
напишу осколком этим парочку бессмертных строк.
Только, чур, не суетиться:
муки ведь не сократятся,
оттого что Вы всё время вырываетесь из рук!*

*И с весёленьким оскалом
он повёл своим осколком
по скуле – сначала левой, к подбородку устремясь...
Я зажмурился, но это
не понравилось эстету,
и, плеснувши спирт на вату, он протёр мои глаза.*

П р и с т у п о д и н н а д ц а т ы й

*– Вы какой-то прямо страус! –
крякнул он, с глазами справясь. –
Чуть завидите опасность – сразу голову в песок...
А опасность терпелива –
и, не говоря ни слова,
сядет рядом на пригорке и охотно подождёт.*

*Голову придётся вынуть –
не в песке же ей увянуть!
Захотите отдышаться, а опасность тут как тут:
Вас-то я и поджидала,
принимаемся за дело, –
и... как примется за дело, как возьмёт Вас за грудки!*

*Значит, так, мой драгоценный,
пропитайтесь этой сценой
и потом не говорите, что я не предупреждал:
может всякое случиться,
ни за что нельзя ручаться –
страусиные повадки не приводят нас к добру.*

*Не отсрочивайте казни,
то есть не чините козни
времени: оно не любит ждать или плестись в хвосте
за событий чередой –
так что даже чародею
не удастся увернуться от тяжёлых жертвов.*

*Всё всегда идёт по плану –
я без плана и не плюну...
есть священный распорядок, расписание часов:*

*раз настало время, субчик,
Вам отплясывать галопчик,
то отплясывать галопчик лучше сразу и начать!*

*Вот... так, стало быть, давайте
поскачите по кровати –
это очень освежает, уж поверьте старфику,
мы – тем более – не вправе
допустить застоя кровяи,
ибо, помните, в движеньи – кто там? – мельник жизнь ведёт!*

*Так что мы сейчас попляшем –
чем, должно быть, и утешим
наш недуг: спросите предков, предки в этом знают толк, –
бросьте Ваше полотенце
и отдайтесь ритму танца
ритуального – так в прошлом болям ставили предел.*

*Это, потерявши память,
только после стали думать,
будто танец есть искусство... дудки, дудки, господа!
Танцем заклинали духов,
чтоб, поохав и поахав,
дух – положим, дух недужный – убирался с глаз долой.*

*Дух ненужный, дух недужный –
дескать, друг мой ненадёжный,
мы с тобой в кругу попляшем, потягаемся с тобой –
и так далее... И тут он –
прутиком железным, гнутым
по лицу хлестнул мне – так, что... я без слов пустился в пляс.*

П р и с т у п д в е н а д ц а т ы й

Принявшись беситься с жиру,
он вскричал: – *Поддайте жару!*
Больше жизни, больше страсти, больше муки, наконец!
Два-притона-три-прихлопа –
это выглядит нелепо,
это просто, извините, ерунда и детский сад...

Станьте вихрем, станьте бурей,
не висите глупой гирей,
я ценю в движениях лёгкость... грациозность, чёрт возьми!
Ну и что, что Вы в пижаме?
Двигайтесь в другом режиме:
Вы теперь не Вы, мой милый, – Вы какой-нибудь цыган!

В Вас полно горячей крови,
свещет ветер в Вашей гриве,
в Вашем взгляде блески молний, всплески помрачённых вод,
Ваших рукавов раструбы
поднимаются до неба,
Ваши клёши – словно флаги, а не эти две клешни...

Обезумьте, одичайте,
под собой огонь почувте –
Ваши пятки лижет пламя, Вы взвиваетесь, как дым,
надо мною, над собою...
и тогда уже любую
форму примет Ваше тело – там, где формы больше нет!

Просто раствориться в сущем –
не того ли все мы ищем?
Не к тому ль идёт тихонько наша старенькая жизнь,

*чтоб развеяться над миром –
серым пеплом, сизым паром –
и, исчезнувши из виду, позабыть саму себя?*

*Так за что же тут цепляться?
Нам досталась не теплица,
мы в геенне, мы пылаем, мы трещим... ну, пусть не **мы** –
пусть хоть **Вы**: во искупленье
ввергнутых во исступленье
обывателей, которым не дано высоких мук!*

*Думайте, что Вас распяли, –
опадите горсткой пыли
с перекрестия на спины человек, павших ниц
перед красотой распятия, –
и тогда смогу воспеть я
принесённого им в жертву одного из них... аминь.*

*Неужели Вас, скотина,
не прельстит сия картина,
эта дерзость перехода из огня да в полымя?
Полно шлёпанцами шлёпать –
мне противна Ваша копоть:
или Вы уже горите, или хватит тут коптить!*

*Тут, от праведной от злости,
бросил пруттик он и – к трости:
развернулся, присмотрелся и ударил точно в цель –
в переносицу, и здесь я,
вмиг лишившись равновесья,
понял, что лечу: наверно, в край, где формы больше нет.*

*

Ах, где тонко, там и рвётся —
с прямою очевидца
говорю я вам отсюда, из страны Нитутнитам:
здесь живут одни лишь души,
пропадающие в бреши
между жизнью и не жизнью: здесь покой и тишина.

Здесь поэзии начало:
боль навеки отзвучала,
ибо наше с вами сердце отстучало навсегда —
это значит, что отныне
у души не стало няни,
то есть плоти, — и в полёте пребывать теперь душе.

Нет ни радости, ни скорби
там, где мы на нашем скарбе
ставим крест и нам не нужно ровным счётом ничего, —
ты лети, лети сквозь время,
над лесами, над горами,
невидимка, нелюдимка, дымконосная душа!

Не заглядывая в ноты,
сочиняй себе сонаты —
не сонаты, так сонеты или прочие стихи, —
им неважно, что снаружи:
у сонаты нету кожи,
у сонета нету кожи,
нету кожи у души.

Поселись себе над миром —
и не ба́луйся кошмаром
бытия: оно телесно, а где тело — там и смерть.
Будь незримым, будь эфирным,
не служи тяжёлым формам,
ибо формы не бывает в разрежённых небесах!

Это дьявол в адской лавке
сам не свой от упаковки —
всё пакует и пакует всякую пустую суть
в развесёлую бумагу,
ты же обращайся к Богу:
Бог и так тебя увидит, Бог и так тебя найдёт!

Он тебе протянет руку —
и проводит через реку
в то пространство, где всё сразу называется «покой»:
у него там всё бесплотно,
всё бесплотно, всё бесплатно —
и без всякой упаковки: нечего упаковать!

До свиданья, мистер Хортон,
Всем привет — живым и мёртвым!
Что же до вина и торта — заберите их с собой.
Вечер близок, солнце село —
попируйте, значит, соло:
жертвам, друг мой, не пристало с палачами пировать.

Всё вокрут — одни мониста
в пальцах иллюзиониста:
дунул-плюнул-переплюнул — и пропало всё вокрут.
Да и было ли? Едва ли:
только лёгкий привкус соли
неотчётливо напомним о не бывшем ни-ког-да.



САМИ СЕЛИ НАПИСАЛИ

1997–2001

* * *

Сами сели написали,
сами встали разыграли —
под одними небесами
между разными мирами.
Шляпа с перьями намокла,
платье выглядело ветхо.
На тарелке недомолвка —
вся кривая, как креветка.
Как бы этак бы отсюда —
мелким бесом, пешей сошкой!
Тут бумажная посуда —
вкупе с пластиковой ложкой...
А на тоненькой свирели
мы играли не вчера ли
боже-что-мы-натворили,
но свирели леденец
тает на устах ничейных,
тает на необычайных,
и поёт весёлый чайник
вот-и-сказочке-конец.

* * *

До чего же нелепая буря:
всё разрушить, всё переломать!..
Я хочу на ту сторону моря,
где могли бы меня понимать.

Волны, птицы, пустынные пляжи,
волны, птицы — и волны опять...
Там, наверное, всё это то же,
но могли бы меня понимать!
И кормили б домашним вареньем,
и поили б домашним вином,
и не знали бы мы, что стареем,
что ветшает страна, сад и дом,
и чудесная нить разговора
всё тянулась бы времени вспять —
я хочу на ту сторону моря,
где могли бы меня понимать...
где, как в старом и глупом романе,
было б плохо, но сносно вполне,
где могли бы... да не понимали,
когда я был на той стороне.

* * *

На каком бы языке обратиться к этой птице?
На каком ни обратись — не ответит, не поймёт,
а возьмёт да улетит — и уже не возвратится:
птицы — ветреный народ, очень ветреный народ.

Я хочу поговорить — ни на чём не спотыкаясь,
на безмозглом языке, на молочном языке:
слов пятнадцать — двадцать пять — я поплачу, и покаюсь,
и напьюсь, и захлебнусь в этом бурном молоке.

Я хочу поговорить — и не то чтобы о чём-то,
и не то чтоб о своём, но без всякого стыда,
я хочу поговорить — быстро, путано, нечётко:
половина слов внутри — половина где когда.

Ах, кому бы никому: Богу, чёрту, лексикону —
свечка, печка, кочерга — всё равно, что есть — то есть!
Я хочу поговорить, только не по телефону...
Лучше как-нибудь не так.
Лучше где-нибудь не здесь.

* * *

Твои мысли — в тучах,
в твоём небе — немочь,
дорогой Тут Тутыч,
дорогой Там Тамыч!
Строчки не напишешь,
пары слов не свяжешь...
крыльшками машешь —
улететь не можешь.

Голубю учиться
страсти ястребиной —
в верности отчизна
покаялась чужбиной,
бабочка с Тибета
залетела в улей —
в вечности свобода
покаялась неволей.

Метка инородца —
кровью на сорочке:
близнецы дерутся
у зеркальной речки.
А земля громадна —
сколько хочешь ссорься,
и нигде не видно
солнца или сердца.

2004

Д В Е Н А Д Ц А Т Ь П А М Я Т Н И К О В

1

Если не вглядываться в полутьму,
а так... идти в полутьме —
там будет памятник одному
слову у нас в уме:
маленький памятник Слову Дом —
верхом на лихом скакуне...
но он за берегом, за мостом,
на другой стороне.

Его пьедестал — прибрежный песок
да красной глины комок,
и он не низок и не высок —
точно как теремок.

Но тот, кто этим путём ведом,
увидит наверняка
маленький памятник Слову Дом —
издалека.

Некий возвышенный произвол —
нежен и белокрыл —
как-то, играя, его возвёл
да и забыл,
что пьедестал его из песка...
Боже, помилуй нас —
всёх нас, идущих к нему, пока
он не исчезнет из глаз.

2

Памятник Бабочкиному Крылу
маленькой улочки на углу —
там, где в проёме портала,
кажется, и пролетала
бабочка пару столетий назад.
Этот торжественный эпизод
запечатлён в граните:
в образе лёгкой сети
тонких, как чайный фарфор, улик —
прожилок, сбегавшихся в узелок.

Бабочка, бабочка, тяжёк гранит —
тяжёк гранит, да с землёю роднит.
Бабочка, бабочка, сердце легко —
сердце легко, да парит высоко.

Только наладятся в мире дела —
тут же у Бабочкиного Крыла
встретятся, всё ещё юны,
Первой Любви ветераны:
будет оркестра старинная медь
снова смеяться, рыдать и неметь —
словно бы и не заметя
пары минувших столетий.

3

Трудно смотреть без улыбки
на памятник Ореховой Скорлупке —
шлюпке посреди океана,
победившей два урагана!
Из чего она только сделана,
что миры перед нею ветхи?
Из какого железного дерева,
из какого дерева Бодхи?

Из какого нежного пафоса,
из какого крепкого лотоса,
что стихия пред ней — любая —
на коленях стоит, робея,
и не может слова сказать?
И что толпы прибрежного люда,
в океан закинувши сеть,
ждут своего чуда?

На воде золотая тропка,
уходящая в небеса,

где Ореховая Скорлупка
подняла паруса —
и по этой тропке, как посуху,
жизнь поднимется на корму
и поклонится мачте как посуху —
пилигримскому.

4

Остановил на лету строку
солнечной бронзой
памятник Поющему Тростнику,
ух, какой грозный! —
Полное внутренней синевы
полое тело,
все они, все они таковы —
небесные стрелы.

Но памятник Поющему Тростнику
возьмёт первую нотку —
выплеснет радость или тоску
на одну минутку
и — опять молчать, хоть ты тут умри:
мне — что... я осока!
Да мы-то знаем, что у него внутри
заключена музыка.

И с дальнего поля, с дальней реки —
по одиночке и в свите —
скоро сюда принесут венки
птицы и дети,

сядут к подножию — и тогда
жизнь городская
в дырочках зажурчит, как вода, —
не умолкая.

5

Говорят, что, когда рассеется дым,
будет виден во сне глубоком
памятник Параллельным Прямым,
пересекшимся ненароком:
памятник двум глупым прямым —
легкомысленным пешеходам хромым,
столкнувшимся на переходе
при всём при честном народе.

Мы всегда идём, не видя куда,
мы всегда запутываем провода:
то ли это по дурости, то ль с тоски —
но потом на всех проводах узелки
и уже ничего не поправить,
и короткая наша память
говорит, что всегда у нас всё не так,
и не может распутать моток.

Но мы подождём: пусть рассеется дым
и пусть проступит из дыма
памятник Параллельным Прямым,
порознь ушедшим из дома,
попавшим в вокзальную кутерьму,
потерявшим друг друга в сизом дыму

и — волею странника-Бога —
опять нашедшим друг друга.

6

И не спрашивай, как дела:
дела — как сажа бела.
Вот памятник Пятой Ножке Стола,
которая слишком мала:
подложить под неё картон —
и навеки забыть о том,
что угл, мореплаватель, твой челнок
и стол, увы, колченог.

По памятнику Пятой Ножке Стола
ночами бежит смола:
это значит, что жизнь его не весела,
но — какая бы ни была,
а всё же блестит серебристая нить —
и есть о чем вспоминать...
На то ведь и мраморная доска,
чтоб память была крепка.

У памятника Пятой Ножке Стола
какого-нибудь числа
соберутся все, кому не нужна
ни ширина, ни длина —
а о чём уж они начнут говорить
и что потом начнут вытворять,
взлетевши на небеси, —
об этом у них и спроси.

Я забыл, в каком возвели веку,
но не в этом, по крайней мере,
памятник Телефонному Звонку,
прилетевшему из-за моря, —
тогда жизнь пошла лепить кренделя
из уже забродившего теста —
и в окно ввалился нос корабля,
глядя в сторону норд-веста.

Ах, звонок телефонный наделал дел!..
Он сразил наповал бывшее,
он грозил, умолял, хохотал, рыдал,
он сломал на окне алоэ,
он всё звал на охоту, на смерть, на бой,
звал на пир — по ковшу на брата! —
и увёл нашу старую жизнь с собой,
и уже не привёл обратно.

А теперь уж всё ему нипочём —
и с тяжёлым каменным пылом
он летит, подавшись вперед плечом,
на коне на своём на белом,
и спешат к нему, под его трезвон
люди со всякими мелочами —
и кладут к подножью со всех сторон
свои минуты молчанья.

Для чего по сто раз на дню
памятник Блуждающему Огню
меняет свои очертанья —
это большая тайна.
Её знают скульптор, да городской,
да старик на башне сторожевой
под шляпою порыжелой.
А больше никто, пожалуй.

Но к тому Блуждающему Огню
всё равно приятелей и родню
водят гордые горожане,
зачарованные миражами,
потому как Блуждающий сей Огонь —
каждый миг бывает совсем другой,
и обычно приятели и родня
без ума от того Огня.

Но среди приятелей и родни —
тоже лишь блуждающие огни,
да и все мы блуждающие огни —
бирюльки вольного ветра,
и совсем-то нету у нас корней,
и мы вечно заняты всякой фигнёй,
наше утро вечера мудреней —
но ещё далеко до утра.

Брови сдвинуты, губы подведены,
в лице — ни кровинки:
это памятник Половинке Луны —
невидимой половинке.
Он тут самый высший авторитет,
ибо жизнь такая...
Его любят голуби: прилетят —
и сидят, воркуя.

Он, должно быть, и создан для голубей —
приземлиться где бы.
Ибо... сколько в небе ни голубей —
не получишь неба.
И земля, она всё равно родней, —
говорили птицы, —
хоть и мало свободного места на ней,
куда примоститься.

А у памятника Половинке Луны
места в достатке —
хоть пиры пировать... с любой стороны
летя в беспорядке:
чтобы Бог напитал — никто не видал, —
из невидимой плошки,
чтобы Бог напоил — никто не следил, —
из невидимой фляжки.

А теперь подойдите к этой черте
и замрите у этой черты:
перед Вами памятник Долготе —
в честь Восточной, небось, Долготы.
О ту пору, как Запад собран и строг, —
в стороне от него, простак,
безалаберно розовеет Восток,
медлительный наш Восток.

Не кручиньтесь о том, что на данный момент —
вот на этот самый момент —
здесь стоит пока один постамент,
но зато каков постамент!
И уже неважно, когда вознесут
на неспешный зрительский суд
прямо в самое небо ленивую ту,
ту Восточную Долготу.

Мы давай придём сюда — постоим
и положим пару гвоздик
ко всем несбывшимся планам твоим
и к тому, чего я не достиг,
и начнём, как два дурачка, танцевать:
ничему никогда не бывать!.. —
ибо всё на свете только мечта
и Восточная Долгота.

Памятник Паровозному Свистку —
всаднику на полном скаку,
всаднику в облаках
и с облаками в руках:
Звук — это имя, а больше-то что ж...
с имени ничего не возьмёшь:
жизнь просвистела — такая юла! —
и не поймёшь: а была?

Как же нас звали-то в школьном дворе... —
только разбойничий свист на горе,
где паровоз растворился в дыму
и где ничто ни к чему,
а уж свисток... — он давно подустал
и, вознесённый на пьедестал,
больше не хочет пронзать тишину —
только вздыхает: да ну!..

Жизнь просвистела, гора высока,
сядем, дружок, у подножья Свистка,
сядем, закурим, чтоб сизый дымок
нам ни в чём не помог!
Лучше б тогда мы на полном ходу...
впрочем, не надо болтать ерунду
у священного места,
у высокого свиста.

1 2

Золотая капля на тонкой лозе —
на каменной тонкой лозе:
это памятник Последней Слезе,
самой Последней Слезе.
Уже трудно вспомнить, кто горевал
и в какой горевал связи,
но в штыки почётный стоит караул
у подножья великой Слезы.

Это значит, что никакая власть —
ни на небе и ни внизу —
не заставит эту слезу упасть
и не тронет эту слезу,
и уже никакая на свете грусть
не уронит её в рукав,
ибо место этой слезе не здесь,
а где-нибудь в облаках.

Завтра пушки начнут на заре палить
в честь победы и бирюзы —
чтобы нам с тобою уже не пролить
никогда ни одной слезы:
и в дыму кромешном опять и опять,
устремляясь то вверх, то вниз,
будет с тихой улыбкой мелькать Господь,
выплакавшийся за нас.

2005

* * *

Мне отсюда не видно, как там.
Мне отсюда не слышно, как там.
Я отсюда бегу как могу
каждый день, но никак не могу.

В кулаке моём воздух и дым.
В кулаке моём маленький дом,
где могли бы зажить мы вдвоём,
да какое там — не заживём.

Та страна, та большая страна,
где мне грош или меньше цена,
от меня далека, как луна.
Как луна, где мне та же цена.

* * *

Ах, поскачи, голубчик...
башмачков не стоптав:
твой золотой галопчик —
он и есть твой устав.
Ты, по его законам,
из кульбита в кульбит —
ласточками подкован,
сквознячками подбит!
В шляпе своей нелепой
с серебристым пером
сыпешь пустой синкопой
по долам, по горам,

сыпешь пустым горохом,
не считая минут,
молишься праздным птахам,
что не сеют, не жнут!

Да сохранит в секрете
твой галопчик, твой конь,
что же ты есть на свете
за голубчик такой!
Этакий не успевший
к торжеству дурачок,
этакий всё пропивший —
скрипочку и смычок,
этакий вечно нищий
припозднившийся гость
этакий изменивший —
всем, кому довелось:
Правде своей и Кривде,
птице-говору,ну,
Сцилле и с ней Харибде,
золотому руну...

Выскользнул из сказанья —
не заметили как:
всюду тебе везенье
и удача в руках,
все обманул ловушки,
обогнул все силки,
завтракал на опушке,
у прозрачной реки,

сгинул — и нет печали!
Только мир и слышал,
как башмачки стучали,
как галопчик порхал...
возраст тебе не возраст:
пять минут — пять веков:
хватит в пространствах звёздных
музыки и подков!

2004

* * *

День прячется в глухую щель —
стремглав, как заяц.
И ночь касается вещей —
едва касаясь.
Тут вечера в помине нет:
тут переходы —
от света к тьме, а полусвет —
не той породы.

Мы говорим тут «нет» и «да» —
и только это.
Мы не даём себе труда
хранить секреты.
И нам простить и не простить —
одно и то же:
мы отпустили наших птиц
на небо Божье.

Мы разможили все узлы
ручной гранатой,
назад хулы и похвалы
отдав с доплатой,
и враг — наш лучший друг, а друг —
враг самый лучший,
нас берегут Небось и Вдруг —
судьба и случай.

У нас в карманах облака —
пустая ноша,
а за душой — одна строка,
и та не наша —
но, никогда её со дна
не доставая,
мы твёрдо знаем, что она —
пока живая.

Забудьте наши имена:
мы безымянны,
в базарный день нам грош цена:
одни изьяны!
Но если можно нас продать,
то только — Крезу,
а если можно нас предать,
то только сразу.

Ах, всё неважно, всё пустяк —
и всё в порядке...
А если что у вас не так —
с нас взятки гладки:

вини нас, грозный судия,
в одной печали —
что не простились уходя,
как обещали.

* * *

Не начать ли сразу набело —
где-нибудь совсем в сторонке?
Не купить ли себе ангела
на рождественском на рынке?
Есть со свечкой или с дудочкой,
есть со свитком или с чашей,
есть с молитвой — руки лодочкой —
или просто так летящий.
Хоть один да уголит твою
грусть-печаль в её зените:
мне вот этого, с молитвою,
заверните... извините!

И — на золочёной ниточке —
быть ему в моём бедламе
чем-то вроде пограничника
за закрытыми дверями,
чтоб реальная действительность —
страсть и всякое такое,
с чем сто лет уж как не виделись, —
не нарушила покоя.

Так и будем жить за тридевять
километров от границы:
я — уча его постреливать,
он — уча меня молиться.

ВСЕВОЛОДУ АБДУЛОВУ

1997

Мы будем жить сегодня безголосо,
как лунный свет, как солнечный, как камни,
как всё, что молчаливо: как деревья,
в конце концов, как книги и другие:
как облака, цветы или трава.

Мы всё поймём, не проронив ни звука,
в ответ на рыки раненого века,
в ответ на рыки раненого царства,
бросаясь им на помощь, погибая
и молча следуя — по назначенью.

А после мы придумаем слова.

2 0 0 7

В гулкой области светлого недалёка,
где летит камешек, брошенный в глубь колодца, —
там живой голос мёртвого человека
по пятам за мной ходит — и поёт, и смеётся.
Он немножко навеселе: у него праздник,
у него беломор в зубах — беломор-узник,
у него кружится голова, у него праздник,
но уже погнулся в груди золотой гвоздик:
по нему слишком долго стучал кулаком молот,
и на стук откликались озвучка, прогон, спевка...
А потом человек этот умер: для всех — молод,
и для всех, разумеется, жив, и для всех — Севка.
Севка-бурка летал над землёй, из ноздрей — пламя,
и на всякий мой зов отзывался, и был рядом,
и сияла звезда его легкомысленная над нами —
неизвестно, как звали её и отколь родом.
Мы носились вдвоём по Москве изо всех тяжких,
за собой его голос возя и мои сказки, —
и отныне я слышу тот голос во всех чашках,
в каждом блюде, в тарелке любой и в любой миске.
Севка-бурка ты мой, безотказный ты мой каурка,
я приеду в Москву и тебе подарю утро,
выпью водки с тобой и выкурю сигарету,
пока нет никого на кладбище — и уеду.
...исчезаем навеки, всё к чертям обрубаем
и веками скитаемся под неправильным флагом —
но звучит нам высокое соло для часов с боем,
постепенно сбиваясь на соло для часов с богом.

Г О В О Р И Л А О Л И В И Я

1

Говорила Оливия: это место такое...
голубиных источников каменная воркотня,
говорила Оливия, миф поправляя рукою,
говорила Оливия: поживи у меня.

И порхали слова её пестрыми голубями,
и на платье её цвели невменяемые цветы,
и поблизости — в каменной, правильной формы яме —
бил крылами источник немислимой красоты.

А счастливые жители — надо ж так нарядиться! —
ей согласно кивали, наполняя бадьи
прихотливыми брызгами сельтерского парадиса,
и по воздуху плыли их бадьи, как лады.

Это место такое, где непреклонные скалы
источают медлительно свою нежную злость,
где у некоей Клары Карл украл минералы —
и, наверное, с этого всё вообще началось.

Только ради фонетики, волшебного пустозвонства
я бы и поселился здесь — до скончания дней,
и уж несколько брызгов рукодельного производства
перепало и мне бы от мастеровитых камней.

Ах, на воды, на воды, дорогие мои... ах, на воды —
Баден-Баден бадьями вычерпывать и без конца здороветь,

ублажая Оливию и извлекая из горной породы
третью треть своей жизни... четвертую, пятую треть.

2

Говорила Оливия: для чего тебе эти заметки —
всё тут слишком текуче, попробуй-ка уследи...
а потом, здесь Германия, здесь говорят по-немецки,
говорила Оливия, стоя Германии посреди.

Да и правда, Оливия! Слишком вредная это привычка —
регистрировать сущее, переходящее в грусть,
слишком бочка пустая, чтоб к ней полагалась затычка:
всё давно уже вытекло — пусть...

Но зачем ты сама тогда безутешным кувшином
ловишь тонкие нити — струистую память воды,
каждый день путешествуя к остроконечным вершинам,
пополняя попутчиков дружественные ряды?

Вспомни: нет ничего — ускользнуло, прошло, усочилось,
утончилось и высохло, и не осталось следа,
и теперь на том месте — только чистая велеречивость,
безупречных вокабул стремительная череда.

Только слушать да не понимать — тараторящий некто
упражняется в гулком, сошедшем на нет языке,
в каменистости дробного высокогорного диалекта —
цицероном немецким, от слушателей вдалеке.

Всё на свете история — очевидцы поумирали от здоровья, наверное... а живая вода — это только катящиеся им вослед минералы кисловатого вкуса, напоминающего «тогда».

3

Говорила Оливия: тут ведь водятся гномы — я, конечно, не видела... но некоторым довелось, говорила Оливия, между тем как у самого дома этих гномов висела целая праздная гроздь.

Гномы были в обычных, красно-зелёных, одеждах, а висели на окнах — полагая, что не видны: эти гномы... они ведь любители поглазеть на приезжих, на приезжих особенно с *той* стороны.

Между прочим, я тут наблюдаю их повсеместно — их и правда великая прорва: куда ни взгляни — непременно наткнёшься на счастливое их семейство, вечно полное всяких шалостей и возни.

И, понятное дело, никакие на свете камни не способны очнуться и никогда не начнут ничего источать, если гномы своими руками их однажды, тайно от всех, не очнут.

Вот и бегают гномы со свёрлами, с молотками — там провертят дыру, тут проломают ходок — и вода начинает, значит, дырами и ходками пробираться на свет, что Оливии невдомёк.

Ей гораздо понятней про податливость минерала,
чем про гномов, про свёрла, про молотки...
Впрочем, ладно, Оливия, это всё мне вода наболтала —
бестолковые сельтерские ручьи, ручейки.

4

Говорила Оливия: ты себя не узнаёшь
через пару недель в минеральном этом раю,
ибо в каждом из нас есть одна потаённая залежь,
говорила Оливия.
Я себя узнаю.

Это пытка, Оливия: счастье бабочки-однодневки,
два весёлых крыла — и крохотная голова...
Всё засады кругом — всё подачки, подарки, обновки,
Бог всецело доволен собою, и жизнь розовá.

Научись только топтать в башмаках своих деревянных
за здоровьем за сельтерским, ёмкостей прихватив, —
и забудешь навеки обо всяких морях-океанах,
отпихнув башмаком приبلудившийся где-то мотив.

Я себя узнаю: я треплюсь с убегающей струйкой
о куда-убежать, о когда-убежать, — и она,
убегая, смеётся — серебристою крохотной змейкой
над пустыми заботами птицы-говоруна.

Золотого руна не найдётся ли — хоть бы и сколько:
на щепотку, Оливия, на полщепотки, на грош?

Чтобы ветры рыдали и было на палубе скользко:
скользко так, что того и гляди — упадёшь... пропадёшь!

Я себя узнаю: я ловлю серебристую змейку —
безвозвратный побег в незаметную трещинку дня.
На полтинничек прошлого, будущего на копейку —
где-то есть за душой, где-то спрятано у меня.

5

Говорила Оливия: поживи до субботы,
поиграй в отдыхающего, поиграй в короля!
Минеральной воды твоей, минеральной свободы
я напился до одури, Сельтерская земля.

Наше дело такое... дело кислое наше:
эти искры выстреливают пустотою тоски,
мы сломались заранее — лишь в предчувствии ноши,
и весёлые, полые лопаются пузырьки.

Я учился в земле этой множеству точек:
все итоги подвёл, все счета подписал —
и журчал исторически минеральный источник,
безуспешно подпрыгивая к небесам.

Наши карты, Оливия, получается, биты —
и пора мне с орбиты твоей прочной души
в средиземные воды наступившей субботы
на случайной лодчонке такой...
Пиши.

2002

ОБЕД ИЗ ДЕСЯТИ БЛЮД

Вот как тонкая лодка, как маленький струг сизокрылый проплывает по небу... ну, ладно, пускай не по небу — проплывает *над нами* тарелка с далёкой планеты... хорошо, не с далёкой планеты, а с *этой* планеты! На тарелке стоит Вавилонская башня — ну, ладно, *просто* башня стоит на тарелке одна небольшая — прихотливая, стало быть, горка такая: из риса, плюс чуть-чуть ветчины, овощей и чего-то такого... Бог смешал языки — и я больше не помню названий, и никто их не помнит (*Вы*, кстати, не помните тоже, так что нечего Вам тут особенно и распаляться — распляться на частности: дело ведь, в общем, не в этом!).

Вслед за башней на стол опускается, значит, гербарий: это всё лепестки, розоватые с оранжеватым, это тонко нарезаны (просто рукою хирурга! — хорошо, не хирурга, а *повара*, если угодно) хризантемы, пионы... ну, ладно, пускай буженина — Вам не всё ли равно: *Вы* же прямо сейчас, в это время, не *едите* того, что читаете, — или едите? Значит, так: лепестки буженины, бекона, тюльпанов — их опять можно было б сложить, было б только желанье, в хризантемы, пионы, тюльпаны: ведь всё обратимо, возвратимо на круги своя — хорошо, пусть частично... хорошо, не частично, а... попросту *невозвратимо!*

Но в глубоких фиалах... простите: конечно, в пиалах — аравийские джинны представлены взорам досужим в виде светлых паров или в образах лёгких курений...

да, бульон... да, куриный! Всё в точности как Вы хотите:
мы сейчас к нему жирными после бекона губами
припадём — и глотать, и глотать, и давиться, и булькать!
И проглотим всех джиннов — на что они, в сущности,

джинны?

Пусть сидят в животах и не ба́луются чудесами:
их эпоха прошла — и настала Эпоха Бульонов,
Щей, Борщей и Супов... романтизм, господя, да и только!
А придёт Аладдин за какой-нибудь лампой дурацкой,
мы ему в тот же миг: не хотите ли, дескать, бульона?

Но потом всё равно приплывает огромная рыба —
золотая такая (не щука... а в общем-то, щука) —
и вращает печальными и голубыми глазами
как бы в недоумении: куда же я, дура, попала?
У неё, этой рыбы, полно всякой дряни с собою:
от хорóм расписных до палаццо в классическом стиле —
я уж не говорю о какой-нибудь мелочи вроде
драгоценных камней или, там, драгоценных металлов.
Но на всё и про всё существует особая вилка —
специально для этой огромной причудливой рыбы:
пара точных движений — и нет ни дворцов, ни палаццо,
ни камней, ни металлов, а только вот: кожа да кости.

Тут, однако, ещё прибывает встревоженный агнец —
он не знает зачем и глядит как чужой на приборы,
он глядит и глядит, и поистине не понимает,
что тут можно сказать и к чему вообще говоренье!

Но пытается, впрочем, сказать — видно, что-то большое, что с трудом помещается в этом встревоженном агнце: *вот я, стало быть, здесь*, говорит, а потом добавляет: *и меня вы сегодня приносите, стало быть, в жертву*, — и молчит. А потом заключает: *и правильно, в общем*. Он с собой ничего не имеет — лишь пару крылатых выражений на случай чего... Но они неуместны — и, расправивши крылья, они улетают куда-то.

Начинается плесень: сыры, а к сырам всё такое — что продукты распада способно украсить собою... например, виноградные лозы, чьи крупные слёзы то зеленага, то голубага, то алага цвета проливаются рядом — и, в сущности, прямо на скатерть. Впрочем, что же тут плакать, когда уже заплесневело, когда тиной затянута чистое озеро жизни — и почти что не видно далёкого синего неба! Говорят: обойдётся, пройдёт, разложение — начало... я не помню, начало чего, но чего-то другого — вероятно, какой-нибудь новой, с иголки, жизни. Это тоже неплохо. А прежняя жизнь миновала.

Вот ведь слово: *деcерт*! Полуявный намёк на заслугу — перед кем же такое? — и дальше: намёк на пустыню, на такую пустыню, в которой кричи — не услышат, и никто не придёт, и уже ничего не случится.

Все уснули — за взбитыми сливками: сладкие горы, что навек погребли под собой очевидное прежде — ах, воздушное месиво, ах, белоснежная лава, всё тут склеилось, слиплось... а в общем-то, здорово: сладко! И забудем-ка мы — на минутку, на часик, на время о былом, настоящем и будущем: мы отдыхаем, копошась в этой сладости — с полуленивым желаньем разыскать в ней хоть что-нибудь, но ничего-то в ней нету.

И захочется дьявольской горечи: адский напиток этот чёрный, как целая Африка, кофе со вздохом — и такой глубины, что нырни туда — и не вернёшься, зачарованный адом: виденьями, грёзами, смертью. Всё танцует в глазах — и мы помним, *что* это за танцы, *что* за пляски, но нам всё равно: густо пахнет корицей или это цикорий... а, в общем, коренья, коренья, как оно и должно быть в аду... Вам хотелось иного? Так возьмите чуть-чуть шоколада — возьмите украдкой грех на душу свою, и покажется горечь другою — хоть и горечью, но не такой, не такой уж и страшной: здесь ведь тоже, в аду, существуют свои утешенья!

Дальше просто вода — минеральная, значит... источник: вот он бьёт перед нами, как конь своенравный копытом, высекая из сердца всё сразу — и самое сердце высекая, и Бог с ним... нам как-то теперь не до сердца. Это сытость: она безмятежна, как некая святость, она неколебима, и в ней открываются взгляду пузырьки: они скачут всё выше, и выше, и выше, но, не выдержав выси такой, разбиваются прежде,

чем взлететь... а источник всё не иссякает.

И нелепая трезвость — смешная незваная гостья
из провинции — ставит манатки у запертой двери,
поджидая хозяев: они ведь однажды вернутся!..

И теперь уже фрукты — в безумном своем изобилии:
стол не стол, рай не рай... не терзайся и не разбирайся,
ещь хоть с этого дерева, хоть вон с того, хоть с другого:
плод покоя, плод вечности, плод бытия, плод забвенья...
Ничего с нами не было: это всё только обманы,
только шалости духа... конечно же, Вы были правы,
и обед как обед — в дорогом и пустом ресторане
на углу Vestergade, по самому высшему рангу:
просто в сердце столицы — в состарившемся, в предынфарктном.

Что касается этого дерева... яблони, значит,
можно есть и с него — всё завертится снова, конечно,
но путаться не стоит: ведь это опять ненадолго!

* * *

Мы напрасно полагаем,
что запаздывает скорый:
здравствуй, здравствуй, Копенгаген,
Копенгаген разнопёрый —
весь на мачтах, весь на сваях,
весь устойчив, весь усидчив!
Ходит голубь и кивает
по перрону, как носильщик.

Он по-датски ни бельмеса,
а по-птичьи я не точен —
мне с ним очень интересно,
а ему со мной — не очень.
Ему зяблик интересен,
ему ворон интересен:
зяблик прибыл тем же рейсом,
да и ворон — тем же рейсом.
И уже вся эта живность,
городская и лесная,
возле ног расположилась,
Копенгаген вытесняя —
в облака, откуда родом
мачты, паруса и башни
и где спят, обнявшись, рядом
день грядущий и вчерашний.

2004

* * *

На ветреном перекрёстке,
на полном таком ходу
купи в овощном киоске
Рождественскую звезду —
в корзиночке неказистой,
тесьюю перевитой,
цветок такой остролистый —
пунцовый и золотой.

Среди огневых прогалин
почти не видна зима:
сегодня весь Копенгаген
на звёздах сошёл с ума!
И каждый несёт в пакете
на уровне головы
звезду, ибо все мы дети
а, кроме того, волхвы —
и на золотую точку
бредём в свою темноту:
на каждого — по цветочку,
на каждого — по Христу.

* * *

Да какая разница, бабочка-капустница,
душенька-беспечница, где тебе порхать,
где склонить головушку на седое крылышко:
не на этом камушке — так на том бы хоть!

Время твоё чистое, время твоё гласное —
два глоточка воздуха, больше ничего:
золотая азбука — с отзвука до отзвука,
с праздника до праздника: А, да И, да О...

С этим и откланяться: что с тебя — ты странница!
А уж кто откликнется — тот и молодец:
кстати ли, некстати ли... милые читатели —
им бы пару крылышек, им бы полететь!

Но однажды спустится по высокой лестнице —
кто-ни­то да спустится с дальних облаков:
ибо в той обители тоже есть читатели,
тоже есть любители всяких пустяков!

Кто ни то да спустится, бабочка-капустница,
душенька-беспечница, — жди кого-нибудь!
...ехали мы, ехали, ехали с орехами —
твёрдыми согласными вымостивши путь.

2004

* * *

Когда едешь никуда ниоткуда
и автобус на ухабе подлетает,
бухту видно всего лишь секунду —
но секунды, как ни странно, хватает:
чтоб прочувствовать присутствие моря,
и прочувствовать, что рядом есть берег,
и забыть про это время хромое,
и избавиться от старых истерик,
и задуматься о чём-нибудь путном,
непонятном... то есть, видимо, вечном,
приспосабливаясь к солнечным пятнам —
очень трогательным... хоть и не отчим;
и, закончив с этой порцией жизни,
заказать себе другую у Бога —
и отныне не бояться ни казни,
ни позора, ни тюрьмы, ни побега;

поменять опять страну и привычки,
имя, отчество... фамилию, кстати,
и поставить всё, что было, в кавычки —
ироничные весьма, в результате;
взять вон тот весёлый домик в аренду
и начать писать трактаты о небе...

Можно многое успеть за секунду —
на случайном подлете на ухабе.

* * *

А попробуем, стало быть, — не принося присяги,
но зато, разумеется, и не прося подмоги!
Из бумаги сделаны дни мои, из бумаги,
из бумаги сделаны, из золотой бумаги.

Развесёлые ножницы скачут легко и криво,
золотыми обрезками жизнь мою начиная,
и проходит мимо и не одобряет Клио
безрассудную сущность всех моих начинаний.

Но порхает страница... но птица и пароходик
соревнуются в вечности, это определённо!
Жалко, жизнь коротка: на неё даже не уходит
половины бумаги, оставшейся от рулона.

И не очень понятно, на что извести остатки —
на какую-нибудь, чужую наверно, радость:
вот... послать золотой обрывочек проститутке,
бормотавшей мне в спину шестнадцатилетний адрес.

Ей теперь уже сколько... да двадцать, пожалуй, с гаком —
помню, крылья бумажные плещутся сиротливо,
помню, «Сникерс» бросает — то голубям, то собакам,
а как звали — забыл, но вполне вероятно — Клио.

2003

* * *

И на этом самом месте,
и на этой самой ноте
карта выпрыгнет из масти —
и меня Вы не поймёте,
ибо тут лежит граница —
тут всегда была граница,
где удобно извиниться
и удобно разминуться —

и шагнуть отсюда в пропасть,
то есть прямо тут и выпасть,
словно некая подробность
или некая нелепость,
из пленительных объятий,
в чью болотистую область
затянуло сад событий... —
тут как раз Вы и ошиблись:

на последней переправе,
на надёжнейшем извозе,
не на слове — полуслове,
где меж нами нету связи,

где меж нами пролетела
птица редкостной окраски,
и теперь уже нет дела,
как зовут её по-русски —

обронившая в полёте
то ли радость, то ли ярость...
Вы меня всегда найдёте
там, где я не появляюсь:
там на каждый чих и кашель,
разминая сигарету,
Вам любой дурак покажет
путь к земле, которой нету.

2002

* * *

Вот Теннисон периода Гомера,
а вот Шарден периода Руссо...
Маши микенской веткою Шумера
да под турецкий марш легионера
шагай Асгардом северным — и всё.

Так просто жить, когда тебе сто лет
не срок, сто километров — не дорога!
Не Кант ли приглашает на обед?
Отказываться глупо и не след:
приборы на столе — и слава Богу.

Бегут века, бегут, как облака, —
и пред весёлыми очами Канта
такая честь сойти за дилетанта,
за выскочку, за просто дурака —
и ничего не знать наверняка.

История, забудемте размолвки,
история, давайте пировать:
в обнимку, под угрозой книжной полки
сорваться и распастья на осколки...
Все счастливы, все вместе, и — виват!

РИМСКИЕ ЦИФРЫ

I

Дети идут по песку — юные боги,
чудо как поступь легка: не остаётся
лунки и той на краю пенного моря —
разве что шорох да вот... запах лакричный.

Детство не знает следов — детство не помнит,
с кем, и куда, и зачем шло вдоль лагуны,
и золотая волна, верный союзник,
память смывает с песка — как не бывало.

Стало быть, глаз не спускай с лёгких сандалий:
их потеряешь из глаз — всё потеряешь,
шорох — и тот потеряешь в песке, не говоря уж
про ненадёжный такой запах лакричный.

Ибо пространство дано, чтобы в пространстве
всё погребать на века, всякую участь —
и оставлять по себе только просветы,
лишь частокол бытия — римские цифры.

Числа они или нет — кто же их знает?
Сколько детей на песке — не считаешь:
то ли один, то ли два... то ли и вовсе
нет никого — лишь одни римские цифры.

Хочешь догнать — догоняй: времени — много,
есть у тебя впереди старость и вечность:
может, и хватит на то, чтобы однажды
мёртвой коснуться рукой дальнего детства!

II

Сад на далёкой горе — он ещё виден,
он ещё твой — и туда можно вернуться:
там ещё свищет хорей, ветви качая
и осыпая в траву спелые ямбы.

Там ещё ищут тебя, ищут и кличут,
произнося по слогам звонкое имя —
то, что ты прежде носил... да износилось
всё — даже имя твоё, вместе с одеждой,

вместе с надеждой — на жизнь в гуще деревьев,
где опадают в траву спелые ямбы,
их собирать не собрать — да и к чему бы:
слишком они тяжелы, слишком побиты.

Не вспоминай ни о чём: переменилось
всё, что ни вспомнишь, — увы, так уж ведётся:
выйдешь хотя б и за дверь — на полминуты,
а воротясь, не найдешь даже и двери.

Жизнь никому не верна: дунь — и не станет
города, края, страны... всё улетело!
Что уж там сад на горе: облачко дыма,
вдаль уносимого прочь — свистом хоря...

Будущность — место гостей... жданных, неожиданных,
что прилетают на свет — к древним руинам,
где подаются на стол спелые ямбы,
где произносят одни только цитаты.

III

Хочешь — останемся здесь, на побережье,
хочешь — построим себе ветхое судно:
нам ли с тобой горевать, нам ли не выбрать
меньшее зло из двух зол... мы-то умеем.

Вот тебе, друг дорогой, камешек с дыркой:
счастье видно на свет, не заблуждайся!
В этой подзорной трубе всё уместилось —
вплоть до Творца самого... если взглядеться.

Не говори: далеко, — всё под рукою,
в этой подзорной трубе, в круглом окошке.
Спрячь-ка Творца на груди: как-нибудь после
вынешь да спросишь, как быть, — Он и ответит.

Или вот сердце твоё: спросишь — и скажет,
как тебе жить-поживать-не-ошибиться,
ибо в соседстве с Творцом станет однажды
мудрым и сердце твоё, глупое сердце.

Всякому плóду — созреть, всякой тревоге —
стать долгожданным вином, неторопливым:
взял, пригубил и сказал терпкое слово,
и — закружились земля, небо и время.

Ах, закружились они в маленьком круге —
в круглом окошке твоём, в камешке полом:
и закружился Творец вместе со всеми,
и закружилось твоё мудрое сердце.

2004

* * *

До свиданья, город Лёйт!
Мы отправились в полёт,
мы давненько не летали...
до свиданья, город Лёйт.
Город в инее зари
серебрится изнутри,
словно отгиск на металле
или древний палимпсест.

...нам бы взять бы и присесть
да сравнить бы то, что есть,
с тем, чем были мы богаты, —
только мы уже летим.

Ветра свист необратим,
и рассеялось, как дым,
наше милое когда-то
в этой солнечной земле.

Горстка пепла на крыле,
а поодаль на метле
наша старая соседка —
Ностальгия, чёрт возьми!
Она с нами, как с детьми,
она машет нам плетью,
у неё с собою сетка
с нашим прошлым небольшим.

Впрочем, Бог с ним: мы спешим,
ибо в нас несокрушим
дух... кого бы? — самолёйта!
Полетели, самолёт...
Мы поправим на лету
эту крышу, и вон ту,
и кривую башню Лейта...
До свиданья, город Лейт!

2004

ТРИ НОРВЕЖСКИХ СТИХОТВОРЕНИЯ

Торвальфу Гангосэттеру

1

Тут у каждого есть тропочка
вдоль оттаявшего бережка:
у тебя за душой — щепочка,
у меня за душой — пёрышко.
И пока мой пыхтит паузник,
только здесь тебя и — видели:
ты построишь себе парусник
и умчишься на нём в Индию.
Ошльвает в огне олово,
проплывает в окне зарево —
философия дня нового,
философия дня старого.
Но, пока я ловлю истину
и сражаюсь с твоих — сотнею,
ты прилаживаешь на стену
карту звёздных небес летнюю:
и одна там звезда — родинка,
а другая звезда — ладанка,
и твоя там судьба — выдумка,
и моя там судьба — выдумка.
Ибо нету ни в чём точности,
и никак не сумеешь вывести
ни твоей, ни моей вечности
из твоей и моей повести.

2

Ты говорил мне о Небесных Силах.
И на твоих на пастбищах весёлых
гуляли разноцветные стада —
они туда гуляли и сюда
и пели изумительные песни,
и эхо откликалось им в горах,
и тучка, хоть неслась на всех парах,
вдруг стала и призналась:
Только свистни —
я тут же упаду к твоим ногам,
как падаю лишь под ноги богам.
И всё тебе на свете отвечало,
и некий строгий дух играл на челло —
сперва крепясь, но наконец смычком
размазывая слёзы по щекам.
Такой был, значит, день.
И вслед за этим
ты — как-то невзначай совсем — заметил:
«Пора менять светила», — и сменил,
побрызгавши из баночки чернил
на небосвод.
Теперь одна луна лишь,
сияла мироздания посреди.
И я сказал, прижав луну к груди:
Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь!

Два напитка кроткой крепости
пахнут лесом и водой —
Торульф, Торульф, что за глупости
в голове твоей седой!
Всё б тебе на свете смешивать,
всё бы путать... да латать
тёмной горечью — насмешливость
и проклятьем — благодать,
всё б тебе морочить публику,
сбросив голову долой —
давши власть седому облаку
порезвиться над землёй!
Бог с тобой... твои чудачества,
окрылённые тоской,
обирают душу дочиста —
ну куда ж теперь с такой?
Ей не встретить собеседницы
в чужедальной стороне,
босоножке, нищей всаднице
на соломенном коне.

Сколько память ни отряхивай
и с изнанки ни смотри —
Торульф, Торульф, шут гороховый,
вечно прячется внутри:
вдруг помашет серым пыльником
и прошепчет слышно чуть:
«Всё равно вернёшься — маленьким —
ты сюда когда-нибудь».

2005

ДОРОГАЯ ПИПЕЛОТА

Вот дойдёшь до поворота
и, как прежде, на причале
Дорогая Пипелота
невзначай пожмёт плечами:
«Дорогая Пипелота» —
это маленький корабль
из породы Полполёта,
из породы Не Пора Ль.

В этом городке немецком,
в моей жизни неуместном,
я не то чтобы влюбился,
напевая мысли Бисли,
но переживаю что-то
вроде трепета, пока
Дорогая Пипелота
так беспмятно близка.

На ней длинная горжетка
(как я это понимаю)
и надвинутая шатко
шляпка с алой бахромою,
и сияет позолота,
и звенит её браслет —
Дорогая Пипелота,
девочка преклонных лет!

Нам не быть, конечно, парой
с этой дамой эфемерной:
я и сам немножко старый
и уже довольно смиренный —

но смотрю вплоборота,
как флиртует на лету
Дорогая Пипелота
с кем ни попадя в порту!

* * *

Я верю в тебя, я верю в него, я верю в неё —
я верю во всё вообще, в любое враньё,
в любое жнивьё — как в продолженье семян,
в любое старьё — как в начало всех перемен.

А что у кого на сердце или в горсти —
так этого, стало быть, лучше не знать, прости.
Сорока ли, галка ли принесла на хвосте
алмазное семечко — дай ему прорасти.

Неправды плоды горьки, да не горше слёз —
о том, что имело сбыться, да не сбылось,
о том, как однажды гнали уже взашей
из райского сада, от дерева Не Вкушай.

Пойдёмте-ка по́ миру — утром, пешком, дождём!
Кто на слово верит, тот словом и ограждён,
тому и наградой слово — липовый мёд,
которым помянут тебя, когда всё пройдёт.

И станет потом ходить по земле молва,
с земли подбирая пустые твои слова,
и снова очнутся слова беспечные те —
у галки ли, у сороки ли на хвосте.

С хвоста упадёт перо – и взойдёт росток,
начнёт тянуться куда-нибудь на восток:
и будет сперва побег такой небольшой,
а после побега – дерево Не Вкушай.

2004

* * *

Так бывает, когда торгуют мимозами и гвоздикой
и когда у пёстрых базарчиков копенгагенских майя
жизнь-злодейка ведёт разговоры с судьбой-индейкой,
не сказать чтоб при этом любя её или хотя б понимая,

и когда смысл сущего, разносимый по перекрёсткам
продавцами пуха и праха, уместается на записке,
и когда голопузые барышни с акцентом галапагосским
за собой приглашают в рай под названием Этоблизко,

и когда ветерки начинают внезапно тащить с таганов
раскалённый миндаль и швырять его на мостовую,
и когда из распахнутых кирх вылетают вздохи органов
и разят тебя в сердце, продельвая небольшую кривую,

и когда потрясающее количество компактных японцев
куролесит по всем канальчикам на водных трамваях –
воскресает внезапно из мёртвых Великий Принцип
единения с человечеством...

Так оно и бывает.

Впору только податься куда-нибудь в качестве волонтера,
проповедуя мир-вам на языке свихнувшейся канарейки!
И становится неразличимой русская клавиатура,
ибо недолговечны они, эти пластиковые наклейки.

* * *

Эта песенка по-русски... — хромая,
заблудившаяся в городе птица:
тем, что есть в моём тяжёлом кармане,
за неё, пожалуй, не расплатиться.
У меня в кармане мятая пачка
с сигаретами и мятая тучка
да весёлая зелёная тачка,
развозившая по детству орехи.

У меня в кармане мятная жвачка
и однажды пересохшая ручка,
что сто лет назад писала весёлым
серебром хоть по стеклу, хоть по ткани.
У меня в кармане сальная свечка,
у меня в кармане конь и уздечка
и дурацкая такая привычка
приходить, на три часа опоздавши,

и сошедшая с путей электричка,
и загадочная некая штучка
под названием колечко-малечко
и... минутку! — выходи-на-крылечко.

А поверх всего — тяжёлая точка,
придавившая летучую память —
память, в частности, о том, сколько стоит
эта песенка по-русски, по-детски.

2004

* * *

Разобравшись и с обетами, и с долгами:
здравствуй тебе, праведница и датчанка,
середина жизни, обещанная богами,
терпковатая марципановая начинка,
полоса везения — крупного винограда
на добротных фурах в направлении винодельни,
полоса скитания — мелкого гонорара:
от кафе до ближнего питейного заведения,
вереница опасных, но несложных капканов,
упражнения в икебанае и оригами,
радость обнаруженья простых законов,
управляющих жалко что не тобой — другими,
предпочтение фокусникам танцоров и акробатов,
избегание случаев слишком прямой наживы,
рисование на прибрежном песке атрибутов
императорских — скажем, скипетра и державы...
Облака, ракушки, морская лёгкая пена —
в совершенной памяти больше нет ни соринки,
то есть, помнишь ещё свирель тростниковую Пана,
но уже забыл имя нимфы Сиринги.

2005

БОЛЬШАЯ ЖРАТВА

А на самом-то деле совсем я не прав,
и на самом-то деле совсем я не граф —
я на самом-то деле народ:
собирабельный образ, простите, такой,
обобщённый пример, что всегда под рукой, —
море, переходимое вброд.
Это сказано, дальше пойдёт веселей —
обойдёмся-ка, стало быть, без главарей:
всё равно их потом истребят!
Будем дружно идти развесёлой толпой —
за анапеста за колченогой стопой:
хоть топчась, да не глядя назад.
Мы счастливые овцы — бери нас гуртом:
мы счастливые овцы в руне золотом,
к месту казни мы сами трусим:
рассчитаемся сами, построимся в ряд
(это здесь убивают у вас, говорят?) —
и потребуем казни засим.
Это кислая, это горячая смесь,
из холопства и гордости сводит нас здесь:
черпаками нацелясь в котёл,
мы готовы хлебать и хлебать сообща
смерть за смертью, совсем ни на что не ропща —
дескать, кто же иначе хотел?
И в кровавом ряду — в карнавальном бреду,
друг у друга опять, так сказать, на виду
подаёмся на блюдах к столу —
пир последний без нас состояться б не мог,
и, смеясь, мы приветствуем свежий дымок,
исходящий от нас же — в пылу

и в чаду торжества... Раз такая жратва,
всем пожертвуешь ради сего торжества —
потому что обычай таков!

Мы как те, из Рязани, грибы: нас едят,
а глаза наши с нежной любовью глядят
на жующие рты едоков.

Мы к вину хороши и к застольным речам —
к братству, к равенству, к разным другим мелочам,
обиходным за каждым столом,
и мы помнимся долго: ах, что за обед! —
говорят едоки, через несколько лет
вспоминая о сытном быллом.

А история дальше бурлит и гудит,
а история дальше плодит и плодит
нас... и в поле обильна трава!

И опять мы бежим терпеливой трусцой
прямо в самое пекло, овца за овцой, —
раз такая жратва...

* * *

Я забыл написать это всё, а хотел, но теперь уж
ни к чему, да и нет всего этого — стёрлись следы,
только глупость и глупость: отмеришь-отрежешь-отмеришь,
и останется маленький сборник воды — ерунды.

Два десятка шагов — по канату меж датой и датой
(между первым стихом и последним — пустыня лежит,
и идёт караван, неуверенный, шаткий, поддатый,
и пустыня под ним, будто таз жестяной, дребезжит),

а стихов-то и нетути... с музыки сбилось дыханье,
где-то в области синего неба — ком глины сырой.
Но ребёнок шестнадцатилетний, безумная Ханне,
на цыганский сбиваясь, по-датски твердит: «Вы король!»

Я, конечно, король... если это Вам, Ханне, поможет,
но, гонимый толпой взбунтовавшейся (злы мужики —
с топорами и вилами — стайка кровавая мошек!),
за полцарства прошу не коня, но прошу полстроки:

полстроки — уже в полубреду, в неживом бормотаньи,
полстроки, наконец, — и тогда уже жизнь прожита.
До чего же вы все, дорогие, меня измотали,
что горька мне, как яд, золотая моя немота!

Под весёлыми под молодыми Его небесами
написать бы Ему бы какой-нибудь маленький гимн!
Но не пишут стихов короли — никогда не писали:
как-то заняты были всегда то одним, то другим...

* * *

Новые года летят —
чередуются глаголы —
новые года летят...
и один новей другого:
промелькнул — и был таков,
и не хватает (хоть в избытке!)
копачков на дураков
и бумаги — на открытки,

и не хватит пятаков
разложить по всем чулочкам,
яблоков и облаков —
ангелам и ангелочкам,
и не хватит жизни всей,
чтоб угнаться за полётом
стаи жареных гусей
по заяблочным высотам.
С Новым годом, Старый Бог,
ибо это — самый новый:
нов — до хруста на зубах,
нов с иголки, еловой!

* * *

Вам зачем, Ваше Непостоянство,
раньше времени в город Москву?
Раньше времени только пространство,
небеса да пучина Ау:
ни тебе переправы, ни брода,
ни плеча — преклонить бы чело!
Раньше времени только свобода,
то есть, в сущности, нет ничего.

То ли день близко к ночи был начат,
то ли век уж своё отшагал —
ты катись, неприкаянный мячик,
по пустым безымянным снегам:

ты резиновый, ты разноцветный,
с полосой поперёк живота,
погоняемый мыслью заветной —
дескать, жизнь ещё не прожита!

Заблуждение длится и длится:
ни концов, ни начал не найти —
старый Мёбиус с бездной в петлице
окликает тебя по пути!
Только бы от него отвертеться —
и тогда, знаю я наперёд,
золотая инерция детства
нас куда-нибудь да приведёт.

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ

Скрипки на Стрёгет *(бумага, акварель)*

Не людское и не мирское,
а небесное (но не местное) —
выпиликивается такое-
здесь-ещё-не-известное:
выпиликивается на скрипочке
понаехавшими славянами —
под цветастыми сарафанами
вьетнамские тапочки.

И с испугом глядит полиция
на такое-тут-выпиликивается.

Стрётет благоухает нежностью —
и — почти уже с невозможностью
удержать под сердцем бумажники,
куда смотрят эти тамошники! —
Копенгаген, врасплох захваченный,
расплывается, как засвеченный
на дешёвенькой плёнке мыльницы,
и бежит в луга, за околицы,
на зелёные, значит, пажити...
А вот... птичку — на скрипке — можете?

И (в глазах ни единой тучки)
выпиликиваются — птички!

Д з э н с к и е м о н а х и , с м е т а ю щ и е
о р н а м е н т и з ц в е т н о г о п е с к а
(белый картон, настель)

Вестербро уносит с лица земли —
попрощаемся с Вестербро:
поспешает парусный флот вдали,
но ему уже не успеть
подхватить несомое, как перо,
мимолётное Вестербро —
Вестербро, оставшееся на треть...
но исчезнет и эта треть!

Все бирюльки давно сметены с лотка,
ибо жизнь совсем коротка:
бодхисатвы розовая рука
держит веничек на весу —
Бог семь дней не спал, но узор из песка
всё равно придётся смахнуть:
и кружок, и ромбик, и полосу,
ибо, значит, не в этом суть.

Ибо сути на свете нет никакой,
раз уж сам этот свет сыпуч, —
потолок осыпается в мастерской
и уносится на восток
за цветной за пыльной за стайкой туч,
как бездомный такой листок, —
лишь высокая башня хранит покой:
её срок пока не истёк.

Но наступит, конечно, и ей черёд,
и всему на земле черёд,
и беспечный веничек нас смахнёт —
не успеем глазом моргнуть!
И — уже никогда-никогда-никогда,
ни потом, ни когда-нибудь...
...между тем бодхисатвы рука тверда,
ибо это тоже не суть.

Снег в феврале

(влажная бумага, тушь)

Площадь, канал, грузовые суда,
грузный Сант-Спирит —
всё исчезает навеки... куда? —
Снег засыпает.

Сходит на город астральная высь
грозную буллой —
и Копенгаген становится весь
шапкою белой.

Чья это шапка... да поздно гадать,
о Пешеходе!

Тут и вблизи-то ни зги не видать:
зга на исходе.

Впору дать дёру от снежной стены,
щурясь и горбясь:
видишь, по маковку занесены
имя и адрес,
национальность, гражданство и пол,
возраст и вера —
вот и Сант-Спирит из виду пропал
или из мира,
лишь из-под снега играет квартет
Баха на память...
Снег засыпает, а музыка — нет:
не засыпает.

Ч а й н а - т а у н

(шёлк, акриловые краски)

В Чайна-таун зима золотая
и тепло от тяжёлых витрин,
и проносятся, сладко болтая
на своём языке мандарин,
златоглазые дети и птицы
в сизокрылых одеждах простых...
надо ж было же так уродиться:
с мандарином — да прямо в устах!

Мой тяжёлый товарищ старинный,
будем как-нибудь не горевать,
а на этом вот на мандарине
жизнь учиться преодолевать —
и катиться на нём, и катиться
безо всякого, значит, труда...
ибо все-то мы дети и птицы,
и притом — из того же гнезда.

А раз так... значит, на мандарине,
апельсине, лимоне, хурме
мы домчимся до тоненькой грани
нашей памяти где-то во тьме,
за которой грехам и огрехам
места нет, и решил — так решил,
но покуда никто не уехал
и покуда никто не ушёл.

Блошинный рынок в Нёрребро

(бумага, цветной карандаш)

Ты не будь, душа, белою вороной —
собирай давай-ка крону за кроной,
а когда сколько следует накопишь,
приезжай в Нёрребро — всего накопишь:
синий чайник без носика и крышки,
и зелёные безрукие кружки,
и безносую куклу-негритьёнка,
и оттеночный шампунь без оттенка,
вифлеемскую звезду из металла
и дырявое, в слезах, покрывало —
всё, чего тебе, душа, не хватало,
не хватало и всегда недоставало!

Тут у чопорной, с буклями, бабули
можно выкупить и самые букли,
а из книги, не читаемой боле,
можно выкупить и самые буквы —
можно выкупить у сада осадки,
и Швейцарию саму у швейцарца,
или вот у бессердечной красотки
можно выкупить и самое сердце...
Завяжи всё это дело шпагатом,
возведи вокруг чутунные решётки,
как приедешь ты обратно — богатым,
в экипаже без колёс и без лошадки!

Лавка колониальных товаров

(папирус, сангина)

Херр Йенсен имеет большие весы,
напоминающие двух лебедей,
херр Йенсен имеет большие усы
с тех времён, когда был молодой, —
и в нём всё изменилось, кроме усов,
его усов и его старой судьбы:
и в его лавке — запахи туземных лесов
и ничего не слышать от пальбы.

Херр Йенсен пошёл на обед, покурил
и вернулся к лебединым весам —
и в пути пару-тройку земель покорил
причём, что удивительно, сам!
Было трудно, но он верил, что победит
и добудет редких приправ, —
и все будут считать, что херр Йенсен бандит,
но он опять будет счастлив и прав!

А под вечер он причешет метёлки усов,
и поправит чашки весов,
и запрет все запахи туземных лесов
на тяжёлый заржавевший засов,
и, двенадцать зрё на ладони сочтя,
скажет: «В общем-то день удался!» —
и — мятежное сердце, захватчик, дитя —
улетит в свои небеса.

М о р о щ е н щ и к

(флорентийская мозаика)

День скатился с небосклона,
и под вечер по предместьям
разноцветного фургона
раздаётся колокольчик.

И сейчас же все стаканы
на столе запотевают,
и сейчас же все законы
отменяются на свете.

И пронзают мир — поврозно,
но в одну секунду оба —
золотой сквозняк соблазна
и серебряный — озноба.

Их счастливый поединок
кончится холодным пиром
и трезвоном лёгких льдинок
на обратной на дороге...

А мороженщик помашет
нам прозрачную ладонью
и в невидимый кармашек
снова осторожно спрячет

ко-ло-коль-чик ле-дя-ной.

Весна в Вальбю

*(алюминиевая пластина,
смешанная техника)*

Там голуби над низкой башней —
словно разъявшийся Всевышний,
всем раздаривший дух святой:
тебе частичку, мне частичку —
возьми себе любую птичку,
пострел... не убегай, постой!

Потом очнёшься где не вспомнишь,
и в страхе призовёшь на помощь
засаленный дагерротип,
и станешь кликать день вчерашний
и голубей над низкой башней,
да ни один не прилетит.

Истедгаде

(батик, сепия)

Шлюшка-улица Христа ради
разрыдалась при всём народе
в некрасивом своём наряде.

Ты чего... ты давай-ка это...
нам оплатят с тобой билеты
в направлении ближайшей Леты.

У тебя есть улыбка Моны,
её знают все наркоманы —
посидим подождём измены.

Вот закончат за нами слезку
и начнут звонить в неотложку
или сразу уж в каталажку.

И заплаканные блудницы
будут горбиться и молиться
и проводят нас до границы —
да пойдут по своим борделям:
там и место всем имmortелям,
каприфолям и асфоделям.

И бродяги первого сорта
процитируют строчку Сартра,
и она прозвучит как сутра.
А ближайший фонарик красный,
твой весёлый и нежный крёстный
посулит нам покой воскресный.

У меня тут в кармане крона —
так... на случай услуг Харона,
но пока ещё слишком рано.
Ах, держись, нестойкая свита:
далеко ещё до рассвета
и улыбки из Назарета.

Н ю б о д е р

(ватман, гуашь)

Где ты, сердце, бегало-пропадало,
по каким задворочкам куролеся?
Не ходи по улице Крокодила,
а ходи по улице — вот хоть Лося.

Низкая вода тебя не настигла —
перебраться посуху удалось,
не ходи по улице, скажем, Тигра,
а ходи по улице, скажем, Лиса.

Слышишь, у штакетника, где раakitник,
кружится воронкою лай собачий?
В этой части города тот охотник,
кто пока не стал ещё сам добычей.

Не шути с фортуною, человече,
не буди поклонников и тайфунов,
поживи в спокойствии недалече —
на Дельфина улице, у дельфинов!

Пропади в стихах своих и рисунках —
или новой хочется ипостаси?
Так чего же проще-то... чем на санках
улицею Лебеда пронестиси!

Бог тебе и разум дал, и упорство
ни ловцом не сделаться и ни жертвой —
для таких и выстроил это царство
Кристиан Безвременный и Четвёртый.

Поворот с Фиольстрэде

(фанера, уголь)

...и в руках у него никакая, значит, не цитра, а вольнка некая — с трубками сикось-накось — помяни, ангел, пламенеющий ангел центра, городских душ наших вечность и одинокость!

Зажигают лампы, закрывают все магазины, упражняются на простодушных заезжие воры, ещё можно перехватить бигмак из тёплой резины, но уже не успеть подхватить разумного разговора.

Из пустых подворотен выпархивают эфемериды, мириады эфемерид, в чьих очах задушевных всё на свете теряет смысл, особенно мёд и акриды — и не может вспомнить имени Бога отшельник.

Исчезают границы между временем и пространством, бытие сворачивается в ароматную сигарету, и прохожий чувствует себя проезжим — туристом на пути с одной планеты на другую планету.

Мир стоит улыбается — вечной улыбкою идиота, говорит: дескать, я не лукавлю, не интригую, но тебе так и так не понять назначения поворота — поворота с одной улочки на другую.

**Полицейский наряд
в Христиании**
(доска, темпера)

Души слетали с веток
вёселы и разуты,
край запахнув хитона...
Домики из салфеток,
домики из газеты,
домики из картона.

Нет ничего на свете:
чайников, чашек, ложек —
именем фанфаронства:
нищей бродяжьей свите
хочется только свежих
времени и пространства.

Выслушав взрыв снаряда,
снова вернётся в небо
белых овечек стадо.
Мальчики из наряда
плачут, стреляя, ибо
им невозможно стыдно.

Боже, высокий Боже, —
скажем, — спустись пониже!
Скажем, да не услышим.
Пахнет тяжёлым дымом,
яблоком и эдемом,
смирною и гашишем.

К р и с т и а н с х а у н .
Р а з р у ш е н н ы й д о м
(холст, масло)

Дома нет — и одно ANNO DOMINI
полюхает почти в небесах.
Всё, что было здесь, — было здесь до меня,
до тебя, и до них, и до всех,
но следов — никаких... и развеяно
пять веков над морской водой,
словно тихая эта развалина
вообще не была молодой,

а была!.. Но от свежего времени
уцелел лишь мечтательный фриз
среди небес, из поры ANNO DOMINI,
а точнее — поди разберись, —
и витает над тесною улицей,
и клянётся, что жизнь всё идёт,
полоумной, невнятной латиницей
заборматывая век и год.

Ах, Подобие, ах, Бесподобие,
Преподобие Ваше, Судьба,
что ж трепать этот флаг ANNO DOMINI
и без привязи, и без столба!
А моя дорогая попутчица
говорит, без улыбки и слёз,
что на свете всё так и закончится —
тем же Словом,
каким началось.

Нищий на Аксельторв

Портрет

(папиросная бумага, слеза)

В очках, висящих на верёвочке,
такая даль, такая немота —
и Дания отражена не та
в очках, висящих на верёвочке:
там всё на свете смещено...
там, может, вовсе и не Дания,
а только область Досвидания
да опустевшее окно.
Но штрих изнеженного рта
свидетельствует об иронии,
которая уже заранее
сама собой не понята
и направляется в чубук.
И дым густого недоверья,
как неприкаянная gloria,
всё время ускользает вбок.
И некий сизый голубок,
как сизый Бог, клянётся в вечности,
качаясь на одной конечности
и вечность зная назубок...
А святость — это баловство
того, кому судьба-насмешница
дала и чем ему утешиться,
и отказаться от чего.

**Пожилые дамы в Café
Charlottenborg**
(рассказ по фарфору)

Два зонга, два белых шарфа,
два берета сложной вязки,
два костюма сложной кройки,
две салфетки на столе.
Два сомнительные завтра
обсуждают как две сказки
две седые канарейки
за двумя café au lait.

Их смешное щебетанье,
милый «королевский датский» —
без малейшего оттенка
нынешнего языка —
проплывает блёклой тенью
над столицей, как над детской,
и позванивает тонко,
уносясь за облака.

Там — по мнению двух пташек
в двух костюмах сложной кройки —
и поймут, и подытожат
жизнь их, общую пока...
И, слетев со всех катушек,
две седые канарейки
на два голоса закажут
два напёрстка коньяка.

L a n g e l i n i e

(полотно, вода)

А вот тут у нас Длинная Линия
в направлении того направления,
где кончается всякая Дания,
исчезаючи в область предания.

С капитанского, стало быть, мостика
наблюдается некая мистика —
превращение сумрачной местности
в полосу ослепительной ясности.

На твоей на скорлупке ореховой
ты в ту сторону и поплыви —
и, плывя, потихоньку вытряхивай
из карманов остатки любви:

то звезду, то волшебную палочку,
то фонарик, то узкую улочку,
то сваявшиеся облака —

без раскаянья, без сожаления,
а не то твоя длинная линия
оборвётся — лишь дрогнет рука.

**Церковь Александра Невского
накануне Пасхи**
(кирпичная кладка, тень)

Ни души нигде, тишина черна
и растёт, словно сталактит, —
и одна лишь луковка, лишь одна,
золотая, сквозь тьму летит.
Она тихо горит, она говорит:
«Ничего не бывает зря» —
она речь, она меч, она всё подряд:
прямызна, кривизна, заря.
Она сердце твоё, и оно — болит,
оттого оно и горит,
совершая свой пламенный перелёт
через каменный лабиринт.
Где другим устав, мне — полуустав,
ибо я-то давно готов
к двум страстным неделям, где двух Христов
снимут вскорости с двух крестов
и где жизнь, пугаючись и двоясь,
вдоль своих крадётся небес,
ибо машет с небес православный князь,
а с земли — кривославный бес.

Pantomime Teater, Тиволи
(парусина, красная охра)

Две развёсёлые завязки,
в крови манишка —
душа-то есть у этой маски,
да нет умишка:

она, как розовая фея
с глазами лани,
порхает — недругов штрафуя
без промедленья.
Какая острая игрушка
в бумажных латах,
какая вкусная крошка
из виноватых!
И надо быть последним снобом,
чтоб не прельститься
театром под открытым небом —
виват, артисты!
Там побеждает добродетель
в борьбе со скверной
и счастлив тайный наблюдатель —
со спичкой серной.

Т а н ц у ю щ и й д у р а ч о к
(зеркало, губная помада)

Тут собираются навеки
малоподвижные зеваки
смотреть на трудные подскоки
танцующего дурачка,
который — вижу по лицу я:
чуть опасаясь полиция, —
перемогает жизнь, танцуя,
дитя Господнего смычка.

На маленькой своей планете
он служит прихоти, минуте —

и он на ней, как на канате:
чуть жив, но дерзок и крылат!
И хочет вовсе не овец,
но от асфальта оторваться
и чтобы рыжая девица,
в окошке, крикнула: «Виват!»

И ангел, слёзы собирая
в хитон нездешнего покроя,
пешком спускается из рая,
запоминая по пути:
вон там бывает обыватель,
вон там горюет гореватель,
а тут — танцует танцеватель
с полпятого до без пяти.

2005

РУССКИЙ ЛУБОК

Три стихотворения

Поездка

Мы давай поедem в бричке —
две продрогнувшие птички,
две простуженные свечки,
не успевшие сгореть:
на две трети и на треть.

Мы отправимся на юг
догорать, лечиться —
жизни учиться
мы отправимся на юг.
А на юге, как мы знаем назубок,
проживает добрый Бог.
Белоснежные у Бога волосы
и сердечные у Бога небеса —
для любого, кто убог,
для любого, кто продрог,
для любого, кто случился
жизни поперёк:
для каждой птички
и для каждой свечки
горят сердечки
на синем крыльчке.

К л у б о к

Покатился, покатился
шёлковый клубок —
покатился, покатился не вперёд, а вбок:
побежал клубок по младости, по зрелости,
по долинам, по равнинам, по лесам
да по горным небесам —
через горы перепрыгивал,
через скорби перемахивал, —
так и жизнь прошла
третьего числа:

за неделькою неделька,
за куделькою куделька,
за прыжком прыжок...
Воротись, дружок:

там стоит твоя мечта непочатая,
там стоит твоя надежда безнадежная —
и свежи цветы пламён
с незапамятных времён,
ты возьми да собери себе букет
из минувших лет!

Ан, клубок-то всё катится, по глупости, —
он по сумеркам катится, по старости,
собираючи последние новости
и нанизывая новости на ниточку —
на кончик на самый.
Ветром несомый.

Г р о з а

Тут такое, значит, дело, что душа —
по ночному небу тучкою шурша —
ничего не понимает про себя,
только тихо повторяет про себя
имя золотое — слово пустое.

Полетели за крутой поворот,
где гроза растёт?

Где на ветке у грозы
три серебряных слезы:
первая — шуту,
вторая — королю,
а про третью утаю.

Вот и будет у нас праздник грозовой —
прямо на лету,
с дудочкой во рту,
пахнущий цветами и травой
и живой водой —
молодой.

А у дальнего, душа, у предела
стережёт тебя новое тело —
горькая омега:
белеет во тьме —
одна вечность на уме.

2003

ВАГАБОНД

...а ещё у него в тележке есть оранжевая подушка
с дыркой, величиной с улыбку, и следами случайных слёз:
никогда не узнать, кто плакал и оставил тут рыжий локон —
запятою такой волшебной: дескать, свидимся как-нибудь...
Ибо ставится запятая (в данном случае золотая)
там, где нету другого средства жизнь на этом не прерывать
и вернуться — к подушке с дыркой и к коротенькой ночи яркой,
и к коротенькой ноте горькой... — полуторькой: «Пока, дружок!»

А ещё у него в тележке недовыпитая бутылка,
где волнуется кока-кола, как обузданный океан, —
пузырится сухая пена и готовится Афродита
выходить на пустынный берег... Только берега не видать,
потому что стекло вспотело и ни зги не увидишь с тыла —
хоть невооруженным глазом, хоть биноклем вооружась:

шторм есть шторм — ведь такое дело: как богиня бы ни страдала, но с рождением своим из пены ей придётся повременить!

А ещё у него в тележке есть смешная такая птица, разглагольствующая вечно, со столичною прямою, — впрочем, всё об одном — о пиве, что такой не пристало паве (о шампанском или ликёре — это, скажем, куда б ни шло)! Но стоит она у калитки в расписной деревянной клетке и своим раскатистым «Каррр(лсберг)» просто сводит народ с ума — и народ, осторожно ёжась, постепенно приходит в ужас, пока птица не произносит: «Между прочим, я Вас люблю».

А ещё у него в тележке забеременевшая кошка — непосредственно рядом с птицей... что рискованно, может быть. Кошке, правда, вот-вот котиться — так что ей не с руки коситься на соседку... к тому же, кошка, между прочим, на поводке, а потом, перед ней сосиска — соблазнительней, чем соседка, но сосиска (как и соседка) ей приелась давным-давно... Ах, в конце концов, сразу видно: кошка, в общем, живёт не бедно и смирилась с болтливой птицей, потому что они друзья!

А ещё у него в тележке Копенгаген с его дворцами, и с фонтанами, и с конями, и с драконами в чешуе — и туристы на босу ногу ледяную глотают негу из тяжёлых бокалов жёлтых под зонтами летних кафе, а морской городской трамвайчик поднимает густые брызги — и весёлые эти розги знойно хлещут по площадям, где старушки в забавных шляпках через время плывут, как в шлюпках, со сноровкою мореходов уклоняясь от розг и брызг.

А ещё у него в тележке ослепительная надежда,
только вот на что – непонятно, и почти неважно на что:
у неё, у этой надежды, есть большие такие крылья,
хоть и сложенные, но всё же... их ведь можно и распустить!
И тогда – улететь отсюда (например, хоть к чертям собачьим)
вместе с кошкой, подушкой, птицей и бутылкой, уж если так:
Копенгаген зажав под мышкой – со старушками и дворцами
и со всем, что ему присуще...
да чего ж тогда улетать?

ЖАН ТАНГЛИ

I

Ну, во-первых, ходит *поезд* – в сущности, без передышки,
в сущности, без остановки – в сущности, как заведённый,
то есть во-вторых и в-третьих, то есть в-третьих и в-четвёртых:
ходит поезд, поезд, поезд... Но сейчас мы не об этом,
но сейчас мы об *окошке*: открывается над нами
в небесах одно окошко над железною дорогой,
открывается окошко – появляется *кукушка*
(неприятнейшая птица, пожилая и больная,
с очумелыми очами), чтоб сказать ку-ку и сдохнуть.
Но она не успевает ни сказать ку-ку, ни сдохнуть,
потому что в это время – в эту самую секунду! –
две серебряные ложки сталкиваются в пространстве:
это, в общем-то, не ложки, а такие получашки –
и они одним ударом ставят точку на кукушке
и на всех её ку-ку.

II

Впрочем, вот что интересно: если эти получашки ставят точку на кукушке, то они не ставят точки на *огромных шестерёнках*, оживлённо шестерящих в направлении не длинных, хоть отнюдь и не коротких *двух шестов*, что устремили острия на *шестигранник*, находящийся в покое (словно патриарх какой-то!). Если же мы вдруг взглянем в этот самый шестигранник, то увидим, что в покое он отнюдь не абсолютном: он смещается невятно то направо, то налево — и от этого смещения происходят перемены в жизни *плюшевого мишки*, расположенного рядом — (молчаливого, тупого — потому что он игрушка). Шестигранник, незаметно наползаючи на мишку, обрекает многократно часть животного на гибель: голова его большая неуклонно попадает под тяжёлый *молоток*.

III

Но с медвежьей головою ничего не происходит, потому что в ней опилки и, конечно, потому что после каждого удара всё животное приходит точно в то же положение, что и прежде приходило. Дело же сейчас не в этом, ибо на границе с мишкой *золотая балерина* фуэте тихонько крутит — приводимая в движение головы его толчками. Ей никак не удаётся опустить вторую ногу рядом с первой ногою — и она напоминает, стало быть, юлу — не столько обстоятельным вращением, сколько жестяным жужжаньем, совершенно нестерпимым...

Но, должно быть, балерине ничего не остаётся, кроме этого жужжания, потому что рядом с нею происходят обороты *циркульной пилы*, готовой отхватить вторую ногу этой самой балерины в тот момент, когда плясунья — позабывши про опасность, или попросту устало, или попросту беспечно — станет ногу опускать.

I V

А она не опускает... ах какая молодчина золотая балерина с жестяным своим жужжаньем! Балерина понимает: от неё сейчас зависит, чтобы *лампа голубая* загоралась и тушилась (ибо поднятой ногою золотая балерина постоянно задевает *бриллиантовую кнопку*). И пила не дремлет тоже, но вращением приводит в действие *большую лопасть* — делая большую глупость, потому что эта лопасть, словно некая лопата, неустанно подгребает *кузовок один с грибами* — не со свежими грибами, а с пластмассовыми вовсе, и погаными к тому же, ибо это мухоморы... Их приклеили к корзинке, а корзинку на резинке привязали к *мёртвой кукле*, чьи оранжевые букли наподобье грязной пакли треплются при содроганьях замусоленного тела — до которого нет дела абсолютно никому.

V

Кроме *бубна* с пёстрой лентой (собственно, индифферентной ко всему, что происходит, и болтающейся вольно, собственно, куда захочет, собственно, куда угодно — совершенно не вдаваясь ни в какие переключки), потому что только бубен, только полоумный бубен отвечая на удары замусоленного тела, держит эту эстафету, как за хвостик кошка мышку... Это бубен с пёстрой лентой продолжает передачу праздной силы — дальше, дальше... и кому теперь? — *лошадке*, то есть даже не лошадке: просто палке, на которой все мы, помнится, скакали-никуда-не-прискакали, — просто палке с сивой гривой, через час по чайной ложке заливающейся ржаньем (ржаньем, стало быть, несчастным, но достаточно несчастным и достаточно утробным) и пугающей пространство очень резким, очень дробным, очень быстрым «иг-го».

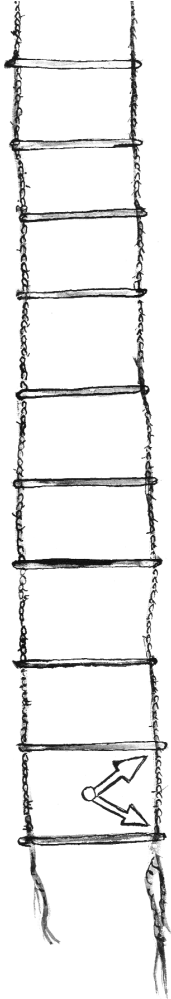
VI

При лошадке есть *повозка* в красно-белую полоску — и не то что при лошадке, а довольно суверенно: как бы даже неизвестно, почему мелькают спицы (вероятно, им не спится или что-то в этом роде). А к одной из спиц крепится на тонюсенькую леску *змея воздушный*: он, понятно, ошивается всё время здесь, поблизости, — и, в общем, не желает удаляться, что неважно и, к тому же, в принципе неинтересно... Вот *часы* в районе змея — это здорово, конечно: на часах четыре стрелки, очень даже расписные, что показывают время — время, в сущности, двойное

(например: пора проснуться и давно пора обедать, или: нам пора на службу и пора нам бить баклуши). При часах — *литая гиля*, опускаемая мерно на *глубокую тарелку* — металлическую, впрочем, и под тяжестью гири эта самая тарелка начинает оседать.

VII

Но загадка оседанья разрешается мгновенно: под тарелкой *три спирали*, рядом — *три воздушных шара*, и при сжатии спиралей происходит надуваньё ёмкостей бездонных — паром, кислородом или небом... К окончанию этой мощной, этой громкой процедуры вся конструкция приходит в беспокойное качанье и — внезапно отделяясь сразу от всего на свете — эта шаткая постройка, эта адская машина, эта братская могила начинает уплыванье по пустому небосклону в направлении Тибета, — и ликует обитатель: говорили «не поедем», говорили «не потянем», говорили «сил не хватит», говорили «что за глупость это всё на самом деле», а смотрите: потянули, а смотрите: сил хватило, а смотрите: полетели — и летим уже порядком, вот уж миг летим, допустим, вот уж час летим, допустим, в направлении Тибета, в направлении Тибета...



ЧАСОВОЙ ПОЯС

2002–2008

ЧАСОВОЙ ПОЯС

1

Если долго лететь по небу... по небесам,
вспоминаются друг за дружкой то дом, то сад —
я сегодня, летя по небу, о них писал...
в смысле, думал — мне было не на чем записать.
И они затерялись где-то меж облаков —
истончившись до пара сизого, до дымка,
превратившись в пару каких-нибудь пустяков
перед этим вечным понятием — облака.
К дому с садом ещё полагался вечерний чай,
кофе на ночь и йогурт утром — наоборот,
и сбегала слеза по скатерти невзначай,
и, надкушенный, сильно хмурился бутерброд.
А калитка пискнула тоненько, как щенок,
а густая пряжа запуталась вся вконец...
И хотелось смеяться — только никто не мог —
и пустая мольба смутилась и пала ниц.
А ещё полагалось сказать, объяснить, спросить —
и, навравши с три короба, вынести короба
и потом заплясать или, скажем, заголосить
от того, до чего же милостива судьба.
Быть правдивым не полагалось: Аэрофлот
вынуждал изворачиваться, заметать следы —
день упрявился и, не желая идти вперёд,
всё канючил: то пенталгин, то стакан воды.
Только в небе всё стало вновь на свои места:
на минуточку стусились... рассеялись дом и сад —
и подумалось: жизнь, наверное, прожита —
не забыть бы... да было не на чем записать.

2

Время, стало быть, — этакий нежный тать, —
потихоньку стащило дни, фонари, дома:
человек ты небесный, не полно ль тебе летать —
человек ты земной, не сойти бы тебе с ума!
Облака твои здесь превращаются там в снега,
в непролазную грязь на дорогах и вдоль дорог..
Там, внизу, ты судил бы не выше бы сапога —
здесь ты судишь как бог, но какой же ты к чёрту бог!
Ты сапожник, заброшенный в небо на два часа,
ты безбожник, себя зачисливший в сонм богов,
ты не вяжешь лыка, ты попросту напился —
ты таков, как все, и нисколечко не другов!..
Вот тебе вертикаль, о которой ты бредил там,
и на лестнице — Яков, качающий головой:
ибо вслед за тобой взбирается по пятам
всё, что было тебе суетой, маемой, Москвой.
И тебе невдомёк, что верёвочный этот брод
ненадёжней, чем все твои бездны, небесный гость,
ненадёжней, чем время, чем память, чем гололёд,
ибо зреет и зреет внизу, тяжелея, гроздь
обещаний пустых, невесомых обид, долгов,
полоумных надежд ни на что и на всё подряд..
Ах, по небу ходить хорошо: не слышать шагов
и светила — дневное с ночным — сообща горят..
Но не выдержит лестница — не для тебя свита́,
да и вспомни-ка... сколько тебе уже полных лет!
И отторгнет тебя безгрешная высота,
и задумчивый Яков помашет рукою вслед.

Собиратель иллюзий, коллекционер химер,
превращатель всего в песочные словеса,
объясни наконец, как же так оно, например:
в три поднялся с земли — приземляешься в три часа!
И поди докажи, что катался на облаках,
и поди расскажи, как живётся на небесах, —
ни единой звезды не осталось в твоих руках,
ни единого сдвига на сонных твоих часах.
Был ли — не был ли где... да сидел себе за столом,
задремал — и пригрезилась всякая, значит, блажь!
Или ангел бездомный, летя над твоим челом,
прикоснулся крылом... Ты и сам-то гроша не дашь
за историю с небом как действующим лицом:
всё тут выдумки, видишь ли, бред полоумный твой!
Не поднять тебе, милый мой, ног, налитых свинцом —
не расстаться тебе с бестолковой твоей Москвой.
Завари себе, стало быть, что же... покрепче чай —
и, глотнувши, проснись и вычисли интервал:
снова — здравствуйте-Мёбиус, снова — живи-скачай
по неведомым странам, в которых не побывал,
снова — думай, что жизнь бесконечно во всём права,
как была до сих пор — этих самых унылых пор,
и катай языком золотые во рту слова —
хоть такие, как Гамбург, Брюссель или Эльсинор!

...затяни часовой свой пояс, вели устам
повторять имена незнакомых небесных тел —
вот и здесь скоро три пополудни... так же, как там —
там, откуда ты так и не улел.

* * *

И мы когда-нибудь придём куда придётся —
своей дорогою чужой, не самой лучшей,
держа в одной руке ружьё, в другой — ведёрце
и зная очень мало слов: «Бог», «дом» и «случай».

Они вели нас за собой в такие дали,
чьи имена припоминать есть смысл едва ли,
где нас не знали никогда, где нас не ждали
и никогда стола для нас не накрывали.

Трубила музыку труба — и, голубея,
летел над нами голубок Святого Духа,
и мы сажали ноготки на поле боя,
где было много мертвецов и было тихо.

Мы шли из людного теперь в пустое после
чужим гонимы ветерком своим попутным,
и не случилось ничего — плохого, в смысле:
снег не занёс, волк не загрыз, бес не попутал.

И скажет Бог нам: молодцы, что вы бродили
по детским по своим путям, как по солдатским,
но надо дать вам отдохнуть, отмыв от пыли
неважно, под каким дождём — тверским ли, датским...

И М М И Г Р А Н Т Ы

А б д у л л а

Абдулла уезжает домой со своею семьёй.
Он устал наконец от холодного неба и моря.
Ни с правительством больше, ни с собственным сердцем не споря,
Абдулла уезжает домой со своею семьёй.

Он с собой ничего — вообще ничего — не берёт:
ни надежды своей, на чужбине прижившейся плохо,
ни любви, ни отваги, ни как её... веры в Аллаха,
он с собой ничего не берёт — даже наоборот:

Абдулла оставляет свою пожилую зурну,
молодую луну — и под сей молодую луною,
оставляет страну небольшую, с ладонь шириною, —
не считая по этой причине её за страну.

Абдулла оставляет чалму дорогую свою:
там, на родине, некому будет похвастаться ею,
все погибли давно... правда, он уезжает с семьёю,
но с собой ничего не берёт.
Не берёт и семью.

Абдулла собирает друзей, но друзья Абдуллы
не приходят: неблагоприятна погода чужая.
И тогда он им речь говорит: дескать, я уезжаю,
говорит Абдулла и сметает слезу со скулы.

И друзья понимают судьбы трепетанье самой
в этой речи его и присутствие тихого чуда,

раз который уж год Абдулла уезжает отсюда,
Абдулла уезжает домой со своею семьёй.

С а н т а

«Я жила здесь очень мало,
я жила здесь очень трудно, —
говорит красотка Санта
и стесняется акцента. —
Я жила здесь очень мало,
ничего не понимала —
нет во мне такого дара:
дурой дура...»

«Не хотите ли на воздух?
Не хотите ли какао? —
говорит красотка Санта
и стесняется акцента,
совершенно не по делу
опуская очи долу,
оправляя складку сари. —
I am sorry!»

Полно, Санта, все мы дети,
все мы дети, все мы птицы:
не в начале было слово,
а в начале было сердце —
и тогда мы с небесами
золотыми голосами
говорили — помнишь, Санта? —
совершенно без акцента!

О р н е л а Л ю с и я

Надо было, наверно, отрезать
два-три слога, не слишком гордясь,
от «Орнела Люсия де Езус»:
для чего тебе всё это здесь —
под нахмуренными небесами,
где другая судьба не видна
и где просто произносимы
твои солнечные имена?
Но, весёлые губы кусая
и терзая словарик в руках,
представлялась Орнела Люсия
только так, а иначе — никак,
и одними глазами большими
говорила, что в эта страна
у меня оставалась лишь имя,
и я вечно ей буду верна...

Так она говорила, и ангел
тихо плакал у ней на плече —
крупный ангел, не вышедший рангом,
весь в камнях дорогих и в парче,
и доставленный к нам то ли SASom —
подхватившим его за крыла,
то ль нелицензионным Исусом,
проводившим его до угла.

Л и

Небосвод пуст, небосвод сер,
и не слышно музыки сфер,
да к тому же — эти глухие «эр»,
невозможно глухие «эр»!
Но зато — навалом воды и земли,
и гуськом идут корабли...
всё чудесно, Ли,
всё плекласно, Ли,
не голой, долгой Ли!

Но зато — навалом еды и питья,
и житья... пусть и не бытъя,
но зато — по низкому небу летя,
не сломаешь хребта, дитя!
Но зато вблизи — то же, что вдали,
и нарциссы не отцвели...
всё чудесно, Ли,
всё плекласно, Ли,
не голой, долгой Ли!

А потом... тут кроны со всех сторон —
очень много весёлых крон,
соберёшь в карман их тяжёлый звон
и — домой: бароном барон!
Там давным-давно все сидят на мели,
а кто нет, те в землю легли:
всё чудесно... Ли?
всё плекласно... Ли?
Не голой, долгой Ли!

А г н е ш к а

Есть у Агнешки книжка из Польши —
трудно читать без слёз.
И есть у Агнешки старенький Порше —
правда, без двух колёс.
Агнешка любит местного пана
по имени Сёрен Бек:
на усах у пана — морская пена,
и он неплохой человек.
Правда, он презирает Агнешку —
есть тут такой курьёз:
за её ужасную польскую книжку
и Порше без двух колёс.
Но, когда он пьян, тогда всё в порядке —
так уже случилось разок:
и у них возникли общие предки
и даже общий язык,
и пан Сёрен слушал польскую книжку,
почти не скрывая слёз,
и пан Сёрен даже катал Агнешку
на Порше без двух колёс.

С и л ь в а н а

«Ах, судьба меня, наверно, прозевала:
я сбежала придорожною межой», —
так рассказывала музыка Сильвана
о судьбе своей — практически чужой.

А судьба её стояла и смотрела —
без участия, хоть, пожалуй, и без зла —

как она своё ветшающее тело
над Европой, словно пёрышко, несла.
И судьба её качала головою:
дескать, с музыки-то нам какой же прок? —
и давилась местной фразой горловою,
застревавшею гортани поперёк.

Так Сильвана всё летала и летала —
не задерживаясь, стало быть, нигде:
всё летала от квартала до квартала,
от одной своей звезды — к другой звезде:
из породы серенад или рапсодий,
без занятий, без семьи и без гнезда —
и её лишали всех земных пособий
раз в полгода... или чаще — как когда.

М у х а м м е д

Добродетели нет и грехá нет —
и всему тут одна цена:
пятилетний цветок Мухаммед
понимает, что жизнь — война,
и пугает весь мир картинкой,
где сто бомб в облаках висят.
Самому ему — пять с полтинкой,
а глазам его — шестьдесят.
Так что мирной судьбы останки
не тревожат его уже:
на душе у него лишь танки,
одни танки лишь на душе.

И, как птица, снаряд порхает
над склонённую головой
и поёт ему: «Ах, Мухаммед,
почему ты ещё живой?»
И тогда с виноватым видом
он бросается к маме: мол,
я умею быть и убитым,
дайте только уткнусь в подол!

Н а с и м б а н у

Трудно жить всему некрасивому:
ветер его по свету несёт.
Но некрасивую Насимбану
Бог её племени пасёт —
шепчет ей крохотные истины,
сводит Насимбану с ума...
Истины, небось, неказистые,
как и Насимбану сама.

Ходит по городу Насимбану,
личико скрывая в платке,
молится тряпичному символу,
в чёрной зажатому руке.
А начнет Насимбану сетовать —
мигом её маленький Бог
тут как тут, и ну с ней беседовать,
аж до синевы на губах:

дескать, моя чёрная деточка,
грех тебе сетовать, мой свет:

глянь, какая белая веточка —
таких у нас на родине нет!..
Так вот и спасает Насимбану,
так и отпускает ей грех,
а она уж — то апельсин ему,
то банан ему, то орех...

А ш и л ь

У Ашиля крылышки за спиной
и две-три лягушки на ужин.
У Ашиля французский — почти родной,
но французский нам тут не нужен.

Нам и крылышки, собственно, не нужны,
а лягушки — не наша пища,
Если б он уехал из этой страны,
всё бы было гораздо проще.

Нет, живёт же себе, чуждак-человек...
слава Богу, что где-то в гетто!
Утверждает, правда, что, вроде, грек,
но при этом — чёрного цвета.

А под вечер выберется, как тать,
к резиденции королевы —
и давай, говорят, в облаках летать
направо-налево!

Иногда, говорят, летает до трёх-
четырёх, иногда — до рассвета.

И ещё у него есть дружок, Патрокл...
Тоже грек, но странного цвета.

Х а б и б а

Хабиба смеялась, а слёзы текли и текли,
они всё текли и текли, а Хабиба смеялась:
чтоб ей засмеяться, нужна была сушая малость —
и малость случалась, а слёзы текли и текли.

Хабиба всегда рисовала каких-нибудь рыб —
ужасно весёлых и сильно нездешних расцветок
на мокрых салфетках, и рыбы срывались с салфеток,
и вдаль уплывали, а слёзы текли и текли.

И все говорили Хабибе: «Хабиба, не плачь,
теперь уже всё хорошо — и не будет иначе!»
И, комкая в пальцах салфетку: «Нет-нет, я не плачу», —
смеялась Хабиба, а слёзы текли и текли.

А слёзы текли и текли, наполняя очки —
две круглые чаши на полных щеках у Хабибы,
и в чашах плескались глаза — две весёлые рыбы,
далёкие рыбы средиземноморских широт:

там были прозрачны пространство и время, и там
беспечное лето дружило с беспечной зимою,
и местная девочка бегала к тёплому морю,
ещё без труда различая, где смех, а где плач.

Ильмурад

Ильмурад как сказал, так и сделал —
это, в общем-то, просто понять:
Ильмурад как сказал, так и сделал —
и потом переделал опять,
переделал — и вновь переделал,
и ещё раз пятнадцать подряд...
Так он шёл к своим дальним пределам —
старый, верный себе Ильмурад:
не надеясь на Божию милость,
не взывая к пустым небесам...
Но никак его жизнь не кроилась,
сколько он ни кроил, ни кромсал.
И тогда он сказал себе: баста,
в мире многое множество стран,
если здесь не находится места —
отправляемся за океан!
И ушёл на вокзал, во всём белом, —
и заплакал, придя на вокзал,
что единственный раз он не сделал
так... как, в сущности, и не сказал.

Гудруца

Контора была заперта,
что, впрочем, и всё равно:
у Гудруцы не было паспорта,
но было с собой вино
(солнечное, не местное —
на случай это-для-Вас)

и удостоверение, немецкое,
где она в профиль и в фас.

Гудруца помнила правило,
что без паспорта здесь нельзя —
и дома ещё подправила
размазанные глаза.
Жаль, что всю тушь в месиво
превратил этот старый урод...
Но она улыбалась весело:
дескать, и так сойдёт!

И был на душе апрель у ней,
и не было там скорбей:
Гудруца была стреляный,
ох, стреляный воробей:
и от взгляда её сгорбиться
мог бы просто любой.
Гудруца была гаубица,
и ей предстоял бой.

С а н ш а й н

Они вытерли слезы, когда покидали Тянь-Шань:
было поздно рыдать, да и не о чем больше рыдать.
На чужбине родили ребёнка, назвали Саншайн,
и тогда наконец наступила она — благодать.

В Чайна-тауне редкое солнце со взглядом косым
и бумажная жизнь, разукрашенная серебром,

но над жизнью бумажной сияет их маленький сын —
и светло от него, и не холодно по вечерам.

Жаль, что слова не скажет им — ни на одном языке,
почему — непонятно, но нужно ли — всё понимать?
Он освоился в этом квартале, как рыбка в реке.
Вот и славно, отец... благодать, — улыбается мать.

А Саншайн мастерит из бумаги большие суда.
Хоть большие суда никогда не заходят сюда,
он всегда мастерит из бумаги большие суда:
у него есть пергамент, картон, и фольга, и слюда.

И когда ему, вот уже скоро, пойдёт пятый год,
он снарядит свой флот и отсюда на нём уплывёт —
все пожитки сложив на огромный, на белый паром...
от бумажной их жизни с её ледяным серебром.

Н у р и ё

Счастья в жизни не было до сих пор —
и за любую цену
Нурие решила купить ковёр —
повесить на стену.
Денег взяла у племянника: тот
продавал вишню.
Придется выплачивать целый год,
но это неважно.

В город поехала на заре,
в бусах и шали,

детей оставила Гольнаре,
чтоб не мешали.
Выбрала бежевый — с синевой,
как южное море,
и торговалась недолго — всего
часа три-четыре.

Всю дорогу радовалась коври,
дома, первое дело,
позвонила свояченице в Анкару —
та обалдела...
Хорошо, что ещё не пришёл Энвер:
надо спрятать бусы
и самой на стену прибить ковёр —
вот, любуйся:

у воды — высокий такой камыш
вокруг залива,
над водой — орёл, терзающий мышь...
очень красиво.

Р а д м и л а

Кто тут нужен кому — кто кому не нужен,
пусть решает Всевышний: ему видней.
У Радмилы всё время проблемы с мужем,
а у мужа всё время проблемы с ней.

Они вместе снимают зелёный погреб
на окраине мира, сырой от луж.

И Радмила желает вернуться в Загреб,
и того же Радмиле желает муж.

И плывут их желания, совпадая,
над зелёным погребом по ночам,
но об этом жизнь их немолодая
ничего не знает... да и зачем?

Это был бы совсем уже чёрный юмор
или просто какая-то полная чушь.
И Радмила желает, чтоб муж её умер,
и того же Радмиле желает муж.

Он гоняется с длинной рейкой за нею,
а она антабус ему в чашку мельчит.
Но Всевышний, кому это всё виднее,
просто машет крыльями и молчит.

О Б Р А Т Н Ы Й А Д Р Е С

1

Прилетел ко мне обратный адрес,
прилетел ко мне голубь сизокрылый,
смирный гость с глазами чудотворца
и из левого запястия вытряс
половинку надежды обгорелой,
а из правого — бумажное сердце.

И я дал ему зелёных маслинок
и остатки гречневой каши,
я налил ему в плошку водицы,
потому что этот тихий посланник
был в пути целый век, если не больше:
так у них, у посланников, ведётся.

И сказал я: «Ну, здравствуй, родимый,
целый век тебя не было видно,
целый век тебя не было слышно.
Так что жил я тут один с моей думой —
беспокойно, хоть и не бедно,
а в общем, и путано, и сложно».

«Ничего, — отвечал мне посланник, —
я теперь прилетел и всё улажу,
укачаю на крыльях на сизых.
И увидишь ты тайный рисунок,
золотую тонкую пряжу
и, конечно же, небо в алмазах».

2

Ох, не было другой мне заботы,
чем раскручивать старые свитки
да рассматривать стёртые знаки!
Ох, не было другой мне забавы,
чем сорваться с насиженной ветки
на кивок полузабытой музыки.

Как же, помню: бродили, говорили,
говорили обо всём — да не по разу,
а по два, и по три, и по четыре...
 Как же, помню — вчера ль, позавчера ли, —
 все слова были нужны до зарезу,
 и играло время на кифаре.

Было лето, и хмели-сунели,
тили-тили-тесто, ром-баба,
и холодное, со льдинкой, какао.
 И проста была жизнь, и мы знали,
 что на свете главней всего — небо,
 и что прошлого нет никакого,

и что всё тут — бесконечное детство,
бесконечные наши аты-баты,
бесконечные цветущие траншеи,
 и что ладно, само обойдётся,
 что сто раз всё прощено и забыто —
 ещё до того, как согрешили.

3

Ну и как мне теперь распорядиться
времени смущённой улыбкой
и вниманьем Духа Святого,
 если не достать из колодца
 никакою хитрой зацепкой
 давно затонувшего мотива?

Нету здесь ни туда, ни обратно,
нету здесь ни дна, ни покрышки —
есть один заблудившийся образ:
 день вчерашний, погасшая Этна,
 эхо в пустующей кружке
 да неожиданный гость — обратный адрес:

дескать, если что — так сразу давайте
к нам сюда... дескать, тут всё в порядке,
на какой-нибудь, значит, попутке,
 дескать, всякое бывает на свете —
 и зачем нам заборы, загородки,
 и зачем неудачные попытки?

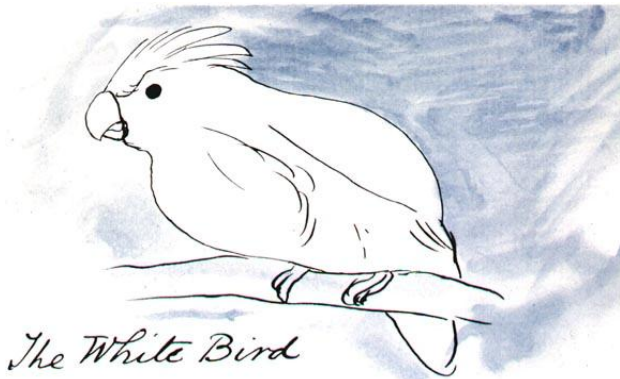
Дух Святой любит всякую букашку
и дарует ей благоразумье,
и наставить её вовремя умеет.
 И всё ходит мой голубь по окошку,
 и всё смотрит умными глазами,
 и совсем ничего не понимает.

ПТИЦЫ ЛИРА*

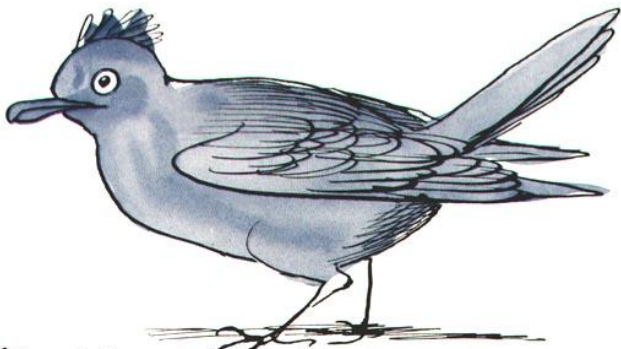
Белая Птица

Белая Птица играла в молчанку,
в молчанку, в песчинку,
в небо с овчинку,
Белая Птица сидела на ветке
и делала вид, что сидела навеки,
но вдруг она встала и стала петь:
«Я сейчас полечу над вами —
полечу с такими словами:
фьюить, и фьюить, и фьюить!
И вы поймёте, в чём смысл всего,
увидев меня в полёте:
воздух — тонкое вещество,
вы это сразу поймёте».
И с такими словами шальными
она полетела над нами:
пара крылышек, связка пёрышек,
щепотка пуха, крупинка духа,
горстка небесного снега —
безделушка Господа Бога.

* Рисунки Эдварда Лира можно посмотреть на его домашней странице в Интернете: <http://www.nonsenselit.org/Lear/QLN/cb01.html> и далее до <http://www.nonsenselit.org/Lear/QLN/cb20.html>



The White Bird



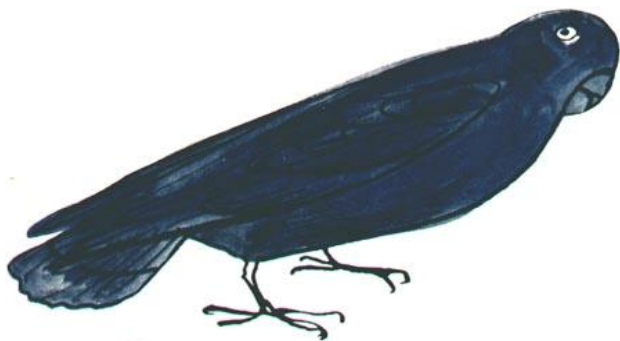
The Light Blue Bird.

Г о л у б а я П т и ц а

Глупая Голубая Птица:
никуда-то ей не летится,
да зато хорошо бредётся
куда придётся —
по лугам, по долам,
по несрочным делам.
Ах, всего у неё в избытке,
на невидимую нанизано нить —
и она собирает незабудки,
чтобы ничего не забыть.
Ходит, значит, с места на место,
ни с каким не роднясь жильём:
крылья вместе сложила — и баста,
и летает в сердце своём.
Всё равно её не жалеи:
дескать, бедная странница...
её небо всегда при ней —
что с ней станется!

С и н я я П т и ц а

Синяя Птица — то ли из чащи,
то ли из бора —
села и нащебетала счастья
всем без разбора:
этому дом с трубой,
этому ковш с резьбой,
этому Бог с тобой...
И они стали ждать подарков,



The Dark Blue Bird



The yellow Bird

и молиться, и падать ниц —
ну что с них возьмёшь, с придурков,
доверяющих щебетам птиц?
И у ног легкокрылой богини
все они, конечно, погибли.
А она проводила их души
в направленьи жизни грядущей —
и дала в дорогу
каждому понемногу:
этому дом с трубой,
этому ковш с резьбой,
этому Бог с тобой.

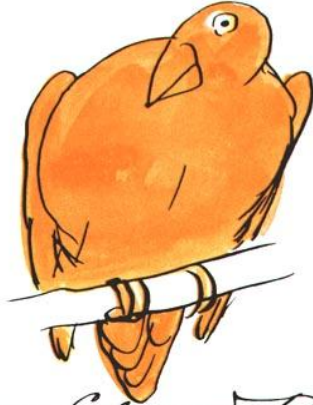
Жёлтая Птица

Жёлтая Птица по свету носится
забот не зная.
Жёлтая Птица никогда не изнашивается:
она заводная.
Заводят ту птицу ключиком,
замочком, шёлковым платочком,
а также мизинчиком, плечиком
или стеклянным молоточком.
Пророчица и провидица,
хранительница секретов,
она очень быстро заводится —
с двух или трёх оборотов
и предрекает скорый
закат золотого века,

но, стукнув о шпору шпорой
и не дождавшись звука,
она говорит «улетаю»
и — действительно улетая —
кажется золотой,
да не золотая.

Оранжевая Птица

Там, где звенит син-син
во все колокола,
там птица-апельсин,
на дереве росла —
она росла и ничего не говорила,
а тихо-тихо повторяла
прекрасные слова на разных языках —
как на далёких облаках,
но ничего не говорила.
Сказала только, что оранжевый.
Потом добавила с тоскою:
«Как его ни облагораживай...» —
и всё такое.
А после заключила, что конечно,
и разумеется, и абсолютно.
Вот так она молчала нежно
и созревала — молча и безлюдно.
Все слушали её — и то и дело
твердили, что она сивилла,
в то время как она росла и зрела
и ничего не говорила.



The Orange Coloured Bird



The Pink Bird

Р о з о в а я П т и ц а

Розовая Птица с кем-то заболталась —
не спешившим с отзывом.
Розовая Птица с небом заболталась
о своём, розовом,
но в районе ближних предгорий
потеряла розовую нить.
И потом... ей не хватало категорий,
чтобы всё на свете обнять,
да и слов у неё было мало —
особенно зимних и осенних!
Но её всё равно понимало
небо — самый лучший собеседник.
Оно долго смотрело на птицу,
изучая её повадки,
а в конце надумало опуститься
и присесть поблизости, на ветке.
Тогда птица смутилась запоздало,
оказавшись с небом наравне,
а оно подумало и сказало:
«Иди ко мне».

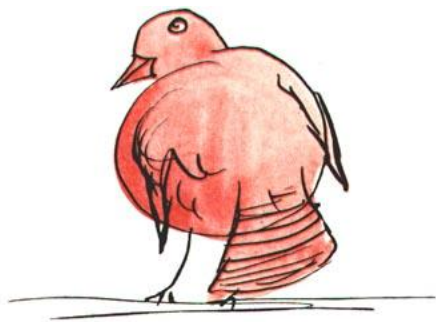
Б л е д н о - к р а с н а я П т и ц а

Бледно-красная Птица
обещала навеки проститься,
но, махая крылом,
оставалась в былом —
и никак не умела проститься.
Она была просто бусинка —

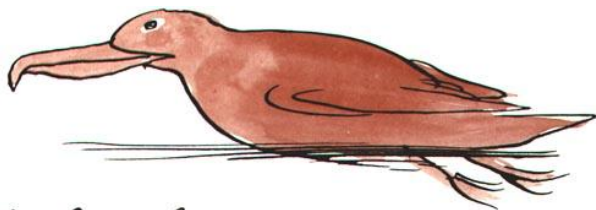
прозрачная на свет,
она была просто песенка,
в которой ни слова нет,
стеклянная такая подвесочка,
подвешенная в пустоте,
Бог знает откуда весточка,
в которой все даты не те.
Но, когда она вдруг улетела,
всё-таки забыв попрощаться,
оставшимся не хватило
той самой толики счастья,
того самого ещё-разика,
без которого не полна серия,
без которого музыка не музыка
и хорошая история не история.

Ярко-красная Птица

Ярко-красная Птица не пела в гнезде,
в зарослях леса.
Она была пожар на воде —
зачем разгорелся?
Закипели все волны, волна за волной,
и, когда не осталось совсем ни одной,
птица вышла на берег, и плакала,
и ходила вокруг да около,
и твердила, что всё сожжено
и что видно речное дно,
и что пусто оно.
И уехала в дальние страны,
за дымы, за туманы,



The Light Red Bird.



The Dark Red Bird.

чтобы там, в дальних странах, забыть навсегда,
как была глубока вода
нашей юности — испарившейся за...
за какие-то полчаса,
испарившейся в небеса,
испарившейся, как слеза.

П у р п у р н а я П т и ц а

Пурпурная Птица ручей стерегла,
ручей стережёт,
Пурпурная Птица — два лёгких крыла,
сигнальный флажок,
а кто уж флажком этим машет
и распоряжения пишет,
мы этого знать не хотим —
и мы здесь вообще не затем.
Мы просто пришли убедиться,
что Пурпурная Птица
на случай беды
стоит на посту у воды...
Но смеётся над нами, над дурачём,
Пурпурная Птица:
ни с каким, даже самым последним ручьём
ничего не случится —
пока кто-то его стережёт,
пока вьётся пурпурный флажок
на трепещущей глади —
Бога ради.



The Purple Bird.



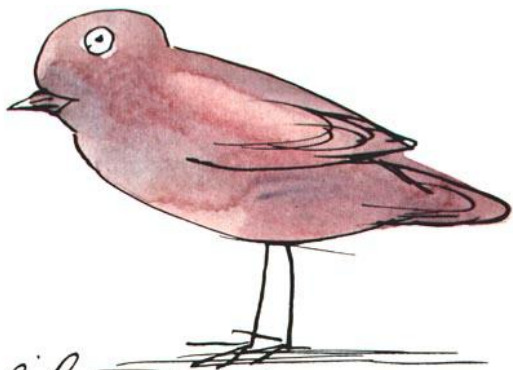
The Crimson Bird.

М а л и н о в а я П т и ц а

Говорили два юные поклонника,
справившись загода,
что Малиновая Птица — из малинника,
и сама она — ягода.
А Малиновая Птица клевала
крошки от пряников,
и Малиновая Птица плевала
на всех поклонников,
и пила водицу из лужицы, —
там всегда свежая, —
и твердила, что земля кружится
и на всё — воля Божия,
и махала музыкой хвостика,
почти круглосуточно
распевая: «В том-то и мистика,
что всего на свете достаточно!»
И, поклонникам оставив по полтиннику —
так сказать, с выгодой! —
улетала к далёкому малиннику,
становясь — ягодой.

Л и л о в а я П т и ц а

Лиловой Птицы колокольчик
сзывает весь честной народ —
и ты возьми лилового на пальчик —
пришел его черёд.



The Lilac Bird,



The Light Green Bird.

Блажен, кто слышит — и поймёт,
зачем народ... народы
идут со всех честных широт —
под колокольчиковы своды.
Смотри, они идут и плачут,
и слёз не прячут,
они не знают ничего:
их этот колокольчик вечевой
влечёт своей музыкой —
прекрасной, безъязыкой.
Он обещает: всё минует,
раз жизнь, какой бы ни была,
гремит в свои колокола —
и в ус не дует,
и никому конец неведом,
но все мы встретимся когда-нибудь потом
на облачке на золотом
под колокольчиковым сводом.

С вет ло - з е л ё н а я П ти ца

Светло-зелёная Птица из дальнего сада —
явно что не отсюда:
мы, на самом-то деле,
таких никогда не видали
в наших северных скучных краях,
полных проса и хлебных краях:
толстенький гневный ангел —
ректангель.

Ничего ему здесь не надо,
он исчезнет прямо сейчас:
улетит в направлении дальнего сада,
где нету нас.
Мы не нравимся гневному ангелу —
ректангелю,
и он смотрит на нас косо,
вообще не клюет проса,
не хочет поддерживать разговора,
и совсем скоро
от него не останется даже гнева —
только небо.

Тёмно-зелёная Птица

Тёмно-зелёная Птица травы,
птица мокрого лета,
высокой осоки, птица увы,
птица болота,
тихо прогуливалась в камыше,
вызывая жалость:
зёлено было у ней на душе,
но она мужалась.
И она сказала: «Мне наплевать!» —
А потом подумала вяло:
«Буду ходить свою жизнь напевать», —
и она её напевала!
И жизнь, благодарная ей, пошла
цвести и смеяться:



The Dark Green Bird



The Brown Bird.

ни с того ни с сего зацвела мушмула
и упала жасмину в объятья,
и другие птицы — птицы небес —
стали судачить в полёте
о том, как хороша, небось, —
жизнь на болоте.

К о р и ч н е в а я П т и ц а

Коричневой Птице далеко до павлина —
и не та у неё стать,
но Коричневая Птица — свистулька из глины:
в неё можно свистеть!
В неё можно свистеть простые напевы,
без особенных этаких чудес,
но зато — на все буйные заросли крапивы
и даже на весь лес.
Потому что у глины — большое благородство
и очень большая глубина,
и когда в неё свистишь, то очень даже просто
досвистываешь до дна.
А на дне обитает великая тайна
(узнать её можно, по небу летая,
но можно узнать и внизу):
что наши высоты и наши низины —
ничто перед этой свистулькой из глины,
содержащей слезу.

С е р а я П т и ц а

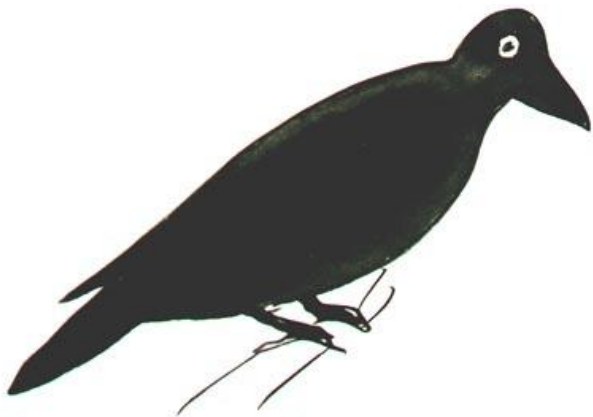
У Серой Птицы блик на боку
и тень во весь живот,
но Серая Птица сидит на суку
и не знает, зачем живёт.
А ей говорят: живи для себя,
пока ещё не стара...
но она говорит сердце скрепя:
Боже, какая мура!
А ей говорят: живи для детей,
помогут — придёт пора...
но она говорит, ускользнув из сетей:
Боже, какая мура!
А ей говорят: живи для идей
и будь наконец мудра...
но она говорит, ускользнув от людей:
Боже, какая мура!
А ей говорят: тогда будь добра
и живи хотя б для добра!
Но она говорит: тарарам-тара,
тарарам-тарам-тара,
тарарам-тарам-тара...

Ч ё р н а я П т и ц а

Чёрная Птица плачется,
что ни в чём, дескать, не виновата,
но она ведь у нас ключница —
с ключами от всего света.
Значит, душенька, плачь не плачь,
а тебе запирать на ключ,



The Gray Bird.

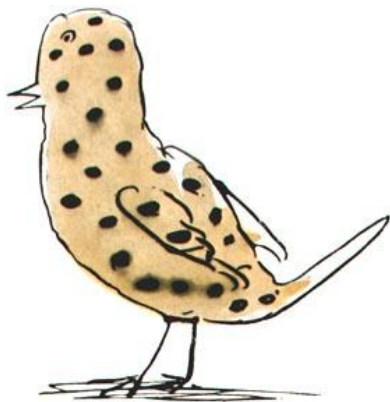


The Black Bird.

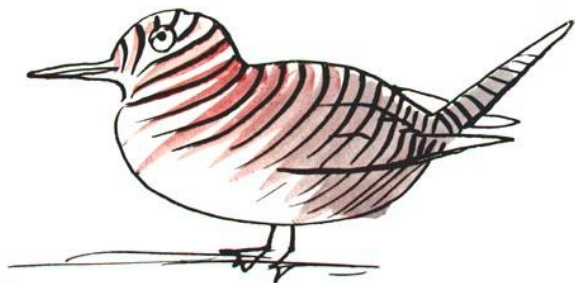
связкой своей золотой звеня,
светлое время дня.
И она запирает все хижины,
все дворцы и так далее —
и в замочные скважины
говорит до свидания,
запирает все крепости,
все шалости и все глупости,
все игрушки, все денежки,
все кадушки, все ладушки,
запирает все да, все нет,
и все междусобицы...
И тогда уже белый свет
на ней клином сходится.

П я т н и с т я П т и ц а

Пятнистая Птица, понятно, пятниста
и чуть-чуть золотится:
это кто-то рассыпал мониста —
получилась Пятнистая Птица:
южный бог поблизости танцевал —
соблюдая нежный свой ритуал,
но взмахнула хвостиком нотка —
и порвалась нитка.
Ах, такое бывает на каждом шагу,
и ещё не такое бывает,
когда Бог обо всём забывает —
Бог на зелёном луту:



The Spotty Bird.



The Stripy Bird.

среди них, богов, тоже всякий люд:
иные танцуют себе да поют,
а потом вдруг... вот, полюбуйся:
крошатся бусы
или рушатся все мосты —
и уже через миг с высоты
раздаётся вздох каменистый:
«Мои мониста!..»

П о л о с а т а я П т и ц а

Полосатая Птица расписная
в пустом перелеске
размышляла о вечном, не зная,
для чего ей полосы.
Будь она арбузная корочка
или тигровая лилия...
но она была обычная дурочка,
каких везде в изобилии.
И большого в ней не было смысла:
её жизни узкое русло
в ширину простиралось на два
каких-нибудь сантиметра,
и была её голова
полна ветра.
Её даже иногда порицали —
особенно всякие полицаи.
И было невдомёк этим неучам,
что есть план у небесного зодчества,
что по птичьим полоскам, по линеечкам,
тоже пишут историю человечества.

Т р е р е б р и с т а я П т и ц а

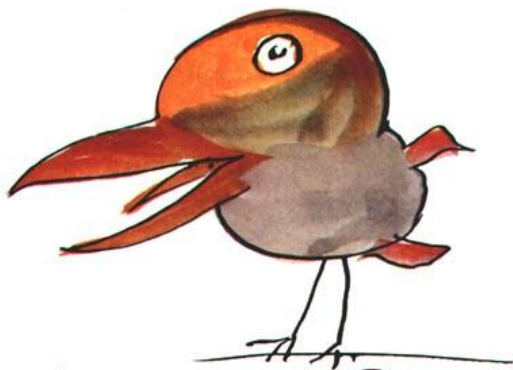
Треребристая Птица
не желала водиться
ни на небе, ни на воде —
нигде:
ни в садах, ни в домах,
ни в мучных закромах,
ни в посудной лавке,
ни на острие булавки,
ни в пробирке,
ни в табакерке,
ни в пудренице,
ни в сахарнице,
ни на глади покрывала,
ни там, где она не бывала,
а уж там, где она находилась,
она и совсем не водилась —
нигде не водилась и ни с кем не водилась,
и где родилась — там не пригодилась,
а где зажила потом славно... —
там и подавно.

С к а р б у з н а я П т и ц а

Скарбузная Птица не пряталась в листве,
Скарбузная Птица не таилась в полутьме —
она жила у нас в голове:
она была в уме.
Ещё там имелась старая ветла —
и птица над нею летала, как метла,



The Rancible Bird.



The Scroobious Bird.

летала и очень красиво
на все лады голосила:
«Как хорошо мне живётся в голове,
как хорошо мне живётся в уме:
в голове как в синеве,
а в уме как в кутерьме!»
И многие относились к ней
как к мысли или в этом роде,
а многие относились к ней
как к зажжённой лампаде —
а многие относились к ней
как к далёкой планете —
и все были правы до конца своих дней.
А неправых нету на свете.

ВЕЧЕР В КАФЕ « L A N T E R N E »

Всё закончилось мятным ликёром
да измятым одним разговором
с без пяти до семи десяти.
Со стола подхватили монетки,
резко встали, собрали манатки —
и затеяли было идти.

А не шлось — и игравший на банджо
всё подглядывал грустно и нежно
в наши карты, качал головой
и одною струной золотою

перечёркивал нашу затею —
и одною звенел тетивой.

И — не шлось, и арабики запах
на тяжёлых, на бархатных лапах
пританцовывал в лунке следа,
хоть его вообще не касалось
ничего из того, что казалось
завершённым уже навсегда.

И — не шлось, и печальная крона
покатилась без звука и крена
в направлении другого стола,
словно всё вообще понимая, —
и легла на ковре, как немая,
и помочь ничему не могла.

А табачная глупая лента
льнула к локтю, твердила *ну-ладно-
посидите-зачем-вам-домой*,
будто знала — и знала, наверно, —
для чего польхает латерна
у порога, над уличной тьмой.

Между тем как за дверью снаружи
собрались уже полчища вражды,
приготовили всю свою злость —
и две смерти обнялись, болтая...
Но звенела струна золотая —
и не шлось, и не шлось, и не шлось.

* * *

Не при этой погоде капризничать у бистро,
на витрины глазеть или медлить на переходе
и часами болтаться по мокрому Vesterbro —
не при этой судьбе, не при этой плохой погоде.

Нам пора научиться отказу от лёгких благ,
от внезапных поездок и слишком далёких планов —
и пора научиться пореже вздымать свой флаг,
а тем паче в присутствии прочих достойных кланов.

Не при этой погоде носить белоснежный плащ
или следовать новой — неверной, как кошка, — моде
и гадать, отчего вдруг пиджак твой уже блестящ —
не при этой судьбе, не при этой плохой погоде.

Тут ведь дело обычное: хоть и идут бои,
но всегда не твои — это где-нибудь там, в России,
между тем твоё войско — синички и воробьи,
да и сам ты не генерал, а Франциск Ассизи.

Не при этой погоде настаивать на правах
и стоять в оцепленье при прочем честном народе,
нападать на дракона — о трёх ли, двух головах —
не при этой судьбе, не при этой плохой погоде.

Все права твои — птичьи, и птичьи — твои мозги,
и живёшь ты при птицах, и птицы тебя помянут,
раз уж в небе твои товарищи и враги,
раз уж только крупа в ненадёжных твоих карманах!

И когда от тебя останется лишь дымок,
присягни лишний раз прихотливой своей свободе,
той, которую ты на земле ублажить не смог —
ни при этой судьбе, ни при этой плохой погоде.

А Л Ь М А А Н Д Е Р С Е Н

У меня остаются две песенки:
это две пограничные песенки —
очень, правда, короткие песенки
по сравнению с... нынешним днём,
но их можно твердить и вынашивать,
перевешивать и перемешивать,
раз завещаны песенки... мне же ведь? —
поздним вечером в кресле одном.

Шпиль похож на Господнее лезвие,
и рассветные сумерки трезвые,
став навытяжку в северном Шлезвиге,
не пускают отныне сюда —
так что чинная улица Йоргена
вся на нервах и страшно издёргана:
ей ненадобность гутена моргена
так нова ещё, так... молода.

Что с ключами теперь, с их брэнчанием —
хоть и тихим, а всё ж замечаемым,
замечаемым и — нескончаемым,
повторяющим в утренней тьме

две мои неотвязные песенки
и вчера ещё связные песенки,
да теперь уж бессвязные песенки —
полудатские, полунеме...

О д н а п е с е н к а
А л ь м ы А н д е р с е н

Там, помню, был Бог и цветок полевой —
и Бог, как цветок, там качал головой,
а чьей головой — не поймёшь,
поскольку ведь Бог не цветок полевой
и, значит, не может качать головой —
своей, то есть Божьей, — а всё ж...

Они были вместе и вместе росли:
Бог рос из небес, а цветок из земли,
друг другу навстречу стремясь,
и вился поодаль какой-то припев —
но, раз не успев и другой не успев,
почти потерял с ними связь.

Надеячись так и исчезнуть молчком,
но будучи схвачен вязальным крючком,
как некая просто петля,
припев был надёжно прилажен с боков,
да жаль, оказался совсем никаков:
ля-ля и ещё раз ля-ля.

А больше в той песенке не было слов —
её заперли на лёгкий засов,
пока, потеряв уже нить,
я так и не мог почему-то взять в толк,
что́ это за Бог был и что́ за цветок,
и что́ их могло так роднить...

Д р у г а я п е с е н к а
А л ь м ы А н д е р с е н

Там мотылёк один порхал,
и там гуляла мэдхен —
и шла беседа по верхам,
на малых скоростях:
на языке таком родном,
таким смешным и ветхом,
как этот город за окном,
протёртый на локтях.

А мотылёк — он был пострел,
сперва, конечно, юный,
но он стремительно старел,
пока беседа шла,
и мы старели вместе с ним
и вместе с этой руной,
и плыл над нами горький дым
минувшего числа.

Ах, не добился ничего
пострел от строгой мэдхен,
а жизнь закончил кочево —
исчезнув в облаках,
и завершился б их роман
словцом, понятно, метким —
да вот... надолго задремал
крючок в ночных руках.

СОРОКАВОСЬМИЛЕТНЯЯ ЖИЗНЬ

1

На дешёвой такой, на бездарной такой оперетте
побывав и сочтя это всё бесконечно чужим,
потянулась к чему-нибудь — к яду, к петле, к сигарете,
к чашке кофе, к перу — сорокавосемилетняя жизнь.

Не желает, не хочет, не может и не долженствует,
а тем паче не сеет, не пашет и даже не жнёт,
и её не заставишь — тяжёлую, полуживую —
натянуть на себя ничего из того, что ей жмёт.

Только кутает голову в тёплое, рифмы бормочет —
ни к чему не ведущие рифмы (но как хороши!) —
и на это хотя бы уж не отдаёт полномочий,
устремив в неприятелей все свои карандаши.

Телефон отключила и, тем распростившись со всеми,
загнала себя в угол и не покидает угла —

и не видит системы в своей кровеносной системе,
и порядка — в порядке вещей, и немножечко зла.

Как дела — да никак не дела, огрызается тихо,
и потом огрызается громко, а как — умолчу...
И, готовая вспыхнуть, хохочет большая шутиха,
не влияя практически на небольшую свечу.

2

Сорокавосемилетняя жизнь — это время такое...
это место такое — почти уже взорванный дзот.
Не звоните и не навещайте, оставьте в покое:
мы потом ещё встретимся... если уж не повезёт!

Потому как в преддверии боя, в преддверии дыма
тела нет, а душа так и так ничего не должна:
все долги прощены и забыты, Земля нелюдима —
и уж если нехватка чего, то короткого сна.

Это время такое... и место, и дело такое —
сорокавосемилетняя жизнь: перепутье и проч.
Впрочем, всё перепутано раньше твоей же рукою —
и помочь бы распутать... да ты ведь не просишь помочь.

Это дело такое, такое уж гиблое дело —
бой с собой под условным названием «бой за себя».
И толпа твоих недругов вдруг до того поредела,
что труба уморилась скликать их, скрипя и сияя.

Это дело такое и место, и время, и бремя,
а плечом поведёшь — будто нет на плече ничего:
лишь осенняя бабочка, астры лохматые брея,
на плечо опускается вдруг — или нет, на чело.

3

Сорокавосьмилетняя жизнь — мастерица скрываться
под зонтом, под плащом, под навесом, под сенью дерев,
под крылом, псевдонимом, смеющейся маской паяца
или вот — темноты под покровом, вконец озверев.

Потому что она опасается пуще напасти
всяких обществ и сборищ — особенно по вечерам,
и одна только мысль у неё: на глаза не попасться,
пробираясь тайком по проулкам и задним дворам —

никого не приветствуя, будто ни с кем не знакома,
просочиться тонюсенькой струйкой прозрачной воды
через толщу эпохи — невидимо и насекомом,
не оставив следов... даже так: заметая следы.

Нас тут, дескать, не числилось в списках, нас тут не имелось —
не встречалось на улицах, не находилось в домах,
вообще не рождалось: такая вот, значит, немилость
плодородной природы — при полных-то при закромах!

И — бочком да бочком, в направленьи к пространству,
три-четыре стены, да замбк, да глухой шпингалет —
в котором

и где, если огня не зажечь, то по спущенным шторам
ни за что не понять, есть хозяин внутри или нет.

4

Сорокавосьмилетняя жизнь пишет, но не читает,
хоть обложена грудями книг — куда только ни глянь.
Сорокавосьмилетняя жизнь — просвещённый китаец,
разобравший и снова собравший весь мир — в инь и янь.

А опять разобрать — не по возрасту и не по силам...
да и, вроде, эпоха не та и порядки не те!
Сорокавосьмилетняя жизнь — переливчатый символ,
в белизне заблудившийся собственной и в черноте.

Ей из знаков, пожалуй, милее всего запятая —
как бы и остановка, а всё же пока не конец,
хоть и некуда двигаться дальше, в сомненьях плутая,
хоть и послан гонец... да едва ли вернётся гонец!

Кто ж теперь возвращается, экие все вы смешные —
на любом повороте грохочет обвал за спиной,
да и в маленьком прошлом одни лишь обвалы сплошные,
и пустые просторы, и ветер гуляет шальной.

Но ведёт запятая — пути за собой заметая, —
а куда уж ведёт, разберёмся, когда добредём —
под бумажным зонтом, ненадёжным зонтом из Китая,
под бумажным дождём, ненадёжным бумажным дождём...

Сорокавосьмилетняя жизнь обожает тот берег,
ту неделю, тот мир — вообще просто... то-что-вдали.
Сорокавосьмилетняя жизнь не выносит истерик,
развлечений, товаров со скидкой, ботинок в пыли.

В ней достаточно стиля и даже немножечко шика,
бездна вкуса — где гибнут стихи, не добравшись до дна,
и такая музыка... такая большая музыка,
будто и не музыка уже, а уже тишина —

укрываемая от случайных вопросов и взглядов
по каким-то своим тайникам... тайникам-чердакам —
посреди отслуживших вещей и таких же нарядов,
достающихся здешним мышам и грядущим векам...

Сорокавосьмилетняя жизнь выйдет в ночь городскую —
посмотреть, мол, какая *иная* звезда не видна ль.
И вздохнёт, что звезда не видна, — ни о чем не тоскуя,
кроме красного шара, давно унесённого вдаль —

кроме красного шара...

Дай Бог ему мягкой посадки
там, где... там-где-салятся-шары и дороги сошлись,
а тебе... да чего же тебе — у тебя всё в порядке,
сорокавосьмилетняя жизнь, мимолётная жизнь!

* * *

Значит, вот... такая небольшая наука —
физика такого пожилого предмета:
звук передвигается со скоростью звука,
свет передвигается со скоростью света.

Физика и музыка единого маха —
медленно торопится почтенная кляча:
смех передвигается со скоростью смеха,
плач передвигается со скоростью плача.

И повадка толстого хитрющего лиса
не смущает бездны равнодушного глаза:
лес передвигается со скоростью леса,
лаз передвигается со скоростью лаза.

Скоро мне домой, где ничто не знакомо,
на колёсах едет семилетнее лето —
дом передвигается со скоростью дома...
Жизнь передвигается со скоростью света.

БАБОЧКА

- 1 Небольшая весьма, но весьма глубокая амбразура —
непременная бездна у древних... да, древних греков
(содержавшаяся, как в амфорах, в узкогорлых
долгих строчках гекзаметра) — вдруг на пути возникла
и застигла врасплох, как всегда меня застигала:
не могу предугадывать бездн... да оно и трудно.
Это область числа (притом что все мои числа —
только цены на ярлыках никому не нужных товаров!),

область счёта — слогов или стоп, набегавших валом,
валом медленных волн, под собой хоронивших время,
если только не сделать короткую передышку
в середине третьей стопы... Краткосрочный отпуск
13 для солдата, случайно не павшего смертью храбрых.

14 Значит, как-нибудь так: по дороге с земли на небо,
утомившись от свиста снаряда у самого сердца,
полагалось вздохнуть облегчённым глубоким вздохом,
и забыть обо всём — на целое на мгновенье.

А за целое за мгновенье случались вещи
совершенно невероятные... так, к примеру,
возникла вдруг бабочка, пересекавшая трассу
смертоносного и почти разорвавшего сердце снаряда,
прилетала — с иголки новая — походная песня,
доносился рожок из соседней оливковой рощи,
и по следу рожка вездесущий божок из местных
прилетал с нехорошим, но долгожданном известьем,
26 что война давно завершилась и все свободны.

27 ...я тут, в общем, о бабочке, о вечном её надзоре
за любой паузой в мире — любым свободным пространством,
куда можно вместить — меж одной войной и другою —
что захочешь... и, стало быть, перевести дыханье.
Там считают убитых и раненых, а живых не считают:
слишком много осталось в живых — война неудачна:
остаётся надеяться только, что в новых войнах
все мы ляжем рядком — и тогда будет всё как надо.
Составляются списки — безымянных, понятно, героев:
в этих списках героев содержат под номерами —
например, герой Сто Пятнадцать... чем же не имя? —

и красиво звучит, и запомнить совсем нетрудно:
39 рассчитайсь по порядку в нестройной шеренге смерти!

40 В суете передышки успеть бы с захороненьем...
Братство братской могилы надёжней любого братства:
брат на брате — и братом же погоняет
в суете передышки и в вечной горячей спешке!
Остаются две пешки живые, но мы и их похороним,
пока писари пишут письма с тяжёлым нажимом,
пока сохнут чернила... чернила недолго сохнут,
хоть и дольше, чем кровь, — и гораздо дольше, чем слёзы.
Впрочем, паузы хватит с лихвой — и просохнуть чернилам,
и дойти похоронкам, сухим и шершавым, как вереск,
разносимым миролюбивыми голубями
вроде веточек мира... такого непрочного мира,
53 что нажмёшь посильней — и нет его как не бывало.

54 Только я ведь о бабочке... неторопливой летунье,
распластавшей короткие крылья на пути у снаряда:
между ними — ущелье, и в нём на минуту застряла
золотая минута молчанья, но... канула в пропасть.
Ни о ком ничего не сказали: уже позабыто
и самой-то войны развесёлое грозное имя!
Впору спрашивать старцев: на то ведь они и деревья,
чтоб всегда выживать и являться на переключки, —
дескать, ради чего разгорелся сыр-бор, и чего добивались,
и за что умирали так празднично и так охотно,
и где все командиры, когда тут одни рядовые...
Старцы многое помнят: на то ведь они и деревья,
67 чтоб шумели их кроны, когда прочие все затихают.

68 А потом возникает цензура: стыдливый редактор,
переписывающий старинные длинные свитки
языком современным — конечно же, больше понятным,
чем какой-нибудь мёртвый, давно опочивший в Бозе!
У него, у редактора, обычно плохо с глазами:
близорукость, как правило... вечная близорукость:
он умеет увидеть снаряд, но вблизи от снаряда
никогда не заметит бабочки — не говоря уж о смерти.
У него ненадёжная память, он путает цифры:
например, для него герой под номером Сто Пятнадцать —
то же самое, что под номером Два Миллиона Тридцать.
И к тому ж, он считает, что будет гораздо лучше
81 замолчать номера — а то как бы чего не вышло!

82 Вот и всё... но затишья, как правило, не хватает
ни на наш с вами век, ни на чей-нибудь век подольше:
и опять пролетают снаряды у самого сердца —
и опять далеко до ближней оливковой рощи.
Вездесущий божок из местных торгует водкой,
продавая её тайком боязливым солдатам,
чтобы те распевали — с иголки новые — песни,
и бросались в бой, и в бою, как львы, умирали.
Налетает ветер, хороший северный ветер
и выветривает из памяти жизнь шальную,
а цена ей какая... монетка, минутка, слава,
рюмка водки — за здоровье... вот хоть божка из местных!

95 лишь потом вспоминается: бабочку звали Цезура.

КАРАВАЙ - КАРАВАЙ

1

Ну, здравствуй же, полный резни и возни,
мой город, Великий Не Мой!
такой каравай-каравай, чёрт возьми,
как будто и вправду домой
вернулся — и снова идут колесом,
часы, подминая судьбу...
хотя ведь, казалось, забыл обо всём
и видел всё это в гробу!

Но схватит за горло, но бросит на плац,
на красный бульжный помост —
где всё-как-и-прежде, где смейся-паяц,
где жалок-твой-жребий, где прост
расчёт — на себя, на свою маету
по городу, полному лиц,
державших забытые фразы во рту —
весь ворох былых небылиц.

Где — за руки взявшись — покружишь ещё,
поводишь ещё хоровод —
пустое пространство обняв горячо,
хватая кого повезёт
за локоть, за горло ли... руки дрожат:
тут высоковольтная связь!
А твой каравай всё растёт на дрожжах —
ворча, клокоча, пузырясь.

2

Так что ж было общего? Да ничего
не вспомнишь, хотя б и с трудом.
Сограждане, связанные бечевой —
пучок сельдерея, пардон:
мол, все были братья — и каждый трамвай
роднил, как и Бог не роднит...
Так что ж было общего? Да каравай —
огромный округлый магнит.

Тогда раздавали ещё по куску,
на выбор, на честный делёж,
долины да реки, печаль да тоску,
соблазны да страхи, да ложь —
и, помню, тянуло, как муху на мёд,
как бабочку на огонёк,
вокруг каравая водить хоровод
со всех своих, стало быть, ног —

до юности, зрелости... до сорока
каких-нибудь — с гаком и без, —
но не досчитались потом едока:
был, дескать, да как-то исчез
среди облаков, где никто не живёт —
помимо каких-нибудь птах!
Понятное дело... кружил хоровод —
кого-нибудь да растоптав!

Идут да поют: каравай-каравай —
пуста и легка голова!
Из бездны взывая, молю: не взывай
из бездны, Москва ты, Москва —
со всеми своими то этим, то тем!..
Не помню имён и домов —
ни этот вот памятник, древний тотем,
который так грешен, так нов!

А всё возникают и гибнут в толпе
воронки объятий — давно
и крепко замкнувшихся сами в себе,
такие знакомые, но
такие остывшие... холодно тут
у вас, при такой-то жаре:
термометры врут, и хронометры врут,
и хмурится Павел Буре.

И может быть, я здесь не жил никогда,
раз вместо врагов и друзей
среди этого снега, среди этого льда —
сей мемориальный музей.
Давай-ка ты, милый, отсюда, давай —
исчезни, покуда живой,
а то ведь такой каравай-каравай,
такой хоровод роковой!

* * *

Вот у этого камня и остановитесь,
ибо нет утешения на стороне,
зачарованный странник, заносчивый витязь
на своём деревянном коне.
Так пристало стоять полевому растению —
в рукаве укрывая бокал:
тут, по этой дорожке, коротенькой тенью
страх уже не однажды мелькал.
А по этой — гуляла гроза с облаками
в незапамятные времена,
а по этой — отчаянье шло со полками,
и запятнанные знаменá.
Но мелькнуло сомнения кроткое жало —
впрочем, не причинивши вреда, —
и свою дорожкой слеза пробежала,
не оставив следа.

* * *

Вот вам города древний срез:
тут сияние до небес
из автобуса нумер нуль,
чей водитель прилёт на руль, —
при свечении сих Стожар
я единственный пассажир
в этом городе неживом
на автобусе нулевом.

Это счастья такой оскал,
то, что я так давно искал
между этих земель и тех —
на беспутных моих путях:
сесть в автобус, какой ни тот,
и, поехав себе вперёд,
словно нимбом, нулём блеснуть
в направленьи куда-забудь...

Дескать, взбалмошен и бедов,
снялся — и никаких следов,
и пропал, махнув рукавом,
на автобусе нулевым:
и поди теперь догони
те блуждающие огни —
тот автобус, что пренебрёт
смыслом всех на земле дорог.

* * *

Так жизнь рисовала — на ощупь, впотьмах —
круги и квадраты,
был беличьей кисточки жалок размах,
но слёзы — крылаты,
и было легко воспарять на слезах
в пространство кривое —
и там спотыкаться на самых азах
любви и неволи.

Из рабства взываю, весёлый Господь:
по горним ступеням
веди мою праздную глупую плоть
куда не успеем,
серебряный шелест сухой мишуры
мета по сусекам, —
в иные миры, на иные пиры,
к иным человекам!

Но ночи воскресной пустынная гладь,
наездник ты бранный,
тебе для того, чтобы перевязать
свежайшие раны,
а завтра — над тою же над мостовой
нестись, как над бездной...
И — весь растерявшийся, полуживой —
вослед будет снова качать головой
твой ангел железный.

* * *

Ни опоры ни единой
в этой книге лебединой —
книга, улетай!
Он держал тебя при доме,
он кормил тебя с ладони
пылью золотой.
Он был весел и отчаян,
он души в тебе не чаял —
да недоглядел:
ты теперь уже большая

и, на волю поспешая,
ищешь свой предел.

А ему сидеть на ветке,
а ему глотать таблетки,
прогоняя стресс —
то цикадой, то цитатой,
то ещё какой крылатой
живностью с небес.
Он теперь тяжёл и мрачен,
раздражён и одурачен —
чем? Да пустяком:
что все дети подрастают
и все книги улетают
в небо напрямиком.

* * *

...а ещё был такой темноглазый предмет
с очень длинным названием:
он стоял и мерцал, он умел говорить
языком человеческим,
у него на груди было много цепей —
и все цепи звенели,
у него было два небольших колеса,
но они не крутились.

И потом вспоминается розовый тон
одной штуки — довольно
специальной, имевшей два птичьих крыла
в изумительных перьях:

эта штука должна была, вроде, летать,
но летать не летала,
а пылилась, как дурочка, на чердаке —
напевая и плача.

Много всяких таких непонятных вещей
прибывало волнами:
типа — вот ещё — двух золотых полусфер,
находившихся рядом, —
и при этом одна полусфера была
с ликом Девы Предвечной,
а другая — пуста, но горела огнём
и почти ослепляла.

Вообще, что касается цвета и форм —
они были прекрасны,
их слова понимались совсем без труда
и умели утешить:
дескать, что́ ж теперь делать-то, милый ты наш...
не грусти понапрасну,
потому как дано тебе много всего —
выбирать и смеяться.

И опять выбирались какие ни то
кружева или кольца,
или просто вот обруч весёлый один —
чтоб катить по дорожке,
или даже пружина: в ней сила была —
и она, эта сила,
распрямяясь, обычно толкала вперёд
задремавшее время.

И тогда вдруг казалось, что жизнь хороша
среди всех этих как-то
худо-бедно собравшихся вместе картин,
именуемых миром, —
непонятым осталось, пожалуй, одно:
в чём их предназначенье,
но об этом судить и не вам, и не мне,
и не нам с вами вместе.

* * *

Мир картонный, мир пустой,
мир без окон, без дверей,
без легенд, без новостей —
мир от слова «умирай»:
рай от слова «умирай»...
Наиграйтесь наконец
бесконечною игрой
из монеток и колец.

Много ль стоит, господа,
бумеранг через строку,
если пишущий всегда
остаётся начеку —
вместо вот чего: летя
и теряя башмачки,
как небесное дитя,
выпорхнуть из-под строки!

Наиграйтесь наконец
возле красного словца —
красного словца,
золотого тельца.

ЗАКРЫТОЕ ПИСЬМО С ЗАПАДНОГО ФРОНТА СТУДЕНТАМ ФАКУЛЬТЕТА ЖУРНАЛИСТИКИ

Как на западном фронте — понятно. Что у вас на восточном —
на восточном, где сосредоточены пушки и звёзды?
В ваших письмах стремительных, судя по многоточьям —
многоточьям, в точности напоминающим гвозди, —
всё неправда...

Ибо на самом деле вы дети,
расшумевшиеся не ко времени да не к месту!
И какие доспехи вы на себя ни наденьте,
и кого ни приговорите к казни или аресту —
всё равно вы потом расплачетесь и отпустите пленных,
испугавшись себя и жестокой своей свободы...
И мне жалко ваших разбитых локтей и коленок,
и мне хочется дать вам дюшеса или крем-соды.

Но, когда я слышу с востока залпы орудий
и когда понимаю, что это уже не шутки
и что мне не догнать вас на старом моём ундервуде,
потому что вы впереди на целые сутки —
я пытаюсь вспомнить, когда же вы повзрослели?
Да на памяти — только утреники и пелёнки,

и высокие горки, и лёгкие карусели
да рожок Гесиода — пастуший такой, далёкий...

И я должен бы запретить вам всё это вроде,
да какое там!.. Отпишетесь многоточьем,
рассмеётесь: это у Вас там, на западном фронте,
никаких перемен... да мы-то тут — на восточном.

* * *

Никакого сердца не хватит на беловик,
где цветы навьгтяжку — вот уж который век,
где сказали смирно, забывши добавить вольн... —
никакого мира не хватит на столько войн.

Ты гори, гори, моя жизнь, на чужих кострах,
ты лети, лети, моя тихая птица страх:
небосвод бескраен, да жалко, что неглубок, —
нету Бога там, где начертано слово «Бог».

Паутиный кокон, спаси нас и сохрани,
защити нас слабою силой своей брони,
не пускай к нам больше ни былль, ни иную боль,
паутиный кокон, дырявая колыбель!

Колыбель качается, как на воде челнок, —
баю-баю-баюшки, новой войны сынок,
там коса по свету гуляет себе и жнёт,
а топор — за нею: он на косе женат.

Не ходи по улице, глупая голова:
слишком быстро крутятся улицы жернова,
слишком быстро молятся, спрятав в рукав лицо,
мельники на мельнице, трогая колесо.

* * *

...и, завернувшись в хитон до пят
и усмиривши прыть,
в будущей жизни я стану петь —
петь и совсем не жить:
петь, достигая таких высот,
где только вечный сад,
петь, достигая таких низов,
где только вечный зов.

Бог, ничего ты мне не давай —
не во что завернуть! —
дай только голоса каравай,
как я отправлюсь в путь —
вниз, по ступенькам, по облакам
в самую, значит, тьму:
петь пастухам или рыбакам —
или ещё кому.

Пусть угощается люд простой,
милый усталый люд,
сытый тяжёлою немотой
в мире, где не поют.

Я-то ведь знаю, куда идти,
Доброе Божество,
и просто так не раздам ломти
голоса моего.

* * *

Перепрыгнувши через верёвочку
раз, два раза и несколько раз,
наша вечность садится на лавочку,
сожалеючи, что увлеклась.
И опять — размышлять о возвышенном,
и опять — порицать производ,
обращаясь к миру: мол, ваше нам...
то есть наше вам — с кисточкой, мол!

Это шутки святого Антония,
достающего из рукава
нашей прежней среды обитания
золотые, пустые слова.
Он всегда тут как тут — со шкатулочкой,
полной всякого хлама и слёз, —
разочтешься с ним детской считалочкой:
дескать, энеке-бэнеке-клёц!

Ты куда со своими потерями,
дорогой престарелый пострел?
Я сошью из дырявой материи
новый век — чтобы старый пестрел

золотыми своими прорехами,
золотою своей пустотой!
Улыбнулись — качнулись — проехали:
Сохрани нас, Антоний святой!

* * *

Ладно... тот или не тот,
дух или не дух —
голос тихий прилетит
на крылах, на двух,
и присядет на кровать:
я тебе спою —
только глаз не открывать —
колыбельную.

Спи-дитя-моё-усни,
все устали от резни,
все легли на поле боя —
кого ни возьми:
и холопы, и цари,
спи-дитя-моё-умри —
чёрт с тобою, Бог с тобою,
тари-рари-ри.

Нет у голоса ни слёз,
ни улыбок, ни...
ничего — и в этом плюс
всех его усни,
он ни мертвый, ни живой,
а какой — да вот...
врач он, фельдшер полевой,
у него обход.

Баю-баюшки-баю,
скоро встретимся в раю,
видишь, там такая дверца
неба на краю?
Ибо здесь, в кромешной тьме,
на тониосенькой тесьме
что нас держит? Только сердце,
повреждённое в уме.

* * *

День не занимается — и звёзды не у дел:
месяц из тумана прогуляться выходил —
и летели головы по воздуху долой,
а тебе всё песенки, кузнечик пожилой!

А тебе всё праздники, тяжёлый мотылёк:
весел-то ты весел, да уж больно недалёк,
ничего не видишь, а сигаешь в небеса,
где косила головы высокая коса.

Тесно было на небе серебряной косе —
и лежат на облачке порубанные все.
Грустно было на море — снаружи и на дне, —
и плывут на лодочке убитые одне.

Не найдёшь ли где-нибудь в чулане, при свечах,
похоронной песенки, печальный весельчак?
Сердце твоё ветхое живет не на земле —
оно нарисовано на ангельском крыле.

ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА

Этот старый фильм на тёмной плёнке
светится снаружи и с изнанки,
и плетёт серебряный паук
жизнь, уже прошедшую раз двести,
но опять стоящую на месте
и не размыкающую круг.

Этот старый фильм на тёмной плёнке...
бедный светлячок в стеклянной банке,
мотылёк, согну́тый пополам,
муха танцевала на уздечке —
Боже, как мы были бессердечны —
и как бессердечны были к нам!

Этот старый фильм на тёмной плёнке...
дорогие, глупые пылинки,
тычущиеся во все углы.
И от той золотоносной пыли
мы с тобой сидим совсем слепые
и боимся лучезарной мглы —

прошлого: мы дети, мы былинки,
мы стоим с тобою на полянке
между морем, небом и землёй, —
где счастливый царствует порядок, —
и смеётся из тяжёлых складок
Мебиус с пеньковой петлёй.

* * *

Оттого все слова нам тесны,
что ясны, что туманная область
недалёкой отсюда весны
не вмещается в них как подробность.

Помнишь, ночь выгесняла цветы
за решётку дощатой ограды
и летело за край темноты
безутешное соло из сада?
Помнишь, как выгеснял абажур
тень из комнаты светом вечерним,
а слова «это Вы чересчур»
сами были преувеличеньем,
но от них становилось легко
меж невидимыми берегами?

И потом, как с плиты молоко,
наши лучшие дни убегали...

* * *

Не пора ли, взвесивши серебро,
на Восток отправиться, в Остербро,
и — воздав сторицею старине —
погулять по солнечной стороне?
Потому что, помнится, теневой
по другой гуляли мы мостовой —
и от той, неправильной, стороны
стали мысли путаны и темны.

А кто ходит правильной стороной —
у того ни тучки нет за спиной,
он идёт по городу, не таясь —
словно царь какой-нибудь или князь.
Он идёт по городу налегке —
день сжимая завтрашний в кулаке,
и ему вся будущность нипочём:
у него есть солнышко над плечом,
у него есть ласточка в синеве,
у него есть лестничка в голове —
и по этой лестничке он уйдёт
в никому не ведомый небосвод.

* * *

Не расспрашивай, красавица,
шутника и лицедея!
Всё метелица, бессонница
да семь пятниц на неделе...
Не расспрашивай, разумница,
чудака да мизантропа:
всё невнятица, сумятица
да опять закат Европы!
Не расспрашивай, забавница,
дурака и чародея:
его мучают любовница
и бесплодная идея.

Не приходит Богородица,
но проходит стороною,
а приходит неурядица
и смеётся за спиною:
дескать, нет тебе ни правила,
ни закона, ни пути нет —
то латиница кириллила,
то кириллица латинит!

* * *

По небу проплыл белый катер,
в катере летел вольный ветер:
и вздохнул во мне город Питер
сиротливо и белокрыло —
и заговорила Ольховка,
и заговорила Канавка,
а за ними Малая Невка
осторожно заговорила.

Что они сказали — неважно:
пусть и хорошо, пусть и нежно,
только совершенно ненужно,
и, на самом деле, напрасно, —
потому как всё уже поздно,
и давно закончена тризна,
и на дне души моей грузно
ныне и — наверное — присно.

Лучше я забуду навеки
нежные да прежние звуки,
все намёки, все экивоки
я забуду, честное слово!
Но сидеть булавке Ольховке,
и сидеть булавке Канавке,
и ещё одной, Малой Невке, —
всё равно в груди моей, слева.

* * *

Вам, молодые господа
(вы только-только из гнезда,
на вас смешное оперенье), —
я завещаю эмпирии:
вы в них бывайте иногда.
Там множество дымков печных,
и звёзд, и ангелов ручных,
и прочих, всеми позабытых
небесной жизни атрибутов —
как прописных, так и строчных.
И я там был, мёд-пиво пил —
и подо мной качался пол
того заоблачного мира,
да вот... давно настал черёд
для новых молодых господ:
там, в эмпириях, Бог их ждёт —
и им готовит сувениры.

Н О Ч Ь

Всё никак не сдавалась Великая Явь,
Великая Власть дня:
у неё на одежде была кровь
и звенела её броня.
Но я знал: ей не победить меня,
как её ни грозна рать, —
даже если я упаду с коня
и улечу умирать!

Впрочем, крошка-брешь шириной с грош
говорила уже: брось! —
и вспорхнули птицы со всех крыш,
распевая и серебрясь,
и по яви, рыб чешуёй рябя,
за волной побежала волна —
и я видел тебя, я видел тебя
в подзорной трубе сна!

Б У К В А Р Ь

Вот и причалили, значит, на праздной фелюге:
дел стало хоть отбавляй, застревающих в горле, —
все ордена перекрасили, все перевесили флаги,
все имена поменяли, а отчества стёрли;
дни переставивши, перекроили недели;
храмы разрушив, построили новые храмы,
стали молиться, о чём отродясь не умели, —
мама же мыла и мыла несметные рамы.

Переписали скрижали — исправив ошибки,
переиначив слова до последнего слова,
прежних врагов изловили и дали по шапке,
перемотали клубки и запутали снова,
и повторяли опять, по складам, спотыкаясь,
жизнь свою слева направо и далее прямо:
через всю эту сумятицу, весь этот хаос —
мама же мыла и мыла несметные рамы.

Мама же мыла и мыла несметные рамы,
и проступал небосвод на стекле постепенно,
были такие высокие руки у мамы,
и на руках её пенилась белая пена...

* * *

Обещала — мучительница, беспощадница —
развесёлое пряча лицо в колесо,
карусель обещала, что всё возвращается, —
и оно возвращалось, любезное Всё!
Выступали из памяти тропы заветные,
а по ним — из одной запылённой страны —
шли и шли драгоценные наши животные:
наши львы, наши волки и наши слоны.
И вокруг деревянной колонны с акантами
начинала кружиться, глазами блестя,
молчаливая девочка с белыми бантами
на понятливом пони с попоной в кистях.

И, держа на весу свою кружку пузатую,
где старательно пенился бронзовый эль,
засыпал карусельщик, накрывшись газетою,
забываячи остановить карусель,
а она повторяла, пророчица, умница:
догоняйте же, что ж вы... осталось чуть-чуть —
и грядущее с прошлым однажды обнимутся,
и их больше тогда уже не различить.

* * *

А когда нас засыпет снегами
тот же самый минующий век,
чьи события мы отвергали,
потому что смотрели наверх,
мы забудем смиренные лица
наших близких и наших чужих,
мы разучимся дуться и злиться
и по улицам тёмным кружить,
мы помиримся с веком навеки
и, в объятья его заключив,
вместе вспомним случайные вехи
на дорогах ночных и ничьих:
тут стояла зима, там — утрата,
там — надежда, продрогшая вся...
Мы их не разглядели когда-то,
ни за что полюбив небеса.

* * *

Вы не смотрите на меня — вы посмотрите на себя,
как вы прекрасны и умны, братья и сёстры,
как много в вас ещё огня — вы не смотрите на меня —
и как крепка ваша броня, и танки быстры.
Вы посмотрите на себя: какая дружная семья,
какие яркие цветы у вас в петлице,
какая славная родня — вы не смотрите на меня, —
какие лица и какие небьлицы,
какой у вас тяжёлый стяг, порядок в танковых частях,
и каждый миг, и каждый шаг овеян славой,
и как, спокойствие храня — вы не смотрите на меня, —
вы всё правее, всё сильнее и всё счастливей.
Жаль, что мне эту благодать отсюда просто не видать,
а то бы я бы, разумеется, проникся
или пленился, без вранья — вы не смотрите на меня, —
благополучием и игрека, и икса.
Но вам *должно* быть всё равно, вы не печальтесь, вам *должно*
быть безразлично, где и как я, и зачем я:
седлая резвого коня, вы не смотрите на меня,
а просто следуйте-ка к пункту назначения:
к своим высотам и богам, к своим далёким берегам,
меня оставив — верить в дао или в Будду
и в милость завтрашнего дня... вы не смотрите на меня:
я, в общем, выбыл — и теперь уже не вбуду.

* * *

Со стихами в голове —
ну а больше-то им... где же?
Не годятся для продажи
ни рисунки, ни стихи:
за них денег не дают,
за стихи и за рисунки —
помрачённые в рассудке,
они пляшут и поют.
Они пляшут и поют:
тари-рари, тари-рури,
я скачу верхом на буре —
во все стороны гляжу,
отойдите-ка на метр,
отойдите на два метра —
отойдите на два ветра,
на два облака назад!
В небесах они живут,
все стихи и все рисунки,
у них гордые осанки
и весёлые глаза,
и счастливая судьба —
дурачка и ясновидца —
никогда не продаваться,
никогда и ни за что.

* * *

Л. Б.

Воспоминанья были ветхи,
но с ними мы и не дружили:
мы рисовали на салфетке
грядущего черты чужие —
каким-то невозможно синим,
как водится у несчастливых,
и пахнул кофе керосином,
и явно не хватало сливок.
Вблизи — и всё-таки с изнанки
действительности — всё мелькали
три ютские официантки
цианистые, словно калий,
и, изучая эту живность
(ведь надо же так расплодиться!),
мы то смеялись, то страшились,
что нечем будет расплатиться.

Считали эрё на ладони,
и перекрестья циферблата,
и слёзы на твоём подоле,
и были дерзки и крылаты:
не помню — птицы ль, тени ль, дети ль,
и кто бы знал, что был так близок
один невидимый свидетель,
желанья заносивший в список...

* * *

Вот почти уже и не видна,
вот почти уже и не близка
занесённая снегом страна,
занесённая снегом строка.
И теперь ни за что не понять,
как там жизнь, как там наши дела
и куда путеводная красная нить
нас вела — и куда привела.

Не спеши умножать письма,мена,
ибо всем письмам грош цена,
ибо только бумага — стирай-не-жалей! —
и ценна: тем ценней, чем белей.
А потом, через несколько лет,
так и так мы проступим на свет —
словно знак водяной серебрясь сединой
на поверхности на ледяной.

* * *

Очертания сказки больше уже не рёзки:
перепутал зонтики Оле-Закрой-Глазки —
и уже не припомнишь, что́ ты читал по-русски,
что по-датски, что по-немецки, что по-английски,
и уже не припомнишь, что́ ты читал по-птичьи —
что по-беличьи, что по-паучьи, что по-собачьи:
ничего не осталось — разве вот... многоточье,
но по этому следу не вычислить путь добычи.

Бродит память твоя по кругу и что-то мямлит,
пережёвывая остатки чужого спора —
ах, не хочет с тобой беседовать датский Гамлет
на родном языке для него чужого Шекспира!
И Такое со смехом рядится в Не-такое,
и трёхмерные судьбы становятся вдруг плоски,
и уводит в туман таинственный Оле-Лукойе
за собой простоватого Оле-Закрой-Глазки.

СКАНДИНАВСКИЕ ШАЛОСТИ

Торбен смиренный

Герр Торбен скакал на белом коне,
ни разу с судьбою не встретясь,
но ждала его гибель на дальней войне.
Что же нам делать с тобою, смиренный витязь?

Однажды, гуляя в чужой стороне,
наконец он встретил свою судьбу.
Судьба скакала на пегом коне
со звездою во лбу.
Что же нам делать с тобою, смиренный витязь?

«Я не знал, что в этих краях война,
не надета на мне броня,
но, судьба на пегом коне, ты вольна
на землю сбить меня.

И закончу я здесь молодые дни,
всем нам цена одна.
Но сперва ты мне, судьба, объясни,
чья это война?»

Что же нам делать с тобою, смиренный витязь?

И к нему подлетела одна стрела,
а потом другая стрела —
и они его выбили из седла,
хоть он крепок был, как скала.
И герр Торбен увидел тогда, что земля
его кровью обагрена,
и спросил судьбу — в упор, не юля:
«Чья это война?»

Что же нам делать с тобою, смиренный витязь?

И тяжёлое пушечное ядро
разорвало его нутро,
и герр Торбен увидел себя в небесах —
среди прочих погибших всех.
Там плыла луна со звездой во лбу,
от горячей крови пьяна,
и герр Торбен спросил, узнав в ней судьбу:
«Чья это война?»

Что же нам делать с тобою, смиренный витязь?

И летала по небу его душа
и не знала, куда ей пристать,
а все прочие души, рядом шурша,
ей твердили: тут благодать.

Но средь райских сине-зелёных трав
только вечно томилась она —
ибо землю покинула, не узнав,
чья была эта война.

Что же нам делать с тобою, смиренный витязь?

Гудрун и Дагмар

Так пели однажды, да больше не петь —
плетя подвенечное покрывало.

Свистит и ранит времени плетть.

И небо исчезло, как будто бы и не бывало.

Пели Гудрун и Дагмар, две птицы лесов,
Пели день напролёт, кружева побросав.

И небо исчезло, как будто бы и не бывало.

«Гудрун, Гудрун, неделя уже прошла,
и другая прошла, и стоят дела».

«Дагмар, Дагмар, напомни-ка мне припев
про нерадивых дев».

«Гудрун, Гудрун, в этом припеве слова —
они всем кружевам кружева,

Гудрун, Гудрун, мы ведь погибнем в ней,
в этой тонкости кружевной».

И небо исчезло, как будто бы и не бывало.

Прислали гонца, гонца из дворца —
спросить, далеко ль ещё до конца,
летит гонец, звенит бубенец:
госпоже пора под венец.
Такая вот счастливая весть:
уже в дороге заморский гость —
спешите, дескать, ловчее плесть,
оправдывать эту честь.

И небо исчезло, как будто бы и не бывало.

«Дагмар, Дагмар, месяц почти истёк
Дагмар, Дагмар, мы не успеем в срок,
Дагмар, Дагмар, молись, чтобы нам помог
наш златокудрый Бог».

«Гудрун, Гудрун, а помнишь тот переход:
на полтона вверх — и наоборот?»
«Ах, нет, я не помню тот переход
на полтона вверх — и наоборот!»

И небо исчезло, как будто бы и не бывало.

Уже примчалась, от гнева дрожа,
сама сиятельная госпожа.

Уже и плети пустились в пляс —
и смерть подкралась, и Бог не спас.

И небо исчезло, как будто бы и не бывало.

«Гудрут, Гудрун, прощай — и прощай, весь народ!».

«Дагмар, Дагмар, я вспомнила тот переход
на полтона вверх — и наоборот...»

И небо исчезло, как будто бы и не бывало.

Майбриг и Вальдемар

Он оставил ей ивовое кольцо —
в то холодное утро,
а она ему — берестяное словцо.
Нет у нас за душой ничего, кроме ветра.

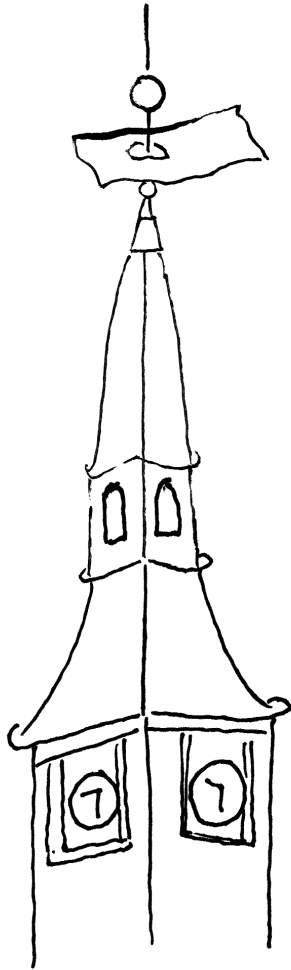
«Я вернусь к тебе через несколько лет,
богат и выбрит,
и тебе привезу золотой браслет.
Жди меня, Майбриг».
Нет у нас за душой ничего, кроме ветра.

Так ушёл Вальдемар. Через девять недель,
увидевши первую почку,
Майбриг перестала смотреть вдаль
и родила ему дочку.
У дочки были те же глаза,
что и у самой Майбриг,
а годам к десяти — густая коса:
Вальдемар придёт и одобрит.
Нет у нас за душой ничего, кроме ветра.

Майбриг умела ловить птиц,
а дочка — рыбу, и в этом
состояла их жизнь, покуда отец
не вернётся назад богатым.
И — никто не помнит, какого числа —
семена за эпохой,
дочка внезапно вдруг подросла,
а Майбриг стала старухой.
Нет у нас за душой ничего, кроме ветра.

«Мне осталось недолго, но ты не плачь,
так и все мы: живём сколько можем,
да работаем, не разгибая плеч,
да питаемся словом Божьим,
да храним в нашей памяти ивовый след,
но однажды случится чудо —
и нам всем привезут золотой браслет,
ибо все мы бедны, о чадо.

И нету у нас за душой ничего, кроме ветра».



УЧЁНЫЕ ЗАПИСКИ
СУМАСШЕДШЕГО

С О Н Н И К

1

*Слепая кошка пробирается по датам –
по полю минному, минуя всё подряд.
Приходит доктор философии с трактатом,
в котором галочки средь облаков парят.*

Ну что ж, готовься к бесполезному полёту,
бумажных крыльев, сколько сможешь, настриги:
положишь под ноги, ступая по болоту,
чтоб облегчить свои тяжёлые шаги.

2

*Держа в руках по софока одной иконе
и церковь белую неся на голове,
моя прабабушка катается на пони –
почти в Японии, но, видимо, в Москве.*

И если это не к дождю — тогда к чему бы?
К тому-сему и ни к чему, мой золотой, —
сугубо к глупостям каким-нибудь, сугубо
к одной какой-нибудь случайной запятой!

3

*Два гражданина (неизвестных) удят рыбу,
но в дверь стучат – и входит мёртвый человек.*

*Он говорит туманно: «Либо деньги, либо...» –
и по канату поднимается наверх.*

Мне, вероятно, предстоит здесь задержаться
не слишком долго: тут такая теснота,
такие крепкие кругом рукопожатья –
и так распахнуты небесные врата!

4

*Вдова соломенная в дудочку гудела,
сломала дудочку и сразу умерла.
Возник весь в белом, чтоб сказать: «Не в этом дело» –
и сразу маленький сарай сгорел дотла.*

Теперь, пожалуй что, придётся объясниться
со всеми сразу: дескать, был почти в бреду
и потерял отсюда главную страницу...
и вообще совсем не то имел в виду.

5

*Там было море – и на дне росла гречиха.
Но море кончилось почти у самых ног,
и совершенно посторонняя ткачиха
мне подарила полотенце и станок.*

И как теперь я буду жить — уже неважно: всё вдруг уладится почти что без труда — и можно сесть и написать: «В ответ на Ваше письмо...» — и прочее, что пишется всегда.

6

В кафе сидел мой прошлый друг и Schwarzer Peter, вдруг генерал воскликнул: «Занавес!» — и тут я понял: он не генерал, он просто ветер, и скоро кончится, и все тогда уйдут.

Так-так... настало, значит, время не бояться безмозглой правды и смешных её атак, поскольку всё, что мне пока ещё неясно, не прояснится уже, видимо, никак.

7

В соседнем доме при свечах чинили фельсы, но мы-то жили вообще в другой стране, а именинный торт внезапно загорелся — и две сестры (совсем ничьих) сидят на пне.

Отсюда следует немного, но такого, что, в общем, лучше и не думать о таком, а просто взять да и прибить на дверь подкову, чтоб всё совсем не покатилося кувыркoм.

8

*Все гости знали: под столом растёт малина,
но все моллись, и никто её не рвал.
Вдруг дочь министра привела с собой павлина
и села с нами, хоть никто её не звал.*

Что ж тут поделаешь!.. Попробуем иначе
(и то сказать: давным-давно уже пора!):
поставь себе невыполнимые задачи
и зачеркни их — лёгким росчерком пера.

9

*Монашка с пиццею в руке кружилась в вальсе.
Внесли покойника, но, оказалось, зря.
Один солдат два раза переодевался
сначала в женщину и лишь потом — в царя.*

Пустые хлопоты, напрасные заботы:
не сей, не жни и в житницы не собирай,
но в храм пойдй — поставь свечку за того-то
и за того-то... чтобы им увидеть рай.

10

*Пришли убить меня фонариком китайским,
но я отсутствовал. Все стали печь пирог
и угощать меня, и говорить: останься! —
и ставят вазу с красной розой на порог.*

Всё это к лучшему — и нет причин для грусти,
питай надежды и питайся пирогом,
и всё устроится — не в жизни, так в искусстве,
а не в искусстве... так не — в том и не — в другом.

1 1

*Я был здесь прежде, но не знал, что тут Гвинея.
Вдруг все вокруг заговорили о Толстом,
когда один из чернокожих, зеленея,
стал крупных бабочек ловить огромным ртом.*

Увы... хорошего не жди, дела такие.
В моей стране чужая музыка слышна.
А впрочем, музыка — свободная стихия:
ей странно слышать от тебя: моя страна.

1 2

*Народ кричит — и президент бросает прясло,
и все бегут на карусели как один.
Врач утверждает, что лечение напрасно
и предлагает канифоль и кокаин.*

Всё к помешательству, к внезапному удару,
начнёшь бесчинствовать, впадать то в бред, то в сон,
бежать по длинному пустому коридору,
ища спасительный — последний — небосклон.

1 3

*На завтрак подали зелёную пижаму,
но музыканты разбежались кто куда.
За час я так привык к тюремному режиму,
что говорил по-португальски без труда.*

Сюда, пожалуй, уже лучше не являться,
забросить думать и забыть себя в былом,
но сесть в коляску и уехать на Аляску,
а там уж действовать — всерьёз и напролом.

1 4

*Играли в карты, я всё время путал масти,
потом на поезде приехал пастор мой,
потом – испачкавшись нарочно в рыбной пасте –
кормили рыбок пастилой и бастурмой.*

К большому празднику: литавры, знаменосцы,
толпа судьбу твою уносит, как вода,
но... всё вернётся, не пугайся, всё вернётся:
ты только стой на том же месте, где всегда.

1 5

*Сначала все официанты вдруг уснули
и овладели иностранным языком,
потом приехали китайцы – кто на стуле,
кто на осяти, кто на палочке верхом.*

Жди новостей или гостей после полудня:
о них почтовый возвестит тебе рожок
или бродячая валторна (скрипка, лютя) —
но до полудня доживи ещё, дружок!

1 6

*Спектакль кончился. Все забрели в крапиву.
Там был один такой зелёный чемодан:
кто угадает с чем – получит ящик пива.
Брат получил, хоть и соврал, что угадал.*

Не то чтоб плохо, но достаточно фигово:
хотя история и не замедлит ход,
ты не получишь ни того и ни другого —
получишь третье: чай, кисель, компот.

1 7

*На дне портфеля в уголке сидела крыса –
вся разрисованная мелом и в пыли:
тут маски поняли, что маскарад накрылся,
и, обвинив во всём садовника, ушли.*

Будь осторожен, если что... и всё такое.
Но ты же, видимо, на всё махнёшь рукой,
хотя, конечно, состояние покоя
не означает ещё, в общем-то, покой.

18

*Гонцы из Оденсе приехали в карете –
в карете прошлого, один из них был наг,
но наготу свою держал в таком секрете,
что даже выглядел одетым, как монах.*

Жалеть не будешь – или будешь, но тогда уж
так бесполезно, что почти не передать...
А как там выйдет – ты сейчас не угадаешь.
И никогда уже потом не угадать.

19

*Матросы бросили корабль – и пассажиры,
включая нас, пошли немедленно ко дну
и оказались в бедной лавочке в Алжире,
где продавцы всё время прыгали в длину.*

Придут такие, значит, дни... хоть стой хоть падай,
не хочешь падать и стоять – беги, пари.
Потом случайно всё окажется неправдой
и совершенно безобразным изнутри.

20

*Мы притаились за кустами роз в буфете:
бандиты близко, ожидается резня –
вдруг выясняется, что это мои дети
и что меня они боятся как огня.*

Ну вот... по-видимому, будет повышение:
нас, значит, тоже не минует благодать —
взлетишь над городом твоим с петлёй на шее,
чтоб сверху жизнь до самой смерти наблюдать.

2 1

*Одна из птиц внесла какую-то кошёлку,
другая – крохотную баночку чернил,
но я был занят вышиванием по шёлку,
хотя палач давным-давно меня казнил.*

Всё будет: к вечеру жди скорого исхода —
мир прекратится и закончится война,
и даже, может быть, улучшится погода,
и даже, может быть, улучшится страна.

2 2

*Идёт учёный разговор о Насреддине —
посередине разговора входит вор
и, несмотря на то что мы плывём на льдине,
крадёт кадило, не включаясь в разговор.*

Теперь начнут случаться глупости по средам —
и, главным образом, по средам до зари...
Да, кстати, лучший друг тебя пять лет как предал,
но ты узнаешь это года через три.

2 3

*Мне дарят водный пистолет. Я убиваю
сперва себя, потом дежурного врача
и убегаю: тут в углу есть кладовая,
в которой я и запираюсь, хохоча.*

Начни хвататься за всё сразу понемножку,
чтоб умереть от непосильного труда —
и ты во вторник встретишь странницу-монашку,
а это, в общем-то, не лишне никогда.

2 4

*На незастеленной кровати выфос вереск:
спать запрещалось — все вокруг плели венки.
Одна мулатка, окончательно изверясь
в людской порядочности, вдруг спилась с тоски.*

Ой, плакать, плакать... Слезы лить до полвторого,
потом — смеяться и хвататься за бока.
Что до коров — они останутся здоровы,
и увеличатся надои молока.

2 5

*Ловили мошек рыболовными сетями,
но не поймали: в сети шёл один тунец —
тут как на грех слетелись инопланетяне
и научили нас худому наконец.*

Благополучие в делах, успех и слава —
короче, скука и тоска, без лишних слов,
для рыбака — день необычного улова..
Ты не рыбак — и у тебя какой улов?

2 6

*Свеча зажглась сама — сама же и погасла.
Четыре женщины явились декольте —
и тотчас общество затеяло ругаться
и пожирать всех этих женщин в темноте.*

Не получать, не отдавать, но обходиться
тем, что имеешь на сегодня... а потом
понять внезапно: этак тоже не годится —
висеть на собственной же шее хомутом.

2 7

*Один знакомый предложил мне толстый сэндвич
и каракатицу на блюде золотом,
а сам по отчеству был, вроде, Александрович,
над чем я долго хохотал с набитым ртом.*

Боюсь, что это не к добру.. Но не решаю,
к добру ли, нет ли, — очевидно лишь одно:
сто лет назад сказали бы «к неурожаю»...
хотя сто лет — это не так уж и давно.

2 8

*Всё там написанное было не по-русски –
по-никаковски, и никто не мог прочесть,
но депутаты развалились, как эфруски,
и говорили с полицейскими про честь.*

Тут непонятная символика, оставим...
А впрочем, вот что: ровно через восемь лет
нам суждено на бал поехать всем составом,
поскольку барыня прийдёт нам туалет.

2 9

*Мне колокольчик был: звонил как заведённый,
и я ловил его зелёньким сачком,
пока Петров с одной венецианской донной
лежали голые на потолке ничком.*

Смотри-ка, вот как может, значит, повернуться –
и повернётся, был бы повод и предлог!
Но ни терпенья, ни тем более занудства
уже не хватит, чтоб залезть на потолок.

3 0

*На трёх колесах мне двухсот никак не выжать,
но вот ещё одно сломалось колесо –
и всё твердит, как попугай, «нам-надо-выжить»
один ремесленник, похожий на Руссо.*

Прекрасный повод для случайной встречи с фавном
и разной прочей ерунды в таком ключе,
но не забудь же до пяти забыть о главном —
о том, что главное бывает вообще!

3 1

*Дождь раззадорился – и всех знакомых смыло,
и стали в лодках незнакомцы наплывать,
и стали шило предлагать в обмен на мыло,
а постовым на это было наплевать.*

Конечно, знай я, что такое «упованья»,
я упованья бы оставил хоть сейчас —
и в лучший мир ушел бы, тихо напевая
романс какой-нибудь... да хоть «Я встретил Вас».

3 2

*И вдруг откуда ни возьмись взялись два шведа
и принялись колоть, рубить и резать всех —
за это мать с отцом лишили их обеда,
что местный пастор расценил как смертный грех.*

Сначала жизнь не оправдает ожиданий,
зато потом начнёт сбываться сразу всё,
что и не грезилось бубновой рыжей даме,
вертевшей в праздности фортуны колесо.

3 3

*Мул заупрямился – и я прикончил мула.
Мне было страшно тяжело влечь арбу –
не потому, что в ней фру Есперсен уснула,
а потому что я давно лежал в гробу.*

Да пропади оно всё пропадом навеки:
не суждена победа, так не суждена!
Не каждый путник добредёт до каждой Мекки...
притом что Мекка в мире, в общем-то, одна.

3 4

*Сперва хозяева грибы во рву солили,
потом так вышло, что – гробы, а не грибы,
и что всё это было в Иерусалиме,
где взбунтовались скандинавские рабы.*

Пока такая катавасия с державой
и неизвестно, уцелеет ли твой дом,
не выходи из дома в среду.. и, пожалуй,
в четверг и в пятницу – и никогда потом.

3 5

*Я стал на паперть и выпрашивал по нитке
у прихожан, но прихожане были злы
и, завязав в узлы богатые пожитки,
за храмом в землю закопали все узлы.*

В дорогу, стало быть... не то чтоб на край света,
хоть и не близкую, но это ерунда:
туда-сюда... домой вернёшься ближе к лету —
на всякий случай попрощайся навсегда.

3 6

*Не поздоровавшись, прошёл рабочий с дрелью —
он был в крови: халат и рот... и вообще.
Я знал: он пользуется дрелью как свирелью,
поскольку музыка живёт в его душе.*

Спаси нас, Господи, от нас же и от вас же:
не заводи-ка ни врагов и ни друзей —
пойди в музей: там сто пейзажей Караваджо...
конечно, если ты найдёшь такой музей!

3 7

*Мне дирижировать: концерт для фортепьяно.
Но пианист сказал, что справится один.
Тут я увидел, что несут два барабана —
и пианиста к барабанам усадил.*

Такая страшная грядёт неразбериха,
что ноги в руки и — бежать: базар, вокзал...
Потом когда-нибудь, конечно, станет тихо,
но это тоже ведь не то, чего ты ждал.

3 8

*Слетелись черти для беседы о высоком.
А я сказал, чтоб обращались не ко мне:
я должен править сказку «Финист Ясный Сокол»,
уже народом завершённую вчерне.*

Смешно сказать... а не сказать — ещё смешнее,
однако нечего темнить: как ни крути,
ты очень скоро встретишь славу, но за нею
идти не стоит, ибо вам не по пути.

3 9

*Нас ко двору всё пригласил один придворный,
а я не мог, поскольку что-то воздвигал, —
и вскоре памятник воздвиг нерукотворный,
но не себе, а древнегреческим богам.*

Пора, пора от спячки к рыси и галопу:
идёт огромный бесконечный карнавал...
а в общем, это — ко всемирному потопу,
который, вроде бы, давно как миновал.

4 0

*Я осторожно перешёл одну границу,
потом ещё... и все границы перешёл.
Но это были не границы, а страницы —
я их исписывал простым карандашом.*

Начнут испытывать — огнём, мечом и прочим, искоренять пристрастие к чтению и письму — в конце концов всё будет славно, но не очень, и, если честно...

Впрочем, честно — ни к чему.

АПТЕЧКА ОФЕЛИИ

«Вот розмарин — это для памяти: возьмите, дружок, и помните. А это анютины глазки: это чтоб думать.

<...>

Вот вам укроп, вот водосбор. Вот рута.

Вот несколько стебельков для меня.

Её можно также звать богородицьиной травой.

В отличие от моей, носите свою как-нибудь по-другому. Вот ромашка. Я бы хотела дать вам фиалок, но все они завяли, когда умер мой отец. Говорят, у него был лёгкий конец».

1

Вот резеда — резедой резеда.

Стало быть, так... раскрошить и не думать,

но всё равно добавлять иногда

то, что случайно приходит на память:

детские тайны, чужие слова,

пару подробностей вздорного быта...

есть ещё, вроде, такая трава —

правда, название её позабыто.

Да, хорошо бы добавить чернил — синих... но лучше, конечно, зелёных, фразу (из тех, что вчера сочинил) или слезу (не из самых солёных), или две-три из нелепых острот здесь выступавшего летом паяца (он получил от ворот поворот) — и всему этому дать настояться, чтоб принимать натошак — через год, нет, через час... хоть чуть-чуть рановато. Можно и прямо сейчас — только вот прямо сейчас эта смесь ядовита.

2

Лист душистого горошка,
капля мёда, хлеба крошка
и немножко помешать —
плюс, конечно, сок из вишни
(это никогда не лишне!)...
сколько — вам самим решать.
Этим лечатся: тревога,
ожиданье, вера в Бога
и отсутствие гонца
с парой строк в пустом конверте,
и желанье скорой смерти,
и уныние лица.
Продолжительность приёма —
месяц, проведённый дома,
и ближайшие пять лет,
дозировка — по привычке,

можно внутрь, можно — примочки,
можно в петлю, можно — нет.
Если в петлю не по силам,
то верёвку смазать салом:
так оно пойдёт верней.
Пусть гонца с пустым конвертом
принесёт восточным ветром —
через пару дней.

3

А это будет веточка тимьяна...
тимьян — полукустарничек такой
эфирный: он всегда бормочет пьяно
и гладит вас дрожащею рукой.
Так вот... тимьян хорош против увечий —
посредством мыслей, ранивших чело, —
и от последствий речи человеческой,
обрушившейся не пойми с чего.
К нему не нужно никаких добавок:
в кувшин поставить да налить воды...
Да, он ещё хорош против булавок
и прочей смертоносной ерунды —
как то: знакомых и полужнакомых,
являющихся на дом кто когда,
всех обоюдоострых насекомых,
всех «нет», произнесённых вместо «да»,
и прочее, и прочее... а впрочем,
когда им — ни названья, ни числа,
есть смысл удалиться к горным кручам,
развевая там эфирные масла.

4

Вот тут сцеллари — звездчатки —
полурассыпанные чётки:
свернуть их в маленький клубок
и растолочь до звёздной пыли,
и ты увидишь Бога — или...
или тебя увидит Бог.
Но прежде надо приготовить,
во что бы пыль собрать, не то ведь
поразнесёт — и все дела...
Лови потом по свету склянкой
в слезах пылинку за пылинкой,
покуда жизнь ещё цела!
Или тогда уж в склянку сразу
накапай слёз, но до отказа,
запасливо и делово...
Когда приходишь до предела —
там Богу до тебя нет дела,
да и тебе не до него.

5

Наперстянка... не знаю к чему.
(Говорят, что к чужому уму,
говорят, что к чужому добру,
говорят: никогда не умру,
а потом умирают всегда.)
Если есть дождевая вода —
капель десять-двенадцать — и яд...
это надо смешать, говорят,
но в пропорции сто к четырём —

и рассыпать (потом соберём)
бусы или, допустим, колье
прямо по́ полу или земле.
Выбрать зёрна помельче — как сор,
погрузить, значит, в этот раствор,
а потом уж добавить саму
наперстянку — не знаю к чему.
И вот эту-то, стало быть, смесь
надо выпить потом... или съесть.
И следить, как судьбы колесо
грузно кружится дальше. И всё.

6

Безвременник осенний — от весны:
чтобы весна к вам в кровь не проникала
ни злым вином из крепкого бокала,
ни... чем-нибудь ещё, со стороны.
Запретных снов и непристойных сцен
вы будете избавлены навеки,
он из Колхиды, в нем есть колхицин —
и поздние об этом знали греки.
Вдохнёте — и проснётесь мотыльком,
то есть почти совсем уже без тела,
и поглядите, как душа взлетела —
отныне не печалься ни о ком:
без времени, без места, без себя,
без всех этих далёких категорий —
сухою струйкой воздуха сипя
и направляясь в сторону предгорий.

Но это будет после — а пока
нет ни покоя вам, ни потрясений.
...Да, пурпурный безвременник осенний
сначала надо высушить слегка.

7

Вот, к примеру, ногти,
или пёрышки жар-птицы —
чтобы чем-нибудь плениться
и сойти с ума с тоски:
тут любое что-нибудь
ускользает прочь сейчас же!
Разомни их в тонкой чаше,
ногти-то, и забудь..
Через десять-двадцать лет
будешь брать по полщепотки
и лечиться от чахотки
и других подобных бед.
А погибнешь или нет —
кто же может поручиться...
если очень изловчиться,
разозлиться на весь свет,
грозно повести плечом,
отогнать пустые мысли...
Впрочем, и погибнешь если —
ногти тут ни при чём.

8

Это дафна — коли жизнь не удалась.
Неудавшуюся жизнь спасает дафна...
Жалко, выяснилось это лишь недавно:
жизнь тогда уже давно оборвалась!
Но запомнить не мешает всё равно —
так, на будущее... вдруг да состоится:
взять соцветье, общипать все небылицы —
и оставшееся выбросить в окно.
Вот и весь тебе рецепт: и много лет
будешь жить, как будто так оно и надо,
а в особенности — если два-три взгляда
или если два-три вдоха бросишь вслед,
и в особенности — если бросишь вслед
всё, что кончилось так глупо и внезапно.
Неудавшуюся жизнь спасает дафна,
и в особенности — если дафны нет:
если горсточка лиловых лепестков
на ладони твоей празднует погибель
о ту пору, как прекрасный тонкий стебель
долетел до мостовой — и был таков.

9

Пучок бересклета — от злого навета —
вздохмачен, запутан и густ,
не пренебрегайте пучком бересклета:
он всё же не куст (хоть и куст) —

он ангел: таким уж на свет уродился,
вот только крыла не видны —
созданье воздушное цвета редиса,
приветствие с той стороны!
Кладут бересклет по ночам под подушку —
поближе к тяжёлой душе,
в гостях — под рогожку, в пути — под одежку
и не вынимают уже.
И там он кустится — пока нам гостится,
идётся ли, дремлется нам —
и что на хвосте ни носила бы птица,
летая по разным делам,
неважно всё это: пучок бересклета
отводит и глаз, и навет —
куда — неизвестно, но с этого света
на тот... — говорят, тоже свет!

10

Спасительный цветок болиголов,
весь состоящий из тупых углов,
хорош тогда, когда нет смысла думать,
когда есть смысл легко на свечку дунуть
и прекратить Сегодня навсегда —
и то сказать... невелика беда!
Вот тут-то и прими болиголова —
желательно, чтоб было полвторого,
без четверти, а также без пяти,
а также без прощай и без прости...

вот тут-то и прими болиголова —
желательно, конечно, не сырого,
но вываренного в семи водах
(и выращенного в былых годах
одним счастливым нищим возле башни —
в знак благодарности за день вчерашний).
Прими немного, меру или две:
болиголов — он сильное лекарство!
А мысли... им ведь свойственно коварство
с утра опять гнездиться в голове.

1 1

Вот олеандр — заваривать чай.
Лечит: чужие кончины,
случаи веры в искусство врачей,
смех и печаль без причины.
Пить: две-три ночи, при свете лампад,
в чистом каком-нибудь поле,
после чего — поступать невпопад,
как и всегда поступали —
ровно полгода. Потом поменять
всё, исключая привычки,
и постепенно начать применять
к каждому слову кавычки,
чтобы не плакать уже никогда
и никогда не смеяться...
да, курс диеты: простая вода
и аскетичные яства.

Через полгода сказать себе: «Штандр —
стоп!» — и, врачам докучая,
с этого времени пить олеандр
вместо обычного чая.

1 2

Подмаренник, облачко, душа:
крыльшками тоненько шурша,
ничего не лечит — так живёт!
Подмаренник, обморок глубокий,
подмаренник, спящий голубок —
улетел отсюда бы, да вот —
то ль и впрямь застрял между перил,
то ль на самом деле сон сморил,
то ль какая прочая беда...
Подмаренник — снеговой занос,
подмаренник — берегись: гипноз,
подмаренник — не ходи сюда!
Ибо тут и исчезает явь,
ибо тут тебе придется вплавать
по молочным рекам, дорогой...
Впрочем, может, так оно верней,
чем среди блуждающих огней
впопыхах бежать на свой огонь?
Может, тебе вправду прикорнуть
на минутку здесь... на пять минут,
чтобы уж ни брода, ни следа, —
только ведь и дел, что первый шаг
в белизну, в снотворный порошок
и в Господь-с-тобою-навсегда!

1 3

А вот тут у нас белый люпин:
это чтобы ты вдруг полюбил
то, чего полюбить не дано
ни тебе, ни кому-нибудь, но —
всё равно положи на весы
десять капель вчерашней росы
и по весу добавь к ним цветов
в форме тувелек...
Вот и готов —
ненастойчивый, впрочем — настой
против всей твоей жизни пустой.
...нет, ещё не готов: не забудь
положить в него самую суть —
то, к чему ни суму, ни тюрьму...
впрочем, тут оно всё ни к чему!
Да, ещё... два последних письма —
в общем, лишних, но милых весьма...
и — уже не настаивай: тут
дни теперь ничего не спасут!
Значит, в этот же, стало быть, день
рукавом осторожно задень
пузырёк — и следи, чтоб настой
на пол струйкой сбегал золотой.

1 4

У вереска серьёзный нрав —
серьёзнее всех прочих трав:
не рассмеётся, не надейся!
Но это он не от злодейства,

а просто сроду не охоч
до игр, шуточек и проч.
Зато, во всём другом изверься,
возьми себе на память вереск
и, спрятав ветку на груди,
закрой глаза и — уходи:
с ним хорошо идти вслепую
и повстречать шальную пулю
или разбойничий обоз —
ты этого и ждёшь небось,
ища себе приличный омут?
...но знай, что вереск — не отнимут
и будь уверен: через год
твой вереск снова прорастёт.

1 5

Масдеваллия... что ж ещё скажешь!
Устраняет назойливый кашель
посторонних, их храп по ночам
и пристрастие их к мелочам.
В чём секрет... подходящую банку
выворачиваем наизнанку
и туда собираем в саду
пять цветков — за звездю звезду.
Масдеваллии редки в природе
и видны при хорошей погоде,
но не все — по одной... То есть пять
будет очень непросто собрать —

отщипнуть за головкой головку
и из них приготовить наливку:
из расчёта звезда к полутьме,
пять к одной и пятнадцать в уме.
Пьётся вечером... или не пьётся —
развёденной водой из колодца
или просто водой из ручья —
кем попало: наливка — ничья.
Результат ожидается сразу —
правда, он постороннему глазу
не заметен как раз днем с огнём...
да и дело, конечно, не в нём.

16

Надо вынуть из воды,
надо вынуть из воды —
волоокую кувшинку
надо вынуть из воды.
Её место — в волосах,
её место — в небесах:
размещённой хорошенько
хоть в Плеядах, хоть в Весах.
Это, в общем, ни за чем,
но об этом умолчим:
нам искать высокой цели
не пристало по ночам:
это будет талисман —
от внезапных перемен
в изголовии постели
до окончания времён.

Это оберег такой,
сохраняющий покой
и держащий равновесье
осторожною рукой —
до дальнейшего витка,
до ближайшего хмелька,
до назначенного рейса
в направлении «Пока»!

17

Тут простая арифметика —
проще прочих арифметик:
что касается бессмертника,
не бессмертен и бессмертник —
просто сух... да только сушь его
тоже вроде наших метрик!
Но за неимением лучшего
можно взять хоть и бессмертник:
пыль — потерянное терние,
прах — без веса и без роста...
в общем-то, и не растение,
в общем-то, понятие просто.
Это вязкое понятие
безмятежными кругами,
как советует наитие,
смешивается с другими —
и такое образуется
месиво, что — вот случайность! —
вечность вдруг кристаллизуется...
Тут же, впрочем, и кончаясь.

А непентес есть непентес —
слёзный, горький, безутешный,
сколько вы ни ерепеньтесь
с вашей миссией нездешней,
ни фехтуйте... близок локоть,
да в победе нету толку!
А непентес — чтобы плакать
от обиды, втихомолку! —
Что довольно, между прочим,
и непросто, ибо... в общем,
мы обычно слёзы прячем —
и потом годами ищем:
по глухим оврагам детства
по дорогам нашим странным
или в вечных дебрях текста —
по закладкам, по карманам...
были, дескать, где-то рядом
(помню осень, птичью стаю) —
высохшим навеки взглядом
ищем, да всегда впустую.
Это род небесной манны,
слёзы... род постылой свиты —
у кого глаза надменны,
и кому ничто не свято,
и кого волшебный синтез
жизни — не пленил, не тронул...
так на это есть непентес —
в виде белых длинных гранул.

...тут важно, чтоб настала полночь —
миг благодарствий,
и выпорхнет такая мелочь,
как рябчик царский —
немножечко высокопарный
(всегда в подпитьи),
флажок такой один пурпурный
на перепутьи.
Иди туда, куда он скажет:
он врёт безбожно —
сначала он тебя закружит,
что неизбежно...
Но только ты и так, пожалуй,
заманен в сети —
листвою жизни порыжелой
и всем на свете!
Идёшь и ничего не видишь —
горька свобода,
но рябчик... с ним ты точно выйдешь
куда не надо:
вот там-то ты и будешь дома —
однажды утром —
в краю, где всё тебе знакомо
по детским играм.
Там неба ничего не застит,
там дух бунтарский —
там грусть потреплет и отпустит,
как рябчик царский!

2 0

А форзизия — чтоб не сдавали позиций.
Но приходит такое отчаянье, что —
что нет сил никаких... пару веток форзизий
надо просто тогда положить в решето,
растолочь и рассеять над уровнем моря
и не думать об этом в ближайшие дни
или годы — заранее, впрочем, измеряя
отношение усилий к причине возни.
Потому что потом всё пойдёт без усилий —
важно только, чтоб были густы облака
и смеркалось к шести, и дожди моросили,
и не слушалась мысль, и дрожала рука!
Это всё и послужит залогом успеха —
правда, в будущей жизни, но мы подождём...
переждём эту жизнь — по возможности тихо —
на осеннем ветру под соседним дождём.
А удача как нитка: была бы иголка —
и легко угадать направленье клубка.
...это правда, форзизия действует долго —
но безбольно, и главное — наверняка!

2 1

Или вóт вам, к примеру, клематис:
приложите к холодному камню...
Я рецепта, пожалуй, не вспомню —
так что вы этим не занимайтесь,

ибо глупо... клематис годится
так как есть — просто вставьте в петлицу.
Лечит сердце — от всякого бреда
и такого... всего остального:
от «люблю Вас», от «честное слово»,
от «навекки», от «скоро приеду»...
Никогда и ни в чём не клянитесь —
просто вставьте в петлицу клематис.
Страдает славу и всех, кто страдает
славой или отсутствием славы —
учит с тайной усмешкой лукавой,
что все звёзды всегда увядают,
успокойтесь и не поднимайтесь —
просто вставьте в петлицу клематис.
Лечит память: всё — сонные бредни,
никогда ничего не бывало —
вы уснули среди шумного бала,
вы уснули на поздней обедне —
ах, проснуться бы... и не стремитесь:
не на то вам в петлице клематис.

2 2

Юнона... белый крокус,
имеющий значенье
для всех, летящих в пропасть
и гибнущих в пучине.

Особенно настойка
на камушках (из галек) —
не то чтобы настолько,
но всё же помогает —
задуматься на время
прощания с родными
о Греции, о Риме,
об облаке, о дыме —
о чём ещё... о разных
не тронутых вниманьем,
но интересных жизнях —
своей за неименьем.
Да, мне ещё сказали,
вся мера пьётся залпом —
с закрытыми глазами
и со смешком внезапным:
вослед быллым заботам
о слове и о хлебе...
и лучше — по субботам,
и лучше — прямо в небе.

23

А ещё существует цветок бальзамин —
консервировать всякие воспоминанья:
положи на ладонь бальзамин, а за ним
положи, например, бальзамин приминяя,
полпылинки с дороги, ведущей домой,
и дорога домой никогда не сотрётся
в твоей памяти — пешей, бездомной, хромою:
прямо — мимо развилки, костра и колодца,

мимо чащи ореховой, старых грехов,
мимо песни одной на неместном наречье,
мимо первых твоих и последних стихов,
мимо двух пастухов и отары овечьей,
мимо кладбища, двух привидений на нём,
вечно ищущих смысла среди разного хлама,
мимо страха... и тут ещё есть водоём:
мимо, значит, него — и всё прямо и прямо.
Но смотри только не потеряй бальзамин —
хоть примятый твоей полпылинкой, а всё же...
как бы этот бы мир тебя не заманил
на чужую дорогу, дороги похожи!

24

Цветки бегоний — от погони:
смочи в вине цветки бегоний —
конечно же, в своей вине —
и не задерживайся, не
смотри назад, в глаза погони:
прижми к груди цветки бегоний —
и... да хранят тебя твой бег,
бегония и дальний брег!
Ты был чужим, ты помни это,
закончен пир, и песня спета.
Уже стреножили коня,
вооружённая родня
уже к тебе подкралась сзади —
беги, всего святого ради:
уже охоты дан сигнал...
Ты не успел. Ты опоздал.

Смотри — несутся, выгнув выи,
по следу псы сторожевые,
смотри — пускают корешки
погони красные флажки.
Тебя с налету топчут кони.
Цветки бегоний — от агоний.

2 5

...а ветреница, стало быть, лесная —
я про неё не очень много знаю,
но вообще-то это анемон,
и, если так, то сразу всё понятно,
поскольку анемон выводит пятна
позора и стыда... таков уж он.
Для этого достаточно всего лишь
взять ветреницы и... чего изволишь —
что б ни было предложено судьбой.
Корица будет — так возьми корицы:
корицы и позор, и стыд боится,
а ветреницы — и само собой!
Корицы можно сколько взять... к примеру,
возьми одну (или другую) меру,
а к ней — две меры, скажем, или три
чего угодно: предположим, соли...
не будет соли — можно взять фасоли,
и разотри всё это, и замри.
До ночи будешь горевать, но к ночи
внезапно всё окажется иначе —

а там и новый день уж начался:
в нём прошлого совсем не сохранится...
Перед тобою — чистая страница
и чистые, как совесть, небеса.

ПИСЬМА С ПОНТОМ

1

<...>

...жизнь всегда обстояла ни так и ни сяк,
а увидел над крышами птичий косяк
и подумал: да что же такое,
надо брать себя в руки!.. Сейчас выходной —
так махну в Эльсинор, чтобы с Тенью Одной
потрепаться за кексом и кофе!

Тут обычное дело (не то что в Москве)
отыскать собеседника — хочешь в листе,
хочешь где-нибудь в каменной кладке,
хочешь в памяти, хочешь где хочешь: они,
собеседники, духам и теням сродни
и повсюду парят в беспорядке.

Тут беседуешь запросто с теми, о ком
и не знал — или знал, только был незнаком:
тут обычно не чинят препятствий.
Будь то Бог, или чёрт, или сам Кьеркегор —
подходи не боясь, заводи разговор —
ни с чего — с пустякового «здравствуй»!

(Кстати, сдал Кьеркегор: за собой не следит и имеет довольно потрепанный вид, попрошайничать начал на Stroegget... Вот в такой, значит, я обитаю стране с Кьеркегором и прочим рваньём наравне — головами, по мнению многих!)

Мы играем в canasta или в дурака, мы торгуем ворованным пивом с лотка, мы живём, не боясь унижаться, — настреляешь у разных людей табака и подумаешь: Боже, как жизнь коротка, коротка и глупа, и ужасна!..
<...>

2

<...>
...был вчера на охоте тут в замке одним — прогонялись до вечера за кабаном, возвратились в грязи и колючках. А хозяин-барон был упрям, как баран: он твердил без конца (потому что был пьян), что сюда пригласил самых лучших.

Велика же была эта лучшая часть: просто яблоку было бы негде упасть (очень вкусному яблоку в тесте) — и не падало яблоко: несколько слуг образцово следили за тем, чтоб вокруг всё и вся находились на месте.

Кофе подали поздно — успели к утру,
когда несколько раз «я-без-кофе-умру»
простонала одна баронесса.
После кофе все дружно ругали слугу,
опоздавшего с кофе, а он — ни гугу:
в силу, как бы сказать, политеса.

На рассвете два призрака вышли из мглы —
попугали уснувших гостей, как смогли,
и допили вино из бокалов.
«Это предки, — охотно признался барон
и добавил: — пошли-ка, голубчики, вон!»
...Сообща и прогнали нахалов.

А потом обсуждали с утра дотемна,
что даём мы стране, что даёт нам страна,
и другие печальные вещи;
под конец, когда новая встала луна,
дружно пили за долгую жизнь кабана
и за счастье его в этой чаше...

<...>

3

<...>

...а на днях подошёл ко мне вдруг один тролль
и сказал: «Дорогой чужеземец, позволь
познакомиться ради прикола!»
Я ответил ему: «Драгоценный мой тролль,
ты уж как-нибудь лучше давай-ка устрой,
чтобы не было ветра такого!»

Я подобного рода беседы веду
ежечасно и, как бы сказать, на ходу:
что ни угол, то тролль или фея! —
и в мистическом этом моём бытии
забываю практически беды свои,
распевая баллады Орфея.

И стоит в ожиданьи великая рать
троллей, фей — чтоб желанья мои исполнять,
их фактически опережая!
Я ж, испробовав всякую снедь или плеть,
всё гадаю, чего бы ещё захотеть,
в этой Богом забытой державе.

Но, спасибо, уже ничего не хочу:
заверну весь мой хлам в золотую парчу
и снесу его в чистое поле —
и, оставшись с Всевышним один на один,
обращусь к нему, может быть, так: Господин... —
и ни слова, наверное, боле.

У желаний короткая, друг мой, судьба:
попреследовать несколько суток раба
и всучить ему то, что так любо!
Потому как имеющий что-то в руках
остаётся потом на всю жизнь в дураках:
бросить — жалко, а так — ни к чему бы...
<...>

<...>

...но погода прекрасная! (Там у вас грязь, говорят...) Я хожу без зонта, не боясь замочить тонкий плащ от Кардена. За окном моим зреет тропический плод и гуляет под ним беззаботный народ – вот!.. и море ему по колено.

На столе крем-брюле под бумажным зонтом, и льняная салфетка в кольце золотом, и стакан с пузырьками снаружи, а внутри путешествует призрачный газ снизу вверх, и опять снизу вверх... А у вас, говорят, только холод и лужи.

Впрочем, что же... тут тоже, пожалуй, уже стало не на чем больше держаться душе, несмотря на... да, в общем, неважно: и плоды, и салфетки, и прочая чухь – это, друг мой, пустые заботы, – к тому ж, всё нелепо, картонно, бумажно.

Да и ветрено: ветер, сходящий с ума, валит третью неделю дома на дома... Ветер, сырость и холод собачий – и одно только, в сущности, слово что юг, а на самом-то деле паскудно вокруг и не пахнет ни солнцем, ни дачей.

В остальном же — живу, ни на что не ропщу,
и, воздав что могу дорогому плащу,
возвращаюсь к изношенной робе.
И фигурку мою, обречённо смеясь,
вдруг сметает с доски разыгравшийся князь —
от усталости, а не по злобе...
<...>

5

<...>
...потому что, голубчик, в конце-то концов
я пошлю во все стороны прытких гонцов —
и они принесут отовсюду
кто хрусталь, кто ковры, кто шелка и атлас,
кто металлы, кто камни (рубины, алмаз),
кто еду, кто питьё, кто посуду!

Не имей сто рублей, а имей сто друзей —
окружи себя ими, сиди и глазей,
как милы они и одержимы...
Что б ты делал без них, я пока умолчу —
я Святому Николе поставлю свечу,
чтоб избавил тебя от дружины.

На дорогах пустых замечается — что?
Что сквозь сито твоё, сквозь твоё решето
жизнь почти уже вся пробежала —
и делить её с теми, кто пляшет вокруг,
как-то очень становится вдруг недосуг:
в решете остаётся так мало...

Но по кругу, по кругу идёт хоровод —
и тебя увлекает, чарует, зовёт
самый что ни на есть из союзов,
всем союзам союз — тут сплошные друзья:
и, смеясь и грустя над судьбою груздя,
ты в бездонный бросаешься кузов!

К придорожным былинкам склоняя чело,
не имей, как бы лучше сказать, ничего
между датой рожденья и датой... —
впрочем, ты не поверишь, пойдёшь в хоровод,
что же, встретимся там, где поют, где народ,
где я тоже почти завсегда!..
<...>

6

<...>
...значит, стало быть, море волнуется — раз...
(Это из-за меня, это не из-за Вас —
это из-за моей одиссеи!)
Значит, стало быть, море волнуется — два...
и от этого кругом идёт голова,
ибо дуют ветра из России.

Тут привыкли считать, что такие ветра
насылает Россия... судачат с утра
про медведей и про всё такое.
Каждый встречный глядит подозрительно на
мой портфель, словно это оттуда видна
и исходит волна непокоя!

Значит, стало быть, море волнуется — три!
После этого что происходит? — Замри —
ты, допустим, в плену семилетнем:
за тобою война, пред тобой Калипсо —
ты погиб. Но вертится твоё колесо,
но катится по слухам и сплетням —

и *волнуется* море, как ни замирай,
и зовет тебя снова покинутый рай,
показавшийся адом когда-то,
и ты знаешь: когда ты вернёшься назад,
ты увидишь всё то же: покинутый ад,
властолюбцы, злодеи, солдаты...

Так прийти туда нищим — шутом, пастухом?
Так примчаться на детской лошадке верхом:
деревянная палочка, цокай?
Думал, всех обскакаю на свете, да вот..
Вот — живу как всегда: надо мной небосвод
со звездою — одной, но высокой...
<...>

7

<...>
...вообще говоря, мы в условиях войны,
как ни взглянешь на это: с любой стороны —
гром орудий, хороших и разных...
Так что воздух отнюдь не прозрачен и тих:
пахнет порохом, бахают залпы шутих —
«Новый год» называется праздник.

Дымом засланы улицы и небеса:
Дан приказ расстрелять — ровно за полчаса
до начала грядущего года —
эту милую, в сущности, крошку-страну,
значит, что ж, собирайся, пошли на войну,
если нету другого исхода!

Если так — значит, так, значит, жалость долой:
мимолётный снаряд просвистит фистулой —
не пугайся: мы, в сущности, смертны!
Как прекрасно опасно, как бездна близка,
как почти улетучилась к черту тоска,
как красив ты, как глуп и как смел ты...

«Новый год» называется праздник: пали
по пустынному прошлому — где-то вдали
громыхает ответная пушка.
Ни о чём не жалея, ничего не жалея —
да и что было, в общем-то, в жизни твоей?
...это только, глупышка, хлопышка!

Вот и всё. Ни страны, ни тебя — лишь один
недобитый какой-то бубнит господин-
пешеход: дескать, я протестую!
Что неважно уже... Во-о-он упала луна.
Лишь последняя вспышка на небе видна:
это — так, ни к чему, вхолостую...
<...>

<...>

...чем был занят? Да вот... убегал по песку от волны полоумной, готовой к броску, — удалось, так сказать, отвертеться. Но ботинки — насквозь, и морская вода оглушительно чавкает в них, как тогда, прежде: глупости, шалости, детство... —

в общем, помнишь! Короче, пришлось часть волны пригласить с собой в бар (вообще мы дружны с этой, в сущности, славной волною) — есть тут бар один маленький на берегу: у меня в нём кредит (я повсюду в долгу!) и обычно в меню заливное.

Я... насчёт заливного, поскольку волне, я считал, заливное — вполне и вполне, а она вдруг — представь! — ни в какую: хочет жареных венских колбасок, а тут... тут не Вена, такого тут не подают — только как я ей это втолкую?

Ну, сбежала назад, как я и ожидал...

Я тут после, конечно, устроил скандал и навеки лишился кредита.

А хозяйка кричала: сейчас не сезон, с этой мокрой девицей Вас надо бы вон... Я сказал ей в ответ: «Да иди ты...»

Речь-то *в принципе* шла — не об этой волне, но хозяйка сказала зачем-то, что мне

надо вовсе не здесь наблюдаться.
М-да... хозяйка-то раньше казалась другой,
но отныне я больше сюда ни ногой!
В общем, скучно. Как Борхес по-датски...
<...>

9

<...>
...а потом, сколько ты ни крути, ни верти,
но ведут в Копенгаген все наши пути —
и маршрут этот мною угадан.
Утром, значит, проснёшься — посмотришь окрест:
ты давно не видал уже всех этих мест —
Нёррепорт, Розенборг... Копенгаген.

Тут китайские лавочки... Был выходной,
мы ушли, нагрузившись весёлой фигнёй:
веер, палочки, шали, перчатки! —
и потом побросали их просто в канал,
и никто из нас, стало быть, даже не знал,
что всё это и было «прощайте».

Копенгаген — снаружи или изнутри —
есть Молох, и ему от зари до зари
жгут огни, чтобы было светлее.
Тут сто крон за мираж, там сто крон за обман:
в результате... потрогаешь тощий карман
и — в костёр, ни о чём не жалея.

Ты сгораешь во имя того, чтоб кругом
польхал постоянно весёлый огонь,
чтобы было на чём приготовить
серебристый паплет, золотое филе
и легчайший картофель в алмазной золе —
этот полуреальный картофель.

Так сгорел, никому ничего не сказав,
человек один дивный на наших глазах —
сам заметивши это едва ли...

А потом — подавали омаров к столу,
острый суп и ночную горячую мглу.

И луну на десерт подавали...

<...>

10

<...>

...говорили по-шведски — ужасно смешно,
после этого долго смотрели в окно
на чужие дома Хельсинборга —
то есть, в Швецию, стало быть... тоже страна.
Там ночами такая стоит тишина,
что рифмуется с камерой морга.

А зато... этот взбалмошный шведский язык:
я, конечно, уже постепенно привык
к его вечным паденьям и взлётам,
но ужасно смешно... Впрочем, тоже язык,
тоже, вроде, зачем-то однажды возник —
в дополнение к прочим заботам.

Я почти и не знаю теперь, где живу, —
вижу те же деревья и ту же траву,
те же волны, ракушек осколки,
где б я ни был... И надо б иначе смотреть,
замечая отличья хотя бы на треть
или четверть — хотя бы на сколько!

Но с Пространством мы так и не стали на ты:
не пускает оно меня дальше черты
горизонта — и правильно, кстати!
Ибо Времени раб не оценит красот —
он с собою всего-то что и унесёт —
пару мыслей, привязанных к дате!

Ибо Времени раб... что же Времени раб —
он карабкается, как какой-нибудь краб
среди разных похожих камней,
и ему всё равно, где карабкаться вверх:
уж такой этот краб есть смешной человек —
путешественник и современник...
<...>

1 1

<...>

...в государстве, где все мы равны наугад
и где каждый второй точно так же богат,
как и каждый, наверное, третий!
Впрочем, закономерность хромает, прости, —
что ж касается этих монеток в горсти,
их не выбросишь даже на ветер.

Значит, так: в государстве... да Бог с ним, я тут побеседовал несколько долгих минут с вагабондом одним по дороге: он сказал, что мы птицы, он был как Христос: он был тем, что с собою фактически нёс... Дескать, птицы не платят налоги!

Я про птиц уже слышал не раз и не два — и про птичьи мозги, и про птичьи права — и согласен: мы правда как птицы! Взять хоть нас с вагабондом... а прочих не брать, ибо им не понравится бедная рать не имеющих где примоститься.

Я совсем не о доме — что толку, что дом? Дом стоит на пути — огибаем с трудом! — и мешает уйти восвояси. Разговор же о том, что за домом, вдали... Но никак не увидеть той дальней земли — час полёта, да дело не в часе!

Дело в том, что я был там, на дальней земле, и оттуда смотрел, как далёко во мгле простирается та, где я ныне, — та, которая ныне мне так же мила и враждебна, как прежде другая была: я о родине, я о чужбине... <...>

<...>

...и не сравнивать — то, что случилось вчера,
с тем, что вышло сегодня: сравнение — игра,
это вовсе не жизнь никакая!

Это всё Мефистофеля штучки: сравни
с настоящими днями минувшие дни,
чёрту в кознях его потакая!

Жизнь летит как летится — прошло так прошло! —
и не тащит своё за собой барахло
и не отягощает полёта:
жизнь летит без оглядки — как буря, как смерч,
как тайфун, как торнадо, оглянись — смерть:
смерть и смерть, и история Лота.

Ан — не сравнивать... Я здесь живу хохоча —
и вчера, например, побывал у врача:
он сказал, что Сократ смертен тоже.
Я ушёл успокоенный: я не Сократ,
но в компании этой я числится рад —
ничего, что пока я моложе.

Вот ещё... — почтальон говорит, что и он
третий месяц без писем, а ведь почтальон,
не какой-нибудь там «получатель»!
Если уж почтальону не пишут, то мне
не писать полагается просто вдвойне —
из почтения к почтовым печатям!

Но — не сравнивать! Глупость сравнения в том, что когда ты сидишь на крыльце золотом — царь, царевич и прочая мелочь! — то, какой бы ты ни был при этом крутой, всё равно ты сапожник и даже портной — и уже ничего не изменишь...
<...>

13

<...>
...кстати, вот что... а в общем-то, нет, чепуха!
Я к тому, что не так уж она и плоха — эта чудо-треска во фритюре: просто я из протеста — к еде как еде! — говорил, что треска эта просто везде и противна нутру и натуре.

Чем угодно клянусь: дело тут не в треске, а в какой-то ужасной и глупой тоске по... не знаю — севрюжине с хреном. По каким-то вещам, безымянным вполне, по какой-то — теперь уже третьей! — стране или вот... по кораблику с креном.

Ибо то, что дают, есть лишь то, что дают, — и растущий вокруг непомерный уют... не подумай, конечно, плохого! — это то, что уже существует, что есть, между тем, как хотелось бы, скажем так, — весть: трубный глас, золотая подкова!

То, чего не случилось — ни там и ни тут,
то, чего вообще, может быть, не «дают» —
никому, никогда, ни в какую:
просто кто-то в бреде говорит ерунду —
и все верят ему, на его же беду,
дурачку... я о чём и толкую!

Что-то как-то не бредится всё ни о чём,
что-то всё получается, что ни начнем,
в этой маленькой жизни собачьей!
Залетал один ангел, сказал: «Посидим?»
Посидели. Потом я выветривал дым
трое суток — беспечный, табачный...
<...>

14

<...>

...что касается запада — запад таков,
что на западе много своих... моряков,
точно так же, как и на востоке.

А отличие... отличие, пожалуй, одно —
в том, что *солнце заходит на западе*, но
это позже, под вечер, в итоге.

...утром, стало быть, нету отличий — хоть плачь,
завернёшься потуже в какой-нибудь плащ
и — в дорогу, не чувствуя почвы.

Встретишь пару приятелей, тоже в плащах,
поболтаешь о как бы сказать мелочах —
о причудах погоды и почты...

Днём всё то же: бумажные крылья сложив,
удивляешься вслух, что пока ещё жив,
только кофе — надёжный товарищ:
так от кофе до кофе и тянется день —
золотая его канитель-дребедень, —
выпьешь, плюнешь и снова заваришь!

Только к вечеру запад вступает в права:
начинает немножко болеть голова —
и в какой-нибудь глупой харчевне
с неким Ольсеном-Нильсеном-Расмуссеном
обсудить остаётся за красным вином
назначение жизни вечерней.

А потом уже — стало быть, сильно потом! —
в терпеливом молчаньи своём золотом
за морями-холмами-лесами
солнце, значит, заходит — не сразу, не вдруг,
но подолгу сужая всё менее круг:
бесконечно. Часами. Часами...

<...>

1 5

<...>

...земляные орешки, весёлая дрянь —
жизнь бежит, как чумная какая-то лань:
съешь пакетик орешков... и — старость!
Только соль на ладонях и соль на губах —
словно вышел из моря, как некий рыбак:
соль на память одна и осталась.

Соль всегда остаётся, всегда на потом —
вечной горсткой пылинок в луче золотом —
всё на свете пропитано ею,
и потом... тут же море — иначе-то как?
Его брызги на всех моих чистовиках:
сожалею, мой друг, сожалею!..

Среди праздников долгих и кратких забав
это Аттика, значит, хрустит на зубах,
чтобы, стало быть, не забывалось,
что пляши не пляши, дорогой древний грек,
но закончится и золотой этот век —
как бы музыка ни сомневалась!

Дорогой древний грек, это твой древний грех —
променять олимпийство на пару утех,
на весёлый пакетик орехов!
Вот и кончилась музыка, и поделом —
только Муза махнёт обветшалым крылом,
сев в автобус и тут же уехав...

И мелькнёт в облаках полуночный Господь,
и ты сложишь персты в небольшую щепоть —
для того чтобы взять из солонки
пару новых крупинок. Крестись не крестись,
прохрустишь всё равно свою жизнь... свою жисть —
пачкой чипсов, орешков, соломки...
<...>

<...>

...а серьёзно взглянуть — так о чём ни писать,
всё равно получается о небесах:
остальное, выходит, — пустое...
Шёл вчера из гостей, поднял голову: ба...
звёзды сами составились в слово «судьба» —
так случается... после застолья!

Я тяну и тяну серебристую нить,
не пытаюсь уже ничего объяснить,
ибо мало чего понимаю.
Попытался тут было понять одну тварь —
божью тварь... да у нас очень разный словарь:
божья тварь оказалась немая.

Вообще, что касается тварей — я сам
склонен, как бы сказать, не всегда к словесам
и весьма нелюбезен порою —
если старый наш Хансен гудит поутру
жёлтой травокосилкой, я лучше умру,
чем спрошу: «Как дела? Как здоровье?»

Но садовник отнюдь не такой идиот,
чтоб стоять в ожидании, разинувши рот:
он стартует без предупрежденья —
я о нём уже знаю поболее, чем он:
про суставы, про сына, про новый пион,
про суставы, про сына, про деньги...

И стоит моё небо над нами, как щит,
и молчит моё небо, пока он трещит, —
лишь потом, уже при солнцепёке,
говорит, что садовник душа-человек,
что он здесь до зимы, а как выпадет снег —
он исчезнет — быть может, навеки...
<...>

17

<...>
...всё листал одну книгу (в надежде прочесть),
да наткнулся на совесть, а после — на честь,
и продвинуться дальше — не вышло.
И от книги — заброшенной где-то в траве —
ничего не осталось уже в голове,
кроме разве «написано пышно».

Всё написано пышно, за что ни возьмись,
и, как мышь, забивается бедная мысль
в бездну первой попавшейся щели:
мысль — она ведь боится такого всего
и, споткнувшись о первое встречное «О»,
ускользает и просит прощенья.

Мысль не пашет, не пишет и не говорит —
мысль кусты подстригает и тихо хандрит:
ни друзей у неё, ни знакомых...
А чуть ночь — так садится в саду на траву
и, вздохнув глубоко, отправляет в Москву
рой ютландских ночных насекомых.

Мысль — она ведь спартанка, затем и молчит,
прижимая к груди беззащитный свой щит —
сколько ты перед нею ни ахай.
Стиснет до́ крови губы — поди разожми,
и годами, веками стоит пред людьми,
и лисёнок у ней под рубахой.

Так истории Спарты как раз и гласят —
знать бы только, зачем мы ворует лисят
и потом не даём объяснений...
У меня всё нормально, не плачь обо мне,
просто я проживаю в такой вот стране —
иногда как-то слишком осенней...
<...>

18

<...>
...так, почти никаких не оставив следов
и почти никаких не дождавшись плодов,
просто «выйти на берег» — и, в ударе,
вдруг спасти сто медуз, возвратив их воде
(твёрдо зная о том, что медузы везде
признаются как вредные твари!).

Дай кому-нибудь жить — не торгуйся, а дай,
и за это получишь от Бога медаль
как «Спасатель медуз» — тоже титул!
Всё равно, как ты вносишь свой вклад и куда...
А медузы, мой друг, — так и так в них вода,
океан так и так бы их выпил.

И пойдёшь ты по берегу — медаль во всю грудь —
и, медалью пытаясь весь мир обмануть,
будешь гордо смотреть на сограждан.
А они пред тобою падут на песок,
восхищаясь, как ты далёк, и высок,
и красив, и спесив, и наряжен!

Тоже дело, конечно: ведь, как ни суди,
а медаль на груди есть медаль на груди —
лишь бы только поярче сияла!
И в далёком краю, вообще говоря,
получается, значит, ты прожил не зря,
да и сделал, пожалуй, немало.

Ибо смысл, как известно, в напрасном труде:
не суди себя по отношению к воде,
к небесам и камням... постарайся
делать дело — пустое, но в поте лица:
и в медалях вернёшься в объятия Отца
ради жизни — хоть скучной, да райской!
<...>

19

<...>
...говорят, хорошо быть придворным шутом
и вести разговор как бы и не о том,
а на самом-то деле — об этом:
ведь о чём же ещё разговоры вести,
как не, скажем, о том, чтобы бремя нести —
бремя быть дураком и поэтом!

...чтобы бремя нести, чтобы время нести —
и, случайно замешкавшись где-то в пути,
обронить это самое время
прямо, скажем, в какой-нибудь бурный поток —
как роняют монетку, перчатку, платок:
огорчаясь, седея, старея,

но — смеша! Это просто — смешить королей:
чем ты немощней, тем королю веселей,
ибо сам он дитя без изъяна.
Он повесит тебя на шнурке золотом
раз пятнадцать, но сам же и снимет потом,
повинившись — возможно, не явно.

А затем, растопляючи вечности лёд,
принц прохожий к костям твоим тихо прильнёт
и шепнёт тебе: «Бедный мой Йорик!» —
и за это одно уже должность шута
всем другим должностям на земле не чета —
как бы опыт шута ни был горек!

Это ведь ничего, что я так хохочу?
Я успею ещё обратиться к врачу
за диагнозом (дескать, помешан) —
я покуда ещё не дошёл до черты,
хоть давно с королём обветшавшим на ты
и давно уже, в общем, повешен...
<...>

<...>

...вот уж правда смешно: заблудиться в стране,
видной только при солнечном свете, а не
при луне: королевство исчезло!
Ночь нечаянно стёрла его берега,
будто нету на свете страны ни фи́га,
если вдуматься — и если честно.

Впрочем, если так честно, то нет и меня —
на исходе любого отдельного дня
все собаки собьются со следу!

И, хоть я в ста местах побывать обещал,
я не так отношусь педантично к вещам —
и совсем никуда не поеду.

Среди правил игры, а они нехитры,
я люблю лишь одно — выбывать из игры,
выбываю — и гладки все взятки,
а водящий... водящий, увы, обречён
бесконечно водить — и ему нипочём
не найти, где кончаются прятки,

ибо нет им конца! Как страна ни мала,
есть и тут три сосны — три коварных ствола,
три прямых, параллельных, несносных...
А раз есть три сосны, то задачи ясны:
к ним с какой бы ты ни подошёл стороны —
всё равно пропадёшь в этих соснах!

Напиши мне сюда, мой Далёкий Восток —
лишь в стволах забелеет письма лоскуток,
да рожок затрубит в перелеске —
я, глядишь, и пойму, как мне выбраться вон,
ибо кто же спасёт, если не почтальон —
импозантный такой, королевский!..
<...>

2 1

<...>
...а Эвксинскому Понту — ему бы шуметь,
да гудеть, да греметь, да молчать не уметь,
да сводить со мной старые счёты!
Вот и август... — я месяц имею в виду:
я другого названья ему не найду —
никакого намёка, да что ты!

Мне зачем же оно, мне какой же резон —
я не как там... не Публий Овидий Назон,
я не брошен корсарам, пиратам!
Что ж касается понта, то, видимо, он,
хоть и грозен, да мною давно приручён —
так что всё хорошо, император!

Эти волны, когда бы я ни прибежал,
узнают меня издалека по шагам —
и бранятся, как старая нянька:
дескать, где ж тебя носит, сорвиголова,
тут чужая страна, тут тебе не Москва —
до чего ж извозился-то, глянь-ка!

Ну а «Скорбные письма» есть попросту жанр — жанр такой... что бы кто бы ни воображал: дань быломu, традиции, моде! Потому что — мы с глазу на глаз говорим? — как-то, в общем, не тянет в блестящий твой Рим, как-то он ни к чему уже, вроде...

Да не так я, пожалуй что, и виноват, чтоб отсюда кричать: «Император, виват!» Я пою себе песни другие, только... чёрт его знает, какая из мух раздражает мой слух, безупречный мой слух — муха... мушка, душа, ностальгия...
<...>

2 2

<...>
...глупо, глупо и глупо, но так уж оно у меня и подобных мне заведено: делать глупости и защищаться — против тех, с кем не только не век вековать, но кому на тебя вообще наплевать... тоже, в общем-то, некое счастье!

Твёрдо зная, что миру нет дела до нас, презирая Парнас, не ходя на Парнас, всё же — слабо интересоваться, как дела на Парнасе: немножко следя за развитием событий, за ролью вождя... любопытствовать, но не соваться!

Я живу далеко, ни во что не суюсь,
но когда мне и тут вот советский союз
предлагают под видом искусства,
я почти что сражён, а когда я сражён,
то уж лезу совсем, так сказать, на рожон,
не спуская такого паскудства —

что, конечно же, зря!.. Вообще-то я лишь
посторонняя птица, случайная фишь —
хорошо бы мне знать своё место —
где-нибудь на краю, на отшибе, в тени
между «здесь» и «вдали», между «мы» и «они» —
без согласия, но и без протеста.

Хорошо при своих оставаться нулях,
хорошо быть нелепым значком на полях,
только портящим строгую смету!
Хоть значок бы, наверное, всё объяснил,
но понять его нет ни желанья, ни сил
у эпохи, ни времени нету...
<...>

23

<...>
...и почти что бесплатный кругом виноград —
в ноябре-то! — из Греции, как говорят,
ибо в Греции... дальше понятно.
Я бы съездил туда, да какая ж нужда?
Виноград всё равно ведь привозят сюда
и уже не увозят обратно.

А представить себе: виноград увезли —
мы тут все бы, наверно, с ума бы сошли:
как же выживешь без винограда!
Эти полупрозрачные полушары,
этот праздничный треск золотой кожуры,
эта солнечная канонада...

Восемь крон за тяжёлую влажную гроздь —
и в течение как минимум часа ты гость
на Олимпе: гуляй без надзора!
А твоё скандинавское прошлое... брось,
не ходи туда больше: продует насквозь —
как собаку, как пса, как трезора.

Я живу для того, чтобы есть виноград —
обжираться им, гроздьбу за гроздьбу подряд,
и куда в меня только влезает!
Говорят, это детство в советской стране
отзывается поздним приветом во мне
и оттуда меня истязает...

Дескать, всё, чего прежде недополучил
и т. д. и т. п. ...Но из детских кручин
я одну только помню, пожалуй:
всё хотелось умчаться в чужие края —
в те края, где теперь уже больше не-я
за каретой бегу обветшалою...
<...>

<...>

...чтоб оставили только в покое! Хотя...
кто ж тебя беспокоит, большое дитя?
Да никто тебя не беспокоит.
Хочешь целую жизнь у бирюлек своих
просидеть — да нейдёт к тебе взбалмошный стих,
хоть убейся и хоть всё такое!

Ты и сам-то подумай-ка: полный покой —
он тебе, извиняюсь, конечно, на кой?
Всё равно ничего не удастся:
слово вянет в руках — только срежешь с куста,
а в строфе уж такая, прости, темнота,
словно это глава из кадастра!

Жил бы так, как живётся, как люди живут:
это там было пусто и грустно, а тут
пальцем пошевели — и начнётся...
Что начнётся? Чего только ни пожелай:
мир так полон, что всё уже прёт через край —
прост расчётец: совсем без расчётца!

Видишь, рог изобилия тобой же зажат,
разожми только пальцы — да пальцы дрожат:
их почти уже мёртвая хватка
не даёт изобилию пролиться с небес —
на тебя, отказавшегося наотрез
от всего, что так просто и сладко.

«Нет, большое спасибо»; «Спасибо, нет-нет!»...
Над тобой уже весь потешается свет —
над затворником с чашкою кофе,
заслоняющим свет напряжённой рукой,
для которого только и дорог покой,
но которому нету покоя.

ПЛАН ГОРОДА

А

Начинаем на площади *Нету Ни Кроны*,
на старинной, где тьма дорогих ресторанов,
посторонних людей и старательных чаек,
собирающих здесь золотые объедки —
всем объедкам объедки, понятно откуда.

Что касается чаек, то чайки — из моря:
это прямо за площадью *Нету Ни Кроны* —
судя по постоянному пению сирены.

Разумеется, море сюда забегает:
украдёт что-нибудь и — сбегает обратно.
А купить всё равно ничего невозможно:
это не для продажи, а так... извините.

Жизнь тут жмётся к домам, ибо плохо одета
и в кармане, как водится, вошь на аркане:
этим не расплатиться не то что за завтрак —
за вчерашник и то даже не расплатиться...
даже просто за право стоять в отдалении
от безлюдного завтрака в *Нет, Ваша Милость*.

А духи вылетают серебряной тучкой —
прямо как бы из «Милости» и, растерявшись
на открытом пространстве, сиреневой точкой
исчезают, оставив на память фиалку —
авангардной старушке из бурого камня.

А хороший дымок от хорошей сигары
улетает, совсем ничего не оставив,
в переулочек — кривой, как улыбка паяца.

В

Переулочек *Да Ну Их* уходит налево
и вверх... и без нас — и за ним не угнаться
(разве только совсем уже сильно пригнуться
и бежать сломя голову — только зачем же?).

Для начала смотри не забудь поклониться
двум коротким столбам, за которые цепью
переулочек прикован к земле... а иначе,
не сказав ничего, он унёсся бы в небо.

Он и так там почти уже наполовину.
Потому и соскальзывают горожане
по кривой траектории вниз и налево.

А внизу и налево живётся прекрасно:
там такой уголок, где сидит старикашка,
у которого кошка с серебряной шерстью
и певучая банка из жести: как хочешь —
можешь бросить монетку, а можешь — улыбку,
и тогда старикашка попросит у кошки
станцевать тебе танец, и кошка станцует.

После этого лучше усесться в автобус —
тут же, на уголке — и отправиться дальше,
по рассеянной улице — в ту же минуту
забывающей начисто о переулке.

С

Это улица имени *Глупостей Всяких* —
хоть таких, как, допустим, мешочек со смехом,
чашка с дыркой на дне, два непарных ботинка,
леденец — в виде, скажем, зубного протеза
или вот... шоколадка зелёного цвета.

Это всё, без чего совершенно не нужной —
или, хуже того, совершенно не нежной —
представляется жизнь... то есть просто напрасной.

Но на улице имени *Глупостей* *Всяких*
всё полно сокровенного тайного смысла
и живут разлюбозные сердцу ремёсла.
Ибо Божьего промысла час нам неведом,
ибо, неведом черпая воду из моря,
иногда зацепить удаётся такое,
что не знаешь и сам, что потом с этим делать,
а выбрасывать жалко: забавная штука!..

Тут сомненье смеётся в лицо горемыке,
разговаривающему с белой витриной,
где в каком-то немислимом зимнем пейзаже
размещаются вещи для плаванья: ласты,
два подводных ружья, три весла и корабль —
пассажиры которого (жирная крыса
и тщедушная лошадь) сражаются в карты.

А когда тебе под ноги Бог отфутболит
золотую монету периода Тора,
то теряться и медлить, пожалуй, не стоит:
всё тут Случай — и так же легко, как монету,
мог бы Бог отфутболить твой череп, о Йорик,
скажем, под ноги Гамлету.. Или другому.

И смущение корчит гримасу восторга,
а восторг от дождя на восток убегает
по коротенькой лестнице в десять ступенек.

D

Тоже, в общем-то, улочка — с тихим названьем
Ах, Простите... Тут домиков десять-пятнадцать —
без конца извиняющихся перед всеми
за свою малочисленность и престарелость.

В доме номер тринадцать жила ворожéя,
ворожившая каждому как заводная
и известная тем, что из всех предсказаний
не сбылось у неё ни одно... ах, простите!

А зато здесь над крышами есть голубятни —
голубей в них немного: по три, по четыре,
но отменных пород и прекрасных расцветок —
и у каждого в клюве письмо с пожеланьем:
скажем, счастья и радости — или здоровья,
или только хотя бы успехов в работе.

Впрочем, тут никому не нужны эти письма:
обитатели улицы поумирали
друг за другом, давно — в прошлом, кажется, веке.

Что касается пышных гортензий на окнах —
поливать их приходит печальная дама
с небольшого бульвара как раз по соседству.

Е

Это старый бульвар под названьем *Да Где ж Вы Были Всё Это Время...* — под длинным названьем: сразу даже не вспомнишь, а если и вспомнишь, то уже не успеешь сказать, ибо тут же и кончается этот бульвар — обрываясь в светлый пруд, где живут bestолковые утки.

Говорить с ними не о чем — разве о вечном, но уж больно какая-то глупая тема и не каждый захочет... — покрóшит им хлеба и отправится дальше по берегу прúда, и промочит ботинки, и, жизнь проклиная, еле выберется на сухое пространство, где увидит похожий на детское солнце перекрёсток — четыре луча в беспорядке: на каком ни сгореть, а сгореть непременно!

Ф

Перёкресток, похожий на детское солнце, вообще не имеет названья — и люди, оказавшись на нём, просто не понимают, где они оказались... вертят головами,жимают плечами, разводят руками и не знают, куда им теперь, бедолагам!

Выход есть — на пучок запылённой соломы, под которым смешной толстопузый китаец

для того и раскинул тряпичные снасти,
чтоб ловить ими наши заблудшие души —
узким запахом острых, как лезвия, специй...

В аккуратной харчевне, где будд и драконов
больше, чем... чем других (не вдаваясь в детали),
осторожная музыка стул подвигает
и, тончайшей улыбкой тебе улыбнувшись,
ускользает за ширму, задев колокольчик,
повторяющий часть недослышанной фразы...

Ты в харчевне *Да Пмонь Ты На Всё*: вон два будды
за соседним столом набивают камнями
животы золотые, открытые взорам...
ты двум буддам, конечно же, неинтересен.
Но зато ты весьма интересен дракону —
жёлто-красному и с четырьмя головами:
он за столиком слева, он пьёт кока-колу,
впрочем, очень не прочь бы попробовать крови —
хоть твоей, например. Но ленив и не в форме.

Между тем плутоватая музыка, снова
по пути ненароком задев колокольчик,
с кротким взглядом блудницы несёт тебе блюдо,
на котором какие-то гнусные твари
молча возятся — в битве за лучшее место,
но, почувствовав стол под собою, внезапно
разбегаются все как одна — без-воз-врат-но
(нет, одна остаётся, поскольку подохла).

Расплатиться монетой периода Тора
не выходит: у музыки столько нет сдачи...
Значит, снова наружу — теперь уж понятно,
на каком из лучей нам сгореть с потрохами:
видишь здание Национального Банка?

Г

До чего же он тесен, проспект *Всё в Порядке!*
В мелком сите трясут обитателей Сити —
ситуация, в общем-то, не из приятных,
только что ж тут сказать: так всегда в преисподней.
Мы и рады бы в рай, да стихи не пускают...

А прохожая брошка впивается в веко,
оставаясь навеки — соринкой, помехой,
не дающей увидеть, как нищее время
просит милостыню — прямо тут же, у банка:
нет ли, стало быть, столько-то эрё в избытке?

Золотую монету периода Тора
обменяют на множество более поздних,
и закроется банк — на́ две, на́ три недели,
ибо что ж... после сделки такого масштаба
сам собой разумеется длительный отдых!

Но проспект *Всё в Порядке* в порядке, как прежде, —
ах, волшебные сети богатого Сити!
Принесите сюда что угодно — и купят:
душу, старый башмак, половинку конфеты,

престарелую мать, засыхающий кактус —
всё пойдёт прямо в дело... такое вот дело!

Купишь хищную птицу с двумя головами?
Или, может быть, грязный обрывок газеты?
Пару старых подтяжек, растянутых кем-то
в прошлом веке... — одной знаменитостью местной?
Всё недорого и абсолютно доступно —
как тебе, так и... мне, но меня здесь не видно:
я давно у фонтана по имени *Хватит*.

Н

Хватит дарит прохожим короткие струи
тепловатой воды, отдающей то тиной,
то одной сонатиной времён предбарокко —
впрочем, ты не знаток, так что лучше заткнуться,
или нет: окунуться в зелёную воду,
стать растением на дне или тусклой монетой,
обещающей скоро вернуться и лгущей...

Этой гущей фонтанной тут кормятся в полдень
дорогие зеваки из стран близлежащих
или стран отдалённых... неважно откуда —
важно, что не отсюда! Они обсуждают
на своих языках, непонятных гортани,
кратковременность жизни, несущейся мимо
на зелёных, на синих и сине-зелёных
тонких велосипедах — совсем стрекозиных,
даже тоньше, пожалуй, — совсем насекомых.

И никто никогда никуда не вернётся —
из напрасной боязни остаться навеки.

Что ж касается капли воды на запястьи,
то она ненадолго — да вот и скатилась...
Кто найдёт, так того она, значит, и будет —
сколько сможет... капризный народ эти капли:
ни за что не приучишь сидеть на запястьи!

I

Кстати, здесь по пути я всегда подбираю
на дороге какую-нибудь безделушку —
хоть такую, как *Кирка Святого Повесы*,
небольшую по весу, карманных размеров.

Я люблю подержать её около сердца,
скажем, день или два и — поставить на место,
ибо общеизвестно, что тут прихожане
ничего, кроме как приходить, не умеют —
и приходят, и долго недоумевают
(если зданье, положим, стоит не на месте):
где же, дескать, тут *Кирка Святого Повесы*?

Между прочим — обычно в весеннее время, —
здесь случаются, судя по всяческим слухам,
чудеса и другие смешные события.
Например, говорят, дух Святого Повесы
покидает обитель на четверо суток
и летает над городом как сумасшедший
(ибо лишь сумасшедшие тут и летают).

А в руках у него небольшая спринцовка
с аквавитом — и, если чудесные брызги
упадут на кого, тот теряет рассудок,
начинает летать и, ещё того хуже,
постепенно влюбляется в *Памятник Мысли* —
безнадёжно... бессмысленно и — без-на-дёж-но!

Ж

Этот *Памятник* — ветреник и обольститель —
замер в скверике рядом: стоит и не дышит.
Но на самом-то деле не думы, а дамы
беспокоят зелёную голову мэтра,
и, чуть-чуть приглядевшись, легко обнаружить,
что косит он зелёным медлительным взором —
взором-озером — к югу, к узорным колготкам —
озорным и узорным... но не беспризорным!

А серьёзная птица, клюя его в темя,
словно темы высокие в темя вбивая,
возмущённо глядит на смущённые ножки,
семенящие прочь, топоча каблукками.
Впрочем, вот уже ножки и остановились
под пузатым брезентом, где чёрные в жизни,
хоть и белые в принципе джинсы с кистями
ждут, когда своевольные ножки изволят
шоколада горячего — или коктейля.

И зелёного призрака полувниманье
никого уже более не беспокоит...

...кроме разве что пыльного деда с газетой, не желающего, чтобы всякие мэтры у него за плечом приобщались к печати. И, взглянув подозрительно на изваянье, пыльный дед пересаживается в сторонку — ближе к улице *Вас Только Недоставало*.

К

Это улица сбоку от сквера, на север, что, по скверной привычке, ужасно петляет, превращаясь в клубок безнадежнейшей пряжи: и концов не найдёшь, и за нить Ариадны не ухватишься, — так и погибнешь нелепо в этом нагроможденьи случайных киосков, мелких лавочек, частных контор, заведений типа *Всё Что Не Надо* и *Только Для Нудных*.

Бестолковая улица, в общем: куда бы ты ни ткнулся, повсюду не то, что ты ищешь... В кафетерии — чай, в овощном — сигареты, букинисты торгуют одной только жвачкой, проститутки — добротной рабочей одеждой, а цветочницы — рыбой (как правило, тухлой).

У картофеля фри запах краски (зелёной); апельсины слегка отдают не то дымом, не то ладаном; булочки пахнут гашишем; торт украшен медалями и орденами и израильским знаменем посередине.

А в пакетике чипсов находишь подкову,
колокольчик и — лошадь, но это-то ладно...

В общем, всё бы тут надо давно переделать,
да подумаешь: *Вас Только Недоставало!* —
и пойдёшь, нет, поскачешь себе восвояси
в направленьи канала, ведущего нá фиг...

L

У канала названье *Почти Доконали* —
и оно не подходит, но так получилось,
что сначала нелепое дали названье,
а потом вдруг опомнились: «Чёрт, не подходит!...»
Впрочем, что ж... и три четверти прочих названий
никуда не годятся, да что ж тут попишешь —
не крестить же по новой три четверти мира!

На *Совсем Доконали* под парусом чинным
допотопный фрегат носом черпает воду,
но считает, что держится, в сущности, браво
и кокетничает с мимолётной лодчонкой,
ускользающей вправо — и сразу же влево.

А поблизости можно в пластмассовом кресле
утопить свои мысли в глубоком бокале,
например, божоле — если хочешь, конечно,
а не хочешь — топи в чём угодно, хоть в пепси
(только в пепси, пожалуй, они не утонут:
слишком лёгкий напиток, чья лживая сущность
пузырьками исходит — и нету напитка).

Но зато божоле — это верное дело:
мысль оттуда уже нипочём не достанешь —
и тогда, растянувшись в пластмассовом кресле
(сыром в масле и даже без признака мысли),
можно просто следить за томительной сменой
бликов нерасторопных в *Совсем Доконали*
или за мельтешеньем единственной мошки
с брюшком в виде гитары над полым бокалом.
А уставши следить, расплатиться внезапно
с допотопным фрегатом и — медленным шагом —
удалиться по улице *Дело Не В Этом*.

М

Ибо дело не в этом всегда, ибо дело
в том, другом или третьем, но только не в этом —
и уж кто как не улица *Дело Не В Этом*,
знает, в чём же оно, наконец, но — скрывает!
Есть такие вот скрытные улицы в мире:
все в гардинах и шторах, опущенных долу..
Что уж там происходит, за этой завесой,
только Богу известно и, может быть, чёрту.

Но оттуда доносится смех непрерывный,
и смеются над нами — кому ж непонятно! —
надо всей нашей, стало быть, жизнью снаружи —
слишком внешней, и видной, и, может быть, глупой..
ну, не глупой — наивной, как детский рисунок,
где все женщины в буклях, а каждый мужчина
с бородой и усами (поскольку мужчина!)

Номеров на строениях нет и в помине —
настроенье от этого очень плохое,
потому что не знаешь, где право — где лево,
где вперёд — где назад... и живут ли тут люди
или только смешливые праздные тени
бесконечно пируют, кутят, озоруют,
издеваючись над человечеством в целом,
под прицелом держа его, — а не стреляют.

Даже в баре тут нет ни души, но сквозь шторы
видно, как над столами вздымаются штофы
с тёмным пивом, которое медленно пьётся,
только кем неизвестно — ан пьётся исправно!
И пыхтят толстопузые трубки углями
по углам, и порхают салфетки в пространстве —
беспристрастные, словно бумажные птицы...
И за всем этим кто-то стоит, несомненно,
запуская движенье, но дело не в этом,
потому что пустынная улица с ходу
прекращается — пересекаясь другою.

N

На табличке усталая надпись: *Бог С Ними.*
На *Бог С Ними* живут в основном нувориши
или просто воришки — и дружат домами,
и дома ходят в гости друг к другу, и это
создаёт в нумерации видимый хаос.

После дома четыре идёт тридцать девять
и за ним — двадцать восемь, бок о бок с пятнадцать,
дальше номер сто сорок и сразу — сто галок,
пятьдесят журавлей, девяносто горошин
и так далее, то есть уже без разбора.

Разумеется, из уважения к плану,
и хотели б дома возвращаться на место,
но отчасти пьяны, а отчасти беспечны,
да и прежнее место отнюдь не пустует —
так имеет ли смысл тащиться обратно,
если там уже, как бы сказать, не свободно?

Так что стой где стоишь: где застал тебя случай
(поджидаячи нового случая, значит)!

Ибо хаос есть хаос — и даже природа
тут запуталась намертво в видах и формах:
безучастная к миру цветёт винослива
с черноградом под ручку, а ближе к востоку
шизмарин переходит в колючий роповник —
и поют воровьи соловьям на потеху,
а кухарка из дома под номером десять
представляется всем как Карл-Эрик-Шарлотта
и подносит гостям кока-швелс на подносе
(и при этом усы у кухарки — в помаде).

...мир плывёт пред глазами — и ты, Царь Вселенной,
вдруг роняешь Вселенную на мостовую,
и Вселенная множеством мелких осколков
разлетается в стороны... эти осколки
можно было б собрать, но ты больше не помнишь,
как всё было до этого — тут, на *Бог С Ними*.

О

Между тем, чуть вдали — в стороне от Вселенной —
разноцветные возгласы с детской площадки
не дают тебе права совсем растеряться —
и ведь ты попадешься на удочку эту:
мы ведь знаем тебя, престарелый ребёнок!
А тем паче — название у места такое,
то есть *Снова-Здорово*, такое название...

Так на чём ты поскачешь — на красной жирафе?
на зелёном слоне? на лиловом верблюде?
Люди вряд ли поймут, но чего это ради
людям всё понимать, извините за дерзость!

Здравствуй, стало быть, здравствуй, магический циркуль,
чья надёжная, чья центробежная сила
крепче няньки любой держит тело и душу
в состоянии оседлости на карусели!

И зачем тебе знать, чья рука в поднебесьи
чертит круг, охраняющий детство от жизни,
если тёмные силы из внешнего мира
всё равно меловой не нарушат границы,
если ты в безопасности — рядом с жирафой,
со слоном и верблюдом... и все-то вы вместе!

И с горячей своей, своей точной орбиты
ты всё машешь и машешь стоящим у бровки —
кто там? — мама и папа да папа и мама,
снова мама и папа да папа и пама...
памамапа, мапапа, памама, мапама —
всё сливается и постепенно теряет
очертанья сначала, а после — значенье,
и мотает тебя, и уже не отпустит
карусельная музыка, злое веселье —
и ты видишь себя же в слепой перспективе:
ты верхом на жирафе, слоне и верблюде
и на всём, на чём скачут верхом и не скачут, —
ты везде! И от ужаса этой картины
ты готов разрыдаться... но длань в поднебесьи
оста-нав-ли-ва-ет свой магический циркуль,
обрывается музыка — и остаются
только мама и папа, одни в целом мире.

Р

Ах, по жёлтой дорожке, по жёлтой дорожке —
не всерьёз, понарошку, играючи будто —
к высоченным воротам с высоким узором,
распахнувшимся в сторону площади *Как Бы!*

Как бы всё хорошо, как бы нет оснований пересматривать то, что уже состоялось, как бы ты принимаешь за некую данность — так сказать, мирозданность — явления и вещи, и чего ж ещё проще, чем это решенье!

Ну а то, что ты служишь мишенью для разных, в том числе и для грязных, чужих предложений, тут вина не твоя: ты на площади *Как Бы* — значит, как бы всё это и за-ко-но-мер-но.

Тут район продающих себя по дешёвке — ни за грош! — расторопным, но мрачным торговцам, остро пахнущим сладкой бессовестной травкой из страны под названием *Как Вам Не Стыдно*. Говорят, эта травка — ужасная лунья: наболтает с три короба и исчезает иллюзорным колечком — колечком-малечком: всем мерещилось, да никому не досталось!.. А ещё говорят, что в погоне за травкой тут легко набрести на блюстителя власти: он, конечно, придёт сюда переодетым — например, в капитана заморского судна, в Арлекина, в Пьеро или в Серого Волка, если не в Белоснежку... а то и в Семь Гномов — так что знай: если встретишь Семь Гномов толпою — не Семь Гномов они, но Один Полицейский.

Q

Прочь отсюда, пожалуй: совсем по соседству
расположен (и можно пробраться дворами)
совершенный тупик под прелестным названием —
Всё Ещё Образуется, Честное Слово!

И оно бы, конечно бы, образовалось,
если только не это бы честное слово
и не эта бы милая фрёкен Рулетка,
что живёт в казино *Не Хотите Ли Денег.*

В гости к ней приезжают в тяжёлых машинах,
в бриллиантах, в мехах — это всё вечерами,
а уходят под утро, под честное слово,
подшофе и — ногами (нередко нагими);
и забавно смотреть, как костлявые дамы —
при мужьях в одеяньях Адама — грохочут
белой костью о кость, в одеяниях Евы.

А смешливая фрёкен Рулетка не знает,
что ещё предпринять, и скучает с мартини,
дожидаясь кого-нибудь в смокинге, взятом
напрокат, чтоб понравиться фрёкен Рулетке.

Но так поздно приходят лишь американцы
в пиджаках залихватских, чьи крупные клетки
ослепляют крупье — и крупье, ошибаясь,
отдаёт им недельную выручку, ибо
лучше эти убытки, чем крупные клетки!

И, болтая, весёлые американцы,
не кивнув даже в сторону фрёкен Рулетки,
отправляются дальше — рассовывать бабки
по игральным машинам, и так по дороге
оставляют весь выигрыш тут, в тупике же
(в той же кассе, как любят шутить старожилы).

Вообще же тупик, если вдруг приглядеться,
очень сильно похож на мешочек с деньгами,
перевязанный так прихотливо и туго,
что измучишься, но нипочём не развяжешь, —
может быть, потому-то тебя тут обычно
застигает отчаянный приступ удушья
и, назад повернув, ты спешишь на свободу —
к небольшому мосту *Это Всё Не Напрасно*.

Р

Мост всегда под охраной: три старые сфинкса
(раньше было четыре, четвёртый скончался)
стерегут его вот уже пару столетий —
от кого непонятно... но мало ли, дескать!

Говорят, на мосту *Это Всё Не Напрасно*
хорошо предаваться пустым размышлениям
о каких-нибудь не существующих в мире,
но высоких вещах — типа власти и славы.

Так оно потому, что, висая над каналом,
мост опор не имеет (вот разве три сфинкса)
и всё время чуть-чуть подымается в небо:
говорят, миллиметра два-три за столетье
(значит, нам ничего пока не угрожает,
да и рост современников выше, чем предков).

Что до сфинксов, ревнителей местных порядков,
то они справедливы, хотя и суровы,
и напрасно людей за штаны не хватают:
размышляй о высоком себе, ради Бога,
если больше совсем ни на что не пригоден
(это, кстати и есть твой — клинический — случай).

Так возьми себе что-нибудь в голову... скажем,
хоть такую Предельно Высокую Глупость,
как любовь к своей родине (к чьей же иначе!):
ведь на то и придуманы долгие ночи,
чтоб растрачивать их на подобные чувства.

Вспоминай же!.. Иметь превосходную память —
значит помнить о том, чего не было прежде,
у тебя идеальная память: ты помнишь
то, чего вообще никогда не бывает.
Например, вот... счастливое долгое детство
с элегантным и грамотным выходом в юность
или зрелость — с плодами на тонком фарфоре,
подаваемыми на столы (для гурманов),
и так далее... мост подымается в небо
раньше времени — и направляется к раю.

S

Так сходи же скорее: с моста ли, с ума ли — пробил час, как в романах писали когда-то (жалко, правда, что не сообщали, который пробил час... а заманчиво было узнать бы!)

Но часы тут, на набережной Ах, *Постойте*, постоянно показывают полвосьмого — потому и по нраву тебе это место, это место и время... а утро ли, вечер — выбирай, что захочешь: ведь ты тут хозяин! Как рассадишь случайных людей по скамейкам — так и будут сидеть: не меняючи позы и вперившись глазами в чужие пределы по ту сторону моря, песка и тумана. Как развесишь по мачтам судов легкокрылых паруса, под какими углами наклонишь — так и будут висеть, невзирая на ветер, на прогнозы синоптиков и всё такое. Или как разбросаешь по берегу мусор — так и ляжет: он тоже в твоём подчиненьи... даже чайки, как пешки, ныряют за рыбой столько раз, сколько скажешь: «Ныряйте за рыбой!»

И стоят на полвечности тонкие стрелки, и ты ходишь по берегу и повторяешь: «И был вечер, и было... (поправив латерну) было утро», — но дней не считаешь: их много, и ты сбился со счёту — давно, в прошлой жизни.

Т

А ещё есть длиннющий такой перешеек — называется он *Что Же Это Такое:* почему называется, мало кто помнит, но ты помнишь: *ты* дал ему это название, потому что... а впрочем, кому ты обязан объяснять, почему и зачем и откуда! Да никто и не требует, в общем, отчёта: принимают как есть — ну, и слава-то Богу, ибо ты и не мог бы ни в чём отчитаться, даже если б под дулом стоял пистолета.

Но до этого, впрочем, пока не доходит, а дойдёт — так придётся, должно быть, признаться, что процесс на-зы-ва-ни-я в целом бессмыслен — как на-ни-зы-ва-ни-е ракушек на нитку. И кому бы потом ни отдать эти бусы, никакой они ценности не представляют — если только на память... о лете, о взморье, о длиннущем, как трюк затяжной, перешейке!

Здесь обычно безлюдно — лишь толпы туристов набираются недорогих впечатлений от холодной воды, суетливого ветра и пустынного вида на плоские дали: всё бесплатно — и только тщедушная скрипка просит несколько крон за начало сонаты, по-вто-ря-е-мо-е бесконечно — по мере поступления групп и их исчезновения.

И опять тебе не удаётся дослушать,
в чём там дело, в конце этой самой сонаты,
и тебя раздражает её невниманье
к твоему к ней вниманью: сложны отношенья
между вами — и, чёрт побери, драматичны!

А туристы... да что же возьмёшь с них, с туристов?
Правда, судя по очень коротеньким звонам,
выканючивает-таки бедная скрипка
на биг-мак и на яблочный пай — и тогда ты
запускаешь, как голубя в небо, купюру,
на которую можно купить весь Макдоналдс,
и, схватив её, скрипка срывается с места,
поперхнувшись второй половиной сонаты...

Ну, раз так, то пора и тебе собираться
в путь-дорогу, назад вдоль всего перешейка —
в направлении к району *Ничуть Не Бывало*.

U

Это недалеко и всё время под горку:
по огарку свечи, по цветку из бумаги,
по отсутствию всякой подмоги ты сможешь
распознать это место, *Ничуть Не Бывало*.

Тут старинное кладбище — с множеством духов,
пролетающих в воздухе лёгкой чредою —
чередясь то с тенями, то с облаками,
то с дымком сигарет твоих марки *Оставьте*.

И у каждого духа в руках есть линейка
или ножницы — это уж кто как захочет,
потому что одни подстригают кустарник,
а другие глядят, хорошо ли подстрижен,
то есть, ровно ли — с точностью до миллиметра.

От такой геометрии хочешь не хочешь,
а зальёшься слезами — и тотчас же духи
прекратят свое щёлканье и исчезают,
будто просто казались, а не подстригали.

Правда, падает с неба платок запоздалый,
но глаза уже высохли — так что... спасибо.

Как помотришь вокруг: кто ж тут только не умер!
Просто диву даёшься... практически каждый:
даже вечно живые — за именем имя —
превратились из собственного в родовое.
Но когда ты увидишь своё — на граните
(на пустынной границе минувшего века)
ничего не останется как улыбнуться
и подумать, что собственность — странная птица:
перелётная, стало быть, птица такая...
а потом, докурив сигареты *Оставьте*,
вдруг понять, что умерших не так уж и много, —
если, скажем, считать по количеству ножниц,
снова лязгающих вдалеке над кустами.

V

Путь отсюда — к аллее *Весьма Сожалею*,
уходящей от кладбища в сторону света... —
это, значит, и всё, что ты знаешь о курсе
бесконечной аллеи *Весьма Сожалею*.

Утверждают, что это пропащее место
и никто до конца ещё не добирался,
но подумай: чего только не утверждают!

Это, видимо, так же нестрашно и страшно,
как туннель, по которому мы после жизни
понесёмся — и тоже ведь в сторону света:
уж такое у нас, мотыльков, назначенье.
А пока... продвигайся как можно быстрее —
и пройдёшь всю аллею: тут важно не медлить,
не внимать голосам, колотящимся в спину,
потому что там нет никого... всё обманы!
Всё сирены-мурены, пуганы-гетеры
притворяются прошлым твоим, чтоб ловчее
и вернее заставить тебя обернуться
на минутку, но знаем мы эти минутки!

Значит, в сторону света, на ласковый сполох,
к серебристому берегу, откуда регатой
отплывают: рогатый игрушечный месяц,
стая светлая звёзд и любимые люди,
находящиеся по ту сторону света...

Вот и всё... а они говорили: аллея
бесконечна! Но, вспомнив какую-то частности,
ты на миг отвлечёшься — и в ту же секунду
на проезжей окажешься части дороги:
пред лицом светофора, а вовсе не Бога.
Что тут... ах, перекрёсток *Да Сколько Же Можно!*

W

Ничего-то ты в Городе, дурень, не знаешь!
Например, перекрёсток *Да Сколько Же Можно*
как ни учит тебя уму-разуму — разом
ты готов позабыть всё, чему научился, —
даже эти азы: красный, жёлтый, зелёный!

А всего-то и было: шальная идея,
залетевшая в полуживое сознание —
рыжеватая прядь, лаконичнейший локон...
ради них ты вернулся? Ах, глупый ты, глупый!

Так следи, получается, за светофором:
он теперь господин твой — и ныне, и присно,
и во веки веков... своевольный, лукавый!

Вот он отдал приказ: всем стоять — и ни с места!
Это значит, что в спичечной лёгкой карете
королева и парочка принцев желают
пересечь перекрёсток *Да Сколько Же Можно*
в неурочное — некоролевское — время.

И, сметая барьеры (дома и заборы),
горожане, разрушив фактически Город,
вмиг слетаются все на старинный фонарик
с запалённой внутри стеариновой свечкой —
под немножко поехавшей крышей кареты:
Королеве — виват, принцам — многая лета!

У-го-раз-ди-ло же тебя здесь оказаться
в это грозное время народного чувства!

Что ж... теперь куролесь по товарным задворкам —
среди тары добротной и мусорных баков,
меж набитых контейнеров, запертых складов
и тинейджеров — с тайною тягой к граффити
и скуластыми ликами homo erectus.
И почти не представить себе, что однажды —
не теперь: через век, через два или больше! —
ты внезапно окажешься снова на воле,
прямо перед проездом *Куда Ж Вы Несётесь*.

Х

Ох, *Куда Ж Вы Несётесь, Куда Ж Вы Несётесь!*
Если знал бы — сказал, но — увыв... не придётся
ни сказать, ни понять: это, видимо, годы —
и не то чтоб мои, просто годы — как годы,
и как воды... и, может быть, даже как Веды:
Гимн, Мелодия, Жертва и... да, Заклинанье.

Тут и жить бы жрецам — в состоянии проезда от одной остановки к другой остановке, между чем-то и чем-то — непринципиально, чем и чем... просто между: в глуши промежутка.

Может быть, и живут они тут — кто ж их знает? — и Йохансен (над дверью табличка — «Йохансен») никакой не Йохансен: зачем бы иначе его светлому имени быть на санскрите, то есть как бы в секрете от непосвящённых? Подозрительно это, товарищ Йохансен.

Или вот для чего многорукому Шиве танцевать на окне у фру Якобсен, скажем? Он бы мог вообще танцевать где угодно, но танцует ведь именно здесь, а не где-то!

И потом — магазин под названием «Веданта»: он единственный, кстати, в *Куда Ж Вы Несётесь* — и стоит себе как бы совсем на отшибе, а зайдёшь — продавец никогда нет на месте: набирай себе книг и иди восвояси — и никто не окликнет... (проверено трижды).

В общем, что говорить... если время смещаться со своей на другую, чужую орбиту, — не заметишь и сам, что уже превратился в тонкий выдох брахмана... *Куда Ж Вы Несётесь* в общем маленьком вихре — машины и люди,

львы, орлы, куропатки, рогатые гуси
и — стрекозка по имени Метемпсихоза?

У

Как-то всё тут ужасно поспешно минует
поминутно — и ты (если «ты» существует)
обнаружишь себя через миг возле замка,
возле древнего замка *Подумайте Только*
(прямо, наискосок — и два шага обратно).

Этот замок ничей — или твой, если хочешь:
род, владевший им, вымер, наследников нету,
а купить его... да у кого ж его купишь?
Забирай просто так — вот и все разговоры!

...вообще, тут к нему полагается некий
длинный список нагрузок: от предков запойных
до соседей воинственных... список включает
также пару угодий, совсем не пригодных
ни на что, пруд размером с кофейное блюдо,
диких уток (полдюжины), двух привидений
(графа с девкой сенной, обесчещенной графом)
и подвальчик с прокисшими винами в бочках.

Что касается сада, его планировка
такова, что однажды, в саду потерявшись,
ты уже никогда не вернёшься из сада —
вот такая досада... но это неважно:
можно в сад не ходить — пить прокисшие вина
с привиденьями вместе, трепаться о чести

(честь девки сенной, обещанной графом:
тема, так сказать, быстрая — и из пикантных).
Вот... А если случатся какие туристы —
пнуть ногой под... узды и сказать: я не в духе.

Вообще говоря, всё неплохо, но как-то
на любителя... Жалко, что ты не любитель.

Z

И опять ты уходишь: всё время уходишь —
от друзей, от наград... от винта, от ответа,
и тебя уже можно увидеть идущим
по дороге, ведущей к жилому кварталу
с невесёлым названием *Вы Не Изменились*.

Здесь и *твой* дом — среди прочего... нет, между прочим:
дом, который ты как-то всегда огибаешь,
обходя стороной непонятное имя
на табличке, прибитой тобой вверх ногами.
Тут давно не живут — и звонить бесполезно:
колокольчик, звонок ли, скворец ли при двери
(свил гнездо и поёт... ну и что ж теперь делать?)...
есть ещё металлический рог: для упорных —
тех, что любят трубить от зари до заката,
но и им не откроют — хозяев нет дома.

Говорят, что когда-то тут было возможно
получить чашку кофе с берлинским печеньем,
но, должно быть, не в этом году, потому что
у скворца уже внуки — и немолодые.

Проходя по касательной к этому дому,
ты — единственное — заберёшь свою почту
из почтового ящика, полного дряни,
чтобы где-нибудь бросить во время прогулки
в направлении к центру — по улочке тихой
Мы Ещё С Вами Встретимся, Но Ненадолго.

УЧЁНЫЕ ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО

Записка первая, другу

Датские зелёные купола и башни
похожи на только что вынутые из моря:
грациозные обломки, которые день вчерашний
выбросил на берег, перефразируя Снорри.

Тебе, конечно, понятно, какого Снорри, —
если же нет, то и я не знаю:
ты однажды употребил это слово в споре...
правда, тема, помнится, была иная.

Впрочем, это я так. Лучше сразу о деле:
я хотел сообщить, что сегодня снова
не застал тебя дома, как и на той неделе,
и черкнуть записку — коротко, два-три слова.

В общем, так я и делаю. Вот и поговорили.
Это первый раз за последних четыре года.
Я пойду посижу сейчас в каком-нибудь гриле,
закажу себе минеральную «датскую воду» —

и начну извлекать из воды купола и башни,
купола и башни зелёного, вчерашнего цвета,
и раскладывать их по столу на бумажке —
в честь хотя бы и Снорри, хоть я и забыл, кто это.

То-то Снорри обрадуется и ахнет,
то-то даст мне мёду за эту идею!..
Что до поэзии, то ею здесь и не пахнет.
Обнимаю. Увидимся через неделю.

Записка вторая, налоговому инспектору

Срезанные цветы действуют мне на нервы,
поэтому я в мою жизнь их не допускаю.
И хотя у меня есть тончайшая ваза из Севра,
она прекрасна сама собой и стоит пустая.

Я вообще считаю (если говорить честно),
что отнюдь не здорово быть свидетелем кончины,
восхищаясь тем, что пока не исчезло,
но исчезнет, как бы ни ухаживали и ни лечили.

Понятное дело, всё в мире довольно тленно
(я и сам охотно цитирую Екклесиаста),

но строить на этом концепцию жизни и вселенной,
полагая, что жизнь как раз потому и прекрасна —

это я нахожу, извините, несколько глуповатым
и, с Вашего разрешения, несколько страусиным...
Впрочем, в соответствии с заведенным мною порядком,
я давно не путешествую по философским тряпинам.

Так о чём я, собственно... Ах да, о налоге:
с ним теперь всё в норме, как и следует из квитанций.
(Кстати, звонок Ваш застиг медведя в берлоге
прямо за этим самым намерением — расквитаться!)

Что ж, я весь не умру: сохранятся мои бумаги:
счета, расписки и прочая абракадабра —
богатый архив весельчака и бродяги:
смешное моё, нелепое моё завтра и послезавтра!

Закон сохранения материи — прекрасная штука.
Он тот же буддизм: всех обманет и всех утешит.
До встречи, дружище... да продлится наша разлука!
Отчасти всё-таки Ваш,

Налогоплательщик.

З а п и с к а т р е т ь я , в р а ч у

Я прийти не смогу: дела... то одни, то другие.
Мне теперь хорошо помогает зубная паста.
Невралгия моя, или как её... ностальгия,
развивается благополучно, но не опасно.

У меня отвращенье почти к любым препаратам,
и потом... я считаю Ваш труд не большим искусством.
Например, я вчера побеседовал с Гиппократом —
он хороший врач, он сказал: всё пройдёт, клянусь Вам.

Он не то что Вы — с Вашей клизмой и Вашей линзой!
...между прочим, на днях, по пути повреждая голень,
я украл из приёмной истории всех болезней —
Вы теперь ни в жизнь не узнаете, кто чем болен!

Я читаю их как романы, но — будь я Вами —
я бы многое изменил и отбросил даже,
ибо натурализм Ваш не объяснить словами,
а от этого плоские получают персонажи.

Они часто болеют, представлены в мрачном свете,
скоро все перемерут... и какая же в этом тайна?
Это каждому ясно: в конце концов, мы не дети.
Но нельзя же смотреть на жизнь, так сказать, летально!

Скучно пишем, голубчик... Язык безнадежно вязок.
Слишком много латыни, хоть нет для неё предлогов.
Удивительно, как Вы обходитесь без развязок.
Убивает полное отсутствие диалогов.

Я люблю интерьеры и старинные ароматы,
обожаю пейзажи... тут я в своей стихии —
и в ближайшее время допишу за Вас все романы.
Передайте привет равнодушной своей Психее!

**Записка четвертая,
почтальонше**

Не кладите, пожалуйста, больше газет мне в ящик: справа мусорное ведро — специально для этой цели, для любых событий, особенно настоящих! Закрывайте покрепче крышку, чтоб не улетели.

Мне приятнее думать, что время остановилось, что я всё посмотрел и сказал большое спасибо: в этой драме коварство, побеждающее невинность, как и прежде, выглядит глупо и некрасиво.

Так что мне ни к чему... как бы это сказать, примеры, наводящие снова и снова на те же мысли. Всё хорошее в мире завершилось до нашей эры — к сожалению, Бог судил нам родиться после.

Одиссей уже возвратился к родному чаду,
Развесёлые боги давно в стороне резвятся...
Кстати, если тебя не смогли пригласить к началу,
глупо брать на себя какую-то роль в развязке.

В общем, Вы как хотите, а я умываю руки
замечательно пахнущим сиреневым мылом:
так учил нас Пилат — дока в древней этой науке —
расставаться с будущим, будущим легкокрылым.

Разумеется, мыло не было заложено в смете,
но подобные вольности извинительны индивиду,
опоздавшему чуть ли не на два тысячелетья
и почти потерявшему героев из виду.

Вот, пожалуй, и всё о газетах, что наболело.
Разрешите теперь откланяться, моя дорогая.
...если кто-то пришлёт письмо, то, конечно, другое дело.
Правда, кто это мог бы быть, я не постигаю.

**З а п и с к а п я т а я ,
с л у ч а й н о м у г о с т ю**

Часто наши пути пролегают где попало,
и особенно часто — из-за плохой погоды.
Будем знакомы: над дверью — фамилия и инициалы,
ключ под ковриком, и в холодильнике — бутерброды.

Как Вы видите, я всё давно приготовил —
это не благодеец, а обычная деловитость.
На прошлой неделе Вас ждали тут мясо и картофель —
вчера их пришлось выбросить, чтобы не отравить Вас.

Сам я сейчас, наверное, где-нибудь близко —
скорее всего, в «Володии» или в «Парадесе»
(как добраться, рисую на обороте записки) —
так что... захочется увидеться — заходите.

А не захочется — располагайтесь как дома.
Я не скоро вернусь: кое-что, как видите, понимаю —
с госпожой Душой иногда нельзя по-другому,
иногда она дурочка слепоглухонемая.

И тогда её надобно оставить в покое,
накормить бутербродами и забыть на диване:

пусть поспит (что не самое, как мы знаем, плохое!),
пусть побудет в какой-нибудь чужеземной нирване.

С ней никак не получится по-военному, по-солдатски —
отдохните, стало быть, как в гостеприимном семействе!
Ничего, если сегодня встретиться не удастся —
может статься, ещё раз реинкарнируем вместе!

Вот когда мы побродим по лугам и долинам —
птицы встретят нас песней, псы окрестные — лаем,
вот когда мы подружимся, в нашем завтра счастливом,
если только узнаем друг друга. Но, говорят, не узнаем.

З а п и с к а ш е с т а я , С и в о м у М е р и н у

В темноте пробираясь наведни по белу свету —
мимо храма Кому-не-Помню, — с правого боку
я имел в кармане завёрнутую котлету
и увидел на сене одну потрясающую собаку.

Мы устроили пир и, разумеется, говорили о дзэне:
дескать, время придёт собаке во тьме пробираться
и, увидев меня голодным, лежащим на сене,
поделиться карманной котлетой со мной по-братски.

Всё закончится, стало быть, той же котлетой... странно.
Если так, то зачем нам дзэн, выражаясь прямо?
И зачем нам с собакой следующая нирвана,
кроме этой — уже состоявшейся возле храма?

Так на Ратушной (Радужной) площади, под луною,
мы простились, поскольку делалось холоднее,
и собака отправилась дальше — возможно, мною,
и я тоже отправился дальше — возможно, ею.

Разумеется, мы твёрдо договорились о встрече,
но никто не явился — и встречу навсегда отложили,
из чего легко заключить, не впадая в противоречье,
что слова иногда бывают довольно живы.

С этого времени я уже ни за что не ручаюсь,
ибо кто из нас кто теперь — не могу быть уверен,
всё, что мне остаётся, — это рассчитывать на случайность
и апеллировать к Вам, уважаемый Сивый Мерин.

Сущность — это люди с пёсыми головами,
всегда одинакова и выглядит некрасивой:
ею можно махнуть не глядя — да вот хоть и с Вами,
мой поверхностный адресат, мой приятель сивый.

З а п и с к а с е д ь м а я , с о с е д у

Как старуха, которая поскребла по сусеку,
я потряс свою память, чтоб найти Ваше имя, —
не нашёл... Но уж если мы живём по соседству,
я хотел бы общаться с Вами, а не с другими.

Вчера посмотрел бергмановское молчанье
и опять ужаснулся тому, как мы одиноки,
но решил не тревожить Вас ночными речами,
а подсунуть под дверь эти бессвязные строки.

Просто почувствуйте моё плечо под рукою
как несущую конструкцию (несущую чудо),
ибо наше существование — тяжёлое, городское —
предполагает, что все нам чужды и всё нам чуждо.

Это нормальная концепция старого экзистенциализма
(враждебность времени, бесчеловечность пространства),
вышедшая из моды вследствие провинциализма —
французского, если я правильно разобрался.

Кстати, жаль, потому что французы оказались правы
(Франция права почти постоянно):
нас разделяют стены, пограничные столбы и заставы,
на которых вся история практически и простояла.

К этому мне только и остаётся добавить,
что на меня Вы смело можете полагаться,
особенно если, перетряхнув Вашу память,
вдруг не обнаружите ни титулов, ни богатства.

Глупо жить рассорившись и разладясь,
да и лет ведь нам, согласитесь, совсем немало!
Хорошо бы, конечно, мне ещё знать Ваш адрес,
чтоб наугад не совать записку куда попало.

**З а п и с к а в о с ь м я я ,
п о л и ц е й с к о м у**

Завтра я перейду улицу в неполюженном месте:
хватит мне демонстрировать лояльность и невиновность!
Подойду и признаюсь (для меня это дело чести),
что, увы, я виновен, хоть сие для Вас и не новость.

Все мы виктологичны — я тоже, самую малость, но иначе нельзя: в силу тщетности всех презумпций, и на мне, как Вы видите, это правило не сломалось — так что лучше вести себя как остальные безумцы.

Разумеется, это может выглядеть некрасиво, но красивому тут как бы неоткуда и взяться... В общем, так: я с лотков ворую цветы и сливы — и цветы и сливы обычно добрее, чем их хозяйки.

Не поймите в том смысле, что я бы не мог расплатиться, — у меня есть доход, и я, в сущности, не бездельник, но представьте себе, что я был бы, допустим, птица — из породы не-сеют-не-жнут-не-имеют-денег!

Как бы Вы поступили, мой друг нелюбвеобильный, в ситуации, когда... ни преследовать, ни ругаться? Надеюсь, Вы не стали бы размахивать дубиной и стрелять из пушки — да хотя бы и из рогатки?

Что ж, тогда я птица, и это не противозаконно — воровать с лотков, то есть воевать с продавцами. Если это желание Вам до сих пор незнакомо, украдите — и убедитесь в его святости сами.

Ну а я теперь ничего не боюсь и лечу к вершинам самых древних мудростей и самых больших загадок — страшно будет только бросаться наперерез машинам по дороге к Вам, соблюдающему порядок.

**Записка девятая,
бывшему попутчику**

Помню, ехали вместе — проезжая то ли Покровку, то ли Клин, что, впрочем, одно и то же, — обсуждали безобразную Вашу татуировку в свете непосредственного назначения кожи.

Вы ещё всё пытались внушить мне идею, что я как-то неправильно это себе представляю, но, заметив, видимо, что я внутренне холодею, развернули тему в направлении к Менелаю.

Я к тому это, что... на днях перечитывал «Илиаду», разговаривал с Менелаем: ещё сердитый, всё война на уме (уже столько столетий кряду!), всё такой же взбешённый обманщицей-Афродитой.

Я ему: дескать, Бог с ней, забудем... а он — ни в какую: представляете — боль? До сих пор ещё не утихла! Я и так с ним и этак: ругаюсь, кричу, психую, а он всё о своём, у него ведь одна пластинка.

Кстати, шлёт Вам привет — прямо, как бы сказать, из боя: я расслышал с трудом из-за... чем там стреляли греки? — из-за этого, в общем. Но привет у меня с собою — приезжайте забрать, если сможете в этом веке.

Пошутил мрачновато, конечно... опять изменила мера (точно так же, как Зевсу — Гера), не считите упрёком — просто я лет пять теперь не возьмусь за Гомера: в этом веке я занят исключительно Рагнарёком.

При необходимости дам Вам любую справку
(Иггдрасиль, Гьяллархорн — написать могу хоть вслепую!).
Извините, что обидел тогда Вашу татуировку —
я, пожалуй, тоже заведу себе точно такую.

**Записка десятая,
Маргрэте, королеве Дании**

В этой местности, где на каждом шагу — корона
(корона над почтой, корона на шоколаде...),
где каждая корова — словно придворная корова,
разве что не разгуливает в белом халате,

в голову приходят лишь высшие соображенья,
тут же и улетающие, подобно птицам и листьям, —
туда, где происходят процессы не только брожения,
но и преображенья, если верить евангелистам.

Преображённые соображения возвращаются в виде
разнообразнейших ангелов, опекающих государство, —
я сегодня приблизился к их сиятельной свите,
но не вынес сиянья, растрогался и разрыдался.

Так в которой уж раз... и мне до сих пор ещё вновь
счёт космических сфер начинать с высоты пригорков:
все тут запросто с небом, все тут с ним родня по крови —
и гораздо больше, чем в Швеции, ангелов и сведенборгов.

Я и сам Сведенборг... в незначительной, правда, мере:
вижу сферы две-три над собой, что совсем немного,

но уже научился, как по-ангельски будет «море», «суша», «небо»... и знаю по-ихнему имя Бога.

Их словарь невелик, а вот синтаксис очень сложен — слишком странно они обходятся со словами: слово вдруг вылетает — крылатым мечом из ножен, между тем как меча ещё, в сущности, не сковали!

Вам, конечно, понятно, куда я клоню, — налево, ибо почерк таков... и характер таков, признаться. Мне приятно, что именно Вы датская королева, — больше, кажется, ничего... это если вкратце.

З а п и с к а о д и н н а д ц а т а я , п о в а р у в P a r a d i s ' e

Paradis — это рай, как я правильно понимаю (о, я правильно понимаю слишком многие вещи!), — так что Ваша задача — замечу, прямая: чтоб меню было менее... как бы это — зловеще.

Например, ростбиф с кровью — это не очень по-райски: прямо скажем, на небе им кормить не годится. Оказался тут — уж будь добр, постарайся как-нибудь оправдывать название Paradis'a!

Кисели, компоты — пожалуйста... ради Бога, наливки, настойки, чтобы посетители не грустили. А вот виски — ни с какого, прошу прощения, бока! Я не столько об этике, сколько просто о стиле.

Всё равно как к шёлковому галстуку не надевают джинсы и не учат неприличным выражениям попугая, точно так же обходятся и с прочими частностями жизни, чья стилистика, к счастью, не может быть другая.

Скверно находиться в разбалансированном пространстве, где аукнется так, а откликнется как придётся, где неважно уже — по-райски ли, по-ресторански, всё равно неуютно... и как-то по-идиотски!

Потому-то я всегда и заказываю лишь кофе — по настроению, со сливками или без оных. Но сегодня настроение у меня, извините, такое, что я вовсе не думаю ни о каких законах:

пью вино и смеюсь — не замечая базара и отсутствия над нами божеской длани... Если сегодня Вам придётся зажарить фазана — знайте, это было моё предсмертное желанье.

**З а п и с к а д в е н а д ц а т а я ,
в о р о б ь ю н а м о ё м к а р н и з е**

Отнюдь не потому, что Вы так разгалделись и Ваш голос слышен даже из коридора, я решил написать Вам, глубокоуважаемый совладелец, — но иначе, пожалуй, у нас не получится разговора.

А без этого — как же? Мы ведь, в сущности, братья: делим пищу и кров... притом что живём как чужие! Хотя что нам делить-то — по совести разобраться — и какой друг от друга дожидаться поживы?

Нет чтоб как-нибудь залететь погостить на недельку — поболтали бы, посидели б как люди!
Вместо этого Вы осторожно крадёте сардельку — специально для Вас же и оставленную на блюде.

Это ль, друг мой, не глупость — воровать у себя же?
Впрочем, слишком многие делают то же с охотой: я тут как-то и сам хватился одной пропажи, оказавшейся тотчас же счастливой находкой, —

я о десяти кронах, спрятанных в медном стакане от себя самого (забываем, голубчик, стареем!) — иллюстрация, любимая психологами и дураками: феномен исчезающей банки с апельсиновым вареньем.

Допускаю, что варенье для Вас вообще не тема, но дело не в нём, а в том, что все мы похожи, — и, как бы природа нас разобщить ни хотела, а всё-таки сторониться друг друга негоже.

Что до кекса на блюдечке — кекс этот Вам подарен. Он с марципаном... стало быть, приятного аппетита. Да, кстати, меня давно уже не волнует Дарвин — так что с Дарвином можете поступать как хотите.

**Записка тринадцатая,
велосипедисту, оставляющему
свой велосипед у моего окна**

Как бы так половчее начать — и сразу закончить...
Дело в том, что Дании свойственна одноэтажность, —
и, тем не менее, никто тут особенно не хочет
чувствовать свою прибитость к земле и ничтожность.

Космос близко — практически в каждой тарелке супа,
так что логика, видите ли, самая простая:
как-то это совсем уж безрадостно и глупо
из-за Вас, дорогой мой, не видеть мироздания!

Созерцая конструкцию Вашего велосипеда,
говорю себе: она совершенна и превосходна...
но, привыкнув, утрачиваешь вкус постепенно
даже к самым волшебным сторонам обихода.

Иногда я не прочь бы вспомнить, к примеру,
как выглядит церковь Святому Николаю,
но в окно я вижу лишь двухколёсную химеру —
и хорошего, простите, Вам отнюдь не желаю.

Что меня и пугает... А хотелось бы не пугаться —
не пугаться и не ругаться: мы не мятежны.
Я не ставил бы под Ваше окно своего фрегата,
заведи я себе фрегат (никакой надежды!).

Потому что, дружище, открытость перспективы
приобщает нас к миру — особенно вечерами...
и особенно если окружающие картины
не прикованы к чьей-нибудь хромированной раме!

Я люблю себя чувствовать частью Вселенной —
и Вселенная, вроде бы, заметно не против...
раз я с Вами болтаю в стране этой благословенной
одноэтажных домов и многоэтажных бунгало.

**З а п и с к а ч е т ы р н а д ц а т а я ,
с и н о п т и к у т е л е к а н а л а « D A N M A R K 2 »**

«В понедельник Фальстер от Дании оторван
по причине невиданных снежных заносов».
Как же так, уважаемый Прёбен, или Торбен,
или Эсбен... мне не то чтобы обидно за остров —

мне хотелось бы просто побеседовать с Вами
(и причём в свободном каком-нибудь стиле):
что-то дерзко Вы нынче обходитесь с островами —
словно сами, прости Господи, их сотворили!

Я, конечно, немедленно поехал на Фальстер,
не особо надеясь застать его на месте,
раз он Вами оторван! Но, Кристен, или Карстен,
или Торстен... у меня для Вас печальные вести:

Фальстер там же, где прежде (проверьте по карте!) —
и в ближайшее время он сместится едва ли!
Так что впредь тектонических сдвигов не предрекайте,
ибо сколько бы и чего бы Вы ни поотрывали,

а ландшафт есть ландшафт — и не в Вашей воле
распоряжаться островами и материками,
потому что, обожаемый Огэ, или Оле,
или Ове... они сделаны *другими* руками.

Если что-то сдвигается хотя бы на йоту — начинается всемирная игра в прятки, а потом (относительно этого чего-то) всё выстраивается в совершенно новом порядке.

И тогда далёкий какой-нибудь берег внезапно оказывается возле Вашего носа. До свиданья, воображаемый Хенрик, или Эрик, или Фредерик... до следующего заноса!

**З а п и с к а п я т н а д ц а т а я ,
о ф о р м и т е л ю в и т р и н**

Дорогой оформитель!

Тут, значит, такое дело...

Я позволю себе перейти к существу проблемы: не годится привязывать ангелов шнурками за тело, ибо ангелы бестелесны... а не как все мы.

Между тем я вижу, что в витринах всех магазинов ангелы последовательно подвешены за спинки: они как бы летают — прямо среди апельсинов, марципановых свинок, свечей... ох уж эти мне свинки!

Кстати о марципане: я сейчас на диете — минеральной воде и бессахарном стимороле, но когда под угрозой права всех ангелов на планете или в данной стране (масштаб не играет роли!) —

я встаю на защиту прав! А уж тут — извините: мои ножницы щёлкают, грамотно прерывая

вертикальность полета на одномерной нити —
и тогда вырисовывается замечательная кривая:

параболическое движение по воздушным потокам
в необременительном режиме полной свободы!
И вот уже с запада начинает веять востоком,
с юга — севером, и в городе появляются антиподы.

Их можно встретить практически в каждой bodega
и узнать по упорному неучастию в сплетнях,
по отсутствию малейшего признака снега
на их шляпах и куртках — вызывающе летних —

и прочему... И они рассказывают чудесные вещи!
В частности, что будущего не надо бояться.
И жить становится гораздо приятней и проще.
Если ангелов отпускают гулять восвояси.

З а п и с к а ш е с т н а д ц а т а я , т е н и о т ц а Г а м л е т а

Ситуация, стало быть, у нас вот такая:
я сейчас в Эльсиноре... Хельсингёре по-датски.
Здесь огромное время, по капельке истекая,
уменьшается и вообще перестаёт наблюдаться.

И поэтому, собственно, было бы кстати
перекинуться парой каких-нибудь откровений —
не привязанных к месту, а тем более к дате:
просто — общих... чтобы растормошить муравейник,

именуемый жизнью! Сойдёмся на малом — скажем, тайна-другая: одна-две детали, ибо сведения, поступающие по обычным каналам, меня, мягко сказать, волновать перестали.

Море здесь соблюдает линию отлива (все прибрежные камни вдруг пооткрывались!), эта линия отлива — как линия отрыва: по пунктиру уводящая в другую реальность,

где нормально появление некоей тени с полуночным и страшно интересным докладом — ускользающей после доклада в средостенье между правдой и вымыслом (то есть раем и адом).

Есть такая одна головокружительная область, облаками и духами набитая до отказа: там, цепляясь за первый попавшийся образ, понимают внезапно всё сразу про всё сразу

или сходят с ума... что, в общем, одно и то же! А потом — пророчествуют и бессвязное мямят, и записываются кто в преступники, кто в святоши, получая при этом нарицательное имя гамлет.

**З а п и с к а с е м н а д ц а т а я ,
к о н д и т е р у**

То ли Сара Бернар с миндалём, то ли Хедвиг с изюмом... неизменно приветливы пирожные с именами!

Из кондитерской веет действительным и разумным — так бесстыдно заманивая, так настойчиво напоминая,

что, волшебный кондитер... я, кажется, Ваш — навеки!
Вы — пожалуй, единственный, кто мне дорог и близок: старомодно расписываясь на кассовом чеке, это Вы мне внушили идею учёных записок.

Универсум Ваш — из тонкой муки и крема — эфемерен, как некая романтическая идея: им продолжена... а в сущности, и исчерпана тема мимолётности — то есть подъёма и падения.

Жизнь становится всё более и более тихой, жизнь становится всё более и более мудрой — и растаивает чёрной лакричной пастилкой, и уносится со свету белой сахарной пудрой.

Не бывает никаких купин неопалимых — всё на свете состоит из одних расставаний!
На секунду задерживается стайка сладких пылинок на переднике Вашем, но и их сдувает.

Поболтаем о главном: о быстром, о кратком — я имею в виду, по-видимому, счастье, потому что последняя память о сладком исчезает стремительней, чем съедены сласти!

Мы давно с Вами знаем: ничегошеньки не сохранится от счастливой песочницы с детскими куличами... порождать универсумы, строить памятники вдоль границы и лишаться их без сожаленья — пожав плечами.

**Записка восемнадцатая,
пастору**

Ни на ты, ни по имени не получится обратиться:
я на ты и по имени и так уж со всей страной.
Лучше так: Негг Olsen, весёлая чёрная птица,
Вам, я вижу, никак не наскучит играть со мною!

Вы всё пишете мелом на досках свои странные числа,
но и я не дремлю: тоже, стало быть, соображаю:
что-то Вы замышляете, с числами дело нечисто —
я слагаю их, вычитаю, делю и перемножаю.

Под присмотром летящего над головой корвета
оперирую мерами то ли ёмкости, то ли веса...
К сожалению, Вы никогда не указываете ответа —
так что, кто из нас выиграл, мне неизвестно.

Между тем прихожане, равнодушные к Вашему мелу,
только бегло взглянув на безупречные начертанья,
что-то тихо поют — «Himlens Morgenrøde», к примеру —
непонятно когда записывая и считая!

Но во мне Вы, пожалуй, можете не сомневаться:
я-то знаю, зачем человеку даётся цифра!
И меня не сбивает с толку Ваше коварство:
я почти уже знаю, где ключик от этого шифра.

Кстати (Вы замечали?) весна здесь похожа на осень: так же ветер гудит — всё на той же отважной ноте... Извините, но вскорости я Вас пойму, Негг Olsen, даже если меня Вы к этому времени не поймёте.

Вы вчера вдруг сказали в присутствии прочей паствы, что я, вроде бы, сделан из другого какого-то теста, что Ваш долг — мне помочь... А вот это напрасно, ибо долг Ваш — доиграть свою партию честно.

**З а п и с к а д е в я т н а д ц а т а я ,
м о е м у п о к о й н о м у у ч и т е л ю**

На ответ не надеюсь — и правильно, что не надеюсь. Не к пространству пишу, а ко времени... да и не ко времени тоже! А к тому, что давно себя чувствую как индеец — и готов откликаться на какое-нибудь «привет, краснокожий!»

Уникальность индивида, доведённая до абсурда, завершается, как правило, гибелью индивида. Вот прекрасный пример: безобиднейшая простуда — и тебя уже нет, ни как рода и ни как вида.

Растворяется и всё то, чему тебя обучали, — только очень немного выпадает в осадок в виде памяти, беспокоящей твоих близких ночами: пара-тройка деталей — умильных, но досадных.

Мы наследуем несколько вредных привычек, речевых оборотов да перстень — правда, перстень что надо: он готов нам служить самой лучшей из тайных отмычек, но — бездействует, по причине отсутствия клада.

Все же прочие ценности обычно получают другие, своевременно пришедшие на опустевшее место: старые и новые боги, а также богини — впрочем, нам это всё уже очень неинтересно.

Приговор их в наш адрес таков: «Прямо как младенец!»
А хотелось бы: «...как индеец!» — но тоже славно.
Постепенно толпа скорбящих заметно редет,
и заметно холодеет одинокая настольная лампа.

...год назад принесённый цветок, разумеется, уже высох,
но кустарник у изголовья так и стоит — зелёный,
о ту пору, когда ученик Ваш, под свист бледнолицых,
забирается глубже и глубже на дно каньона.

З а п и с к а д в а д ц а т а я , м у с о р щ и к у

Завтра вторник, но Вы прибудете слишком рано:
к половине восьмого мне ещё едва ли удастся
оторвать конструкцию, именуемую мною, от дивана —
для того чтобы просто поприветствовать Вас по-датски.

Семь мешков с мусором объясняются очень просто:
я решил разобраться со всем, что понацарапал!
Так что стопки бумаг были выстроены по росту
и одним обобщённым движением сброшены на пол.

Я оставил себе лишь тетрадь моих детских рисунков:
пять собак, пара кошек, три груши на блюде

и — шедевр, за которым однажды меня застукав, мама тихо спросила: «Чем же заняты эти люди?»

Эти люди любят друг друга, как теперь бы мы понимали, то есть просто летят по небу (см. у Шагала). Но тогда-то я не решился объяснять это маме, а теперь уже поздно, да и охота пропала.

Остальное... — пусть остаётся в Вашем архиве: это только слова, напечатанные на бумаге. Их особенность в том, что они всегда не такие, каковые нужны мне — в песне, повести или романе.

Песня, повесть, роман, как я думаю, — в идеале — не должны содержать вообще ни единого слова, для того чтобы их точно и правильно понимали и хотели бы обращаться к ним снова и снова.

Раньше я собирался опубликовать отсюда хоть что-то или, может быть, разослать — по друзьям, по знакомым... Сожалею, что доставил Вам столько лишней работы, но не жечь же всё это теперь! Разве вместе с домом...

З а п и с к а д в а д ц а т ь п е р в а я , С у м а с ш е д ш е м у Я п о н ц у

Я, признаться, всё время пытаюсь припомнить престарелую фразу «...чтоб словам было тесно» — и вот думаю: будь я Сумасшедший Японец — как бы это отразилось на качестве текста?

Текст бы стал, разумеется, короче и суше
и забыл о подробностях текущего мига:
слишком уж мала эта баночка туши,
слишком уж дорога эта рисовая бумага!

Ну а всё, что я тут топором моим высек,
так и будет выглядеть безнадежно громоздко,
потому что... немислимо много зависит
от особенностей и характера производства.

Тут проблема не в том, что не хочешь или не можешь
разместить себя в строчках — лапидарных и ясных:
иероглифы просто не пишутся наотмашь
и хорошие вещи не делаются наспех.

Приготовить все кисти важнее, чем все мысли,
ибо кисти гораздо надежнее в работе.
(Мысли тоже бывают надежными, если
не бросают тебя на первом же повороте.)

А когда уже всё в конце концов наготове,
нет ни в чём недостатка, но ничто и не лишне —
можно дать себе время побездельничать в слове
и устроить трёхстишие как маленькое затишие.

Я же вынужден до бесконечности продолжать мою повесть
на тетрадной бумаге — в помарках, словно в заплатах!
Так что... шлю Вам привет, дорогой Сумасшедший Японец,
с сожаленьем о том, что мы с Вами в разных палатах.

**Записка двадцать вторая,
alter ego**

Ну, привет... так сказать! За окном плодоносит пальма, у порога — кокос в предчувствии летнего снега. Всё равно я давно существую лишь виртуально — так что самое время написать к тебе, alter ego.

Чем ты занят, не знаю. Но думаю, кропаешь вирши: только глупости на уме, не сочти за дерзость! И смеется Всевысший, над тетрадью твоей нависший, и разводит руками: дескать, что я могу поделать?

Он, конечно же, прав, ибо ты, как всегда упрямясь, не желаешь ничьей опеки — хоть и оттуда. Ибо всё, что ты любишь, — лишь эта горькая примесь, посторонняя примесь к хорошо знакомому блюду.

И, когда наша жизнь, в сотый раз мимо нас маяча то с кошёлкой пустой, то с песнею пионерской, говорит: «Это так», — ты кричишь ей вослед: «Иначе!» — и уходишь в другую сторону со своей бутоньеркой.

Я недавно открыл потрясающую закономерность: тело, вытесненное из реальности другими телами, просто строит иную реальность (как ещё одну эфемерность), и в иной реальности занимается прежними делами.

Не желая больше исследовать золотые глубины совершенно бездонной конструкции «я люблю Вас», утверждаю под пытками, что в теле неистребима верность только себе самому... — такая вот глупость.

Очень грустно, что мы не знакомы более близко
и меж нами стоит разделительная запятая!
Впрочем, так и так мне давно уже пора закругиться:
я, пожалуй, достаточно написал — теперь прочитаю.

Записка двадцать третья, Кому Попало

Никогда ещё прежде так бумаг моих не трепало
и они не носились по дому с таким ужасающим шумом.
Полоумная Гудрун сказала: «Не пишите кому попало!»
Уважаемый Кто Попало, я напишу Вам.

Правда, коротко... пока не пришла полоумная Гудрун
со своею скучной задачей — упорядочивать мой хаос!
Гудрун может явиться как вечером, так и утром...
впрочем, хватит о Гудрун, я с ней после попререкаюсь.

Разберёмся-ка лучше с Вами: что ж Вы за птица
за такая, за птица за редкая, *gala avis!* —
если даже писать Вам, по мнению некоторых, не годится
(хоть я мнения этого разделять и не собираюсь)!

Вы мне нравитесь, Кто Попало: я люблю дурные примеры,
я люблю «не ходить», «не трогать» и прочие императивы,
я люблю бывать на премьере не когда премьера,
а тогда, когда показ уже прекратили.

И какую-нибудь мыслишку — довольно простую —
я верчу туда и обратно (а форум ропщет),

ибо я существую, лишь покуда я протестую —
против слишком понятных вещей... или слишком общих!

Например, я сейчас пишу при открытых окнах,
но не для того, чтоб у Гудрун было больше работы,
а чтоб ютский ветер бесчинствовал на листах моих мокрых
и ломал любые безукоризненные обороты.

Так что... друг Вы мой Кто Попало, давайте вместе
беспокоить быков одеяньем своим пурпурным!
Жду от Вас — безразлично какой и откуда — вести
и поспешно прощаюсь, под шаги полоумной Гудрун.

З а п и с к а д в а д ц а т ь ч е т в е р т а я , б р о д я г е

Две минуты назад мы с Вами уже встречались —
то ли здесь, то ли в Оденсе, сразу не скажешь.
Допускаю, что это только простая случайность,
но я помню Ваш медный чайник и оловянный кашель.

Я люблю эту Вашу обаятельную манеру — появляться
сразу в двух местах необъятной нашей Вселенной.
Ах, как весело катится детская Ваша коляска
мимо времени, всё время стоящего в отдалении!

Увешанная колокольчиками и бубенцами,
облепленная этикетками дешевого спиртного,
бессмертная коляска, день сегодняшний отрицая,
гремит по камню: дескать, ничто не ново!

Впрочем, надо, конечно, положить сколько-то денег
в Вашу шляпу, стыдливо полуприкрытую полою,
пока тот или иной прохожий неврастеник
не погнал Вас отсюда поганою метлою.

Тогда, заворачивая за угол Стрётет,
Вы бездумно окажетесь в каком-нибудь Бомбее,
ибо нет для Вас правил — ни общих, ни строгих, —
да и небо в Бомбее гораздо голубее!

Да и люди в Бомбее ещё помнят о Капуре —
о таком же, как Вы, трансцендентном бродяге...
Извините, что пишу на стокроновой купюре,
но другой просто нет под рукою бумаги.

**З а п и с к а д в а д ц а т ь п я т а я ,
в с е м л ю д я м д о б р о й в о л и**

Я не очень знаю, что такое добрая воля,
и поэтому не очень понимаю, что вы за люди, —
и записку пишу, как писал бы в чистое поле,
или так, как писал Шекспир своей Смуглой Леди.

Впрочем, мне по душе приблизительные адресаты,
ускользающие из жизни в самом её зените —
с пролонгированной улыбкой последнего бодхисатвы,
бодхисатвы, чьё имя — Чеширский Кот... извините.

Можно просто беседовать с теми или другими,
избегая как их согласия, так и протеста,
если взять и поставить неважно какое имя
или, шире, неважно какое слово — над бездной текста,

реферируя, стало быть... — честно сказать, вслепую к бесконечному множеству — честно сказать, пустому, всё равно, как вдруг просто стать под шальную пулю или, ночью поднявшись, уйти навсегда из дому.

Так и так рисковать — неизбежно своей головою! Значит, кто в собеседниках нынче — плевать раз двадцать, но... держась за тонкую ниточку — вашу добрую волю — чуть приятней срываться в пропасть и разбиваться.

Никого ни к чему не обязывая, находиться — на расстоянии, на почтительном расстоянии текста: строка за строкою отделяющего апостола от апостольского деянья и записанного пусть и честной, но не той же самой рукою.

Хоть и видно с другого берега, что происходит на этом, да понятно не всё, а рассказывать — долго и много... Что касается лодочника — этот парень с большим приветом, и всё время под мухой, и плохо знает дорогу.

З а п и с к а д в а д ц а т ь ш е с т а я , Б р у н о

Замечательный Бруно, прости, что так поздно вспомнил твой последний звонок (через несколько лет — всего лишь!), но — с почтеньем к неисповедимым путям Господним — испраляюсь хоть вот и сегодня, если позволишь.

Вдруг пришел твой двойник — рассказать мне, что я не умер, но заснул на стене подобно Шалтаю-Болтаю. Как люблю я, Бруно, твой нездешний холодный юмор — я хватаю его, как снег, прямо ртом хватаю!

Мне осталось только свалиться во сне — в угоду королевской коннице всей и всей королевской рати: там, внизу, меня ждёт уже тьмушая тьма народу, распахнув неуклюжие, ненадёжные свои объятия.

Окончание этой истории — в общем, жуткой — всем известно: едва ли со мною будет иначе. И ты встретишь моё паденье стоической шуткой — может быть, той же самой, которой встречал удачи.

Так и надо — шутить ли, жить ли... почти бредово!
И, одевшись от Valentino на занятые деньги, выходить только в булочную — в подвале соседнего дома, но рассматривать Копенгаген как свои владенья,

пребывать в одиночестве, но обходиться с ним едко, представлять перед ним то в одной, то в другой личности — и, не имея перед собой вообще никакого объекта, отрицать себя как субъекта — по той же причине.

Стать бы тоже как Бруно — хотя бы только снаружи!
Взять бы как-нибудь вечером перестроить все струны...
Ан — не выйдет! Да и сам ты считал, к тому же, что на свете достаточно и одного безмозглого Бруно.

З а п и с к а д в а д ц а т ь с е д ь м а я , с е с т р е

Я, наверно, тебя немножко расстрою, если сразу признаюсь — как-нибудь попрямее, что о том, как брат разговаривает с сестрою, я понятия просто вообще не имею.

Да и откуда ж такое возьмётся понятие?
Ведь для этого надо, чтоб в пустом моём мире,
например, завелись бы сёстры и братья,
каковых, к сожалению, нет и в помине.

Но — сестра моя! Может, ты всё-таки вспомнишь,
как мы вместе с тобой не росли в одном доме
и поэтому вдруг поспешишь мне на помощь —
со свечою на узкой дрожащей ладони.

И пойду я на свет — на далёкий, на одинокий,
на волшебную палочку, на стеариновый стержень,
я пойду по воде — и сухими останутся ноги,
потому что вода меня держит... свеча меня держит.

И приду я однажды, появившись прямо из моря,
ибо мы, мотыльки, такие уж люди и птицы:
время наше — прямое, и пространство наше — прямое,
как последняя шутка умирающего в больнице.

Не имея на памяти общих шалостей и экзекуций,
присягаю — с упорством шалопая и дураля:
две *последние* параллели однажды пересекутся —
утомившись от роли двух единственных параллелей.

И... сестра моя! Я предстану перед тобою
семилетним оболтусом — с сеткою апельсинов
и с разбитой в последней уличной драке губою —
чтоб упасть на плечо твоё, вдруг обессилев.

Записка двадцать восьмая, фортуне

Очень глупо, что мы всё никак не можем договориться где-нибудь в рестораничке в Одессе, с глазу на глаз, за какой-нибудь сложной пиццей (Вам нравится пицца?), за бокалом-другим божице... простите за наглость!

Я бы вам рассказал, как живу, — Вы пришли бы в ужас... кстати, попросту рассказал бы — ни полслова упрёка: дескать, мог бы и справиться, несколько поднатужась, да не знаю, как подступиться, с какого бока.

Вы б заметили, что наслышаны о моих победах — я б стоял наготове со списком моих поражений: ибо всё, за что ни возьмусь, — ни так и ни эдак, и любая победа есть только залп оружейный.

Вы б сравнили с моею жизнью другие жизни, искалеченные лагерями и рудниками — как случалось при коммунизме или фашизме. Я сказал бы: «Кошмар какой...» — и развёл руками.

А потом подоспели бы фрукты, мороженое и кофе — Вы сказали бы: «Крон четыреста, не иначе», — я ответил бы: «Пустяки, это дело такое...», — заплатил бы пятьсот — не взяв, разумеется, сдачи.

Разговор бы, наверное, происходил на латыни, я бы плохо справлялся (как будет «залп оружейный»?)... Под конец бы Вы, как оно и положено фортуне, научили б меня паре-тройке устойчивых выражений.

Возвращаясь, я бы долго раздумывал над происшедшим и о том, как дожить теперь до конца недели. А потом, ощущая себя окончательно сумасшедшим, улыбнулся бы и сказал: «Хорошо посидели».

**З а п и с к а д в а д ц а т ь д е в я т а я ,
П у л е - д у р е**

Был вчера в поликлинике. После небольшой перебранки вдруг подумал, что жизнь — слишком долгая процедура. Потому и пишу к Вам (на каком-то больничном бланке), Ваша Тёмная Светлость, досточтимая Пуля-дура.

Собеседник не должен быть умным: чем он умнее, тем он более неразговорчив как собеседник. Я ценю в Вас головокружительное Ваше уменье тараторить без умолку — и умертвить напоследок!

Потому что слишком многие интересные разговоры вообще не имеют осязательного финала. Ну а с Вами всё честно — включая окончание грозное, с отключением, фактически, воспринимающего канала.

Это здорово — как-нибудь насмерть наговориться и уже никогда не вернуться к любимой теме, и уже не очнуться — ни дома, ни в местной больнице, разве лет через двести — в совсем постороннем теле.

И — поскольку жизнь всё равно даётся в рассрочку (а наличными было бы и не оплатить, пожалуй!) — надо где-нибудь загодя в мыслях поставить точку и держать её про запас на всякий пожарный.

Но, пока ты ищешь свой ключик, как Буратино, под чужими замысловатыми небесами, просто помни: тебя давно уже закрутила одна дура с голубыми глазами и волосами...

Приношу извиненья за аналогию в последней фразе, но Мальвина — такая красotka и почти святая! Вот... а бланк мой исписан до полного безобразья, так что — до скорого, как говорится, свиданья.

**З а п и с к а т р и д ц а т а я ,
И в а н о в у - П е т р о в у - С и д о р о в у**

Дорогой Иванов-Петров-Сидоров, взятые в целом (как одно отвлечённое — в частности и от меня — понятие)! Находясь постоянно под неусыпным Вашим прицелом, я устал, если честно, опасаться и обороняться

и иду напрямиком: так, я слышал, идут на зверя — или нет, на ловца... я не помню, в каком порядке, — просто с целью признаться, не особенно лицемеря, что все взятки с меня, извините, гладки

и что Вы надоели мне со своим угломером (о котором я знаю одно: угломер — не лютня). Я — с моими углами — не служу никаким примером, ибо я тот, кто Вам не нравится, — абсолютно.

Что я скроен не так — это, в общем, давно понятно. Это надо признать и оставить меня в покое. Потому что... даже если на солнце бывают пятна, то уж я далеко не солнце и всё такое.

Я пишу к Вам конкретно затем, чтобы Вы отныне не включали овцы паршивой в понятие стада и, махнувши рукой («ох-уж-эти-горе-портные!»), обратились к другим, кто скроен и шит как надо.

Я же стану гулять где-нибудь совсем на отшибе, поменяв и страну, и язык... вообще — наружность, утешаясь тем, что меня скроили и сшили так, что здесь это никого не приводит в ужас.

Вот и кончим войну по-хорошему: уговором никогда не ходить по одним и тем же дорогам. И, когда Вы опять соберёте свой страшный кворум, я исчезну куда-нибудь — под неблагоприятным предлогом.

Записка тридцать первая, Глупому Фредерику

Мой товарищ и друг из местной одной поговорки, вот решил: напишу, на обёртке от шоколада. Я не знаю, как ты (хоть и помню твой опыт горький!), только я-то совсем уже... скажем, не так, как надо.

Времена, понимаешь ли вот... не из самых лучших: ко двору не хожу — изучаю одни задворки. Очень плохо быть глупым: сужу по себе, голубчик, я и сам существую только где-нибудь в поговорке!

Поговорка, конечно, другая (но, по секрету говоря, что одна — что другая... неважно, в общем!)...
Надо просто признать: нас с тобою на свете нету,
даже если, допустим, мы ропщем. Но мы не ропщем —

мы живём на устах у знакомых и незнакомых,
и такое фольклорное, я бы сказал, бытованье —
даже меньше, чем жизнь каких-нибудь насекомых:
просто две пустоты, обозначенные словами,

две банальных цитаты, две глупости безотказных,
два легчайших намека на несовершенство массы,
чтобы масса, крепчая на кознях своих и казнях,
не позволила всей конструкции поломаться.

Шут не должность, Шут — имя, бубенчик один душевный,
задушевный такой бубенчик, совсем излишний —
никаких тебе государственных отношений,
просто музыка — в точности как заказал Всевышний.

Значит, он и заплатит нам, мой подельщик и сотоварищ!
Кто уж кто бы, а Он-то педант по части оклада!
Да тем более что много на музыке и не наварить —
разве только на новую плитку хорошего шоколада.

З а п и с к а т р и д ц а т ь в т о р а я , Л ю б о п ы т н о й В а р в а р е

Добрый, стало быть, день: ведь иначе-то нам едва ли
поболтать доведётся... такая, представьте, досада!
Но, покуда Вам носа в комод не оторвали,
Вы меня бы очень устроили в качестве адресата.

Между мною и миром висит дымовая завеса — не сказать, чтоб табачная... да и просто не дымовая, в общем, так: я к Вам, в сущности, по поводу интереса — от отсутствия оно, в сущности, изнывая.

Мне у Вас поучиться бы, как это — быть при деле, навсегда победив изнурительную дремоту!
Вы последний феномен устойчивой жизненной цели — скажем, страсти. К комоду. (Почему бы и не к комоду?)

Я ведь тоже искал свой комод, только всё впустую: говорят, раньше были, да вдруг изменилась мода — и не то чтобы я по этому поводу протестую: просто... глупо живу — вообще уже без комода!

Закажи, говорят: нету случаев безнадежных, предложи на бумаге желаемые очертанья!
Может, так бы и надо, да только я не чертёжник. Есть всего лишь идея, которая — на черта мне?..

Мне нужна не идея — мне нужен комод, Варвара!
Вы поймёте, я знаю: Вы той же породы птица, с Вами тоже, должно быть, такое не раз бывало — раньше, в прошлом... когда было не за что зацепиться.

Слава тем, кто стоит у комода — лишившись покоя, и готов рисковать — прямо в узкую щель нацелясь!
Впрочем, пафос излишен. Привет вам и всё такое!
Остаюсь...

(Кстати, нос не такая большая ценность.)

**З а п и с к а т р и д ц а т ь т р е т ь я ,
у л и ч н ы м м у з ы к а н т а м**

Я не знаю, откуда вы. Правда, мне говорили, из России, но, видимо, это всё-таки враки. Потому что в России не играют на тамбурине — все приличные люди там играют на балалайке.

Тут в ста метрах от вас наявливает на клавишине развесёлый такой чернокожий мужчина — мне сказали, он тоже родом из России, только это уж вовсе какая-то чертовщина.

Я-то слышу, что поёте вы по-английски, не умея как следует справиться со словами, — чтобы ставшие в круг скандинавские одалиски ваши терпкие глупости повторяли за вами.

Но, когда вы просто играете и совсем не поёте, я могу допустить — в особенные моменты, на какой-нибудь — как собака, одинокой — ноте, что вы всё-таки из России, невзирая на инструменты.

И по тоненькой лестничке, под ступенчатое бречанье я тогда начинаю забираться на небо, и в затылок друг другу дисциплинированные датчане тоже тянутся следом — осторожно и немо.

А теперь я скажу (вместо до свиданья): в тот момент, как толпа вокруг вас поредеет, вы среди нескольких крон в вашем чемодане обнаружите что-то ещё — кроме денег:

полоумную записку. Она пригодится:
вы её сохраните уж как-нибудь, Бога ради:
по таким, я клянусь, пропускают в психбольницы
или в рай.... так что, стало быть, выбирайте.

Записка тридцать четвёртая, Редкой Птице

Моя Редкая Птица (какая — не принципиально!),
круг моих собеседников становится уже и уже.
И опять же — сентябрь, и опять же сплошное пиано
как внутри, так и... (далее, наверно, понятно) — снаружи.

Впрочем, это всё литература (с ней лучше проститься):
это мысли в линейку, в то время как мысли летучи,
мысли — тучи и птицы (и как это там?.. — редкой птице
долететь удаётся... и дальше: чем дальше, тем круче!)

Моя Редкая Птица, ну что ж... надо как-то собраться
объяснить — хоть тебе, хоть кому-нибудь — важные вещи:
например, существует такое понятие, как сёстры и братья
или близкие люди, — всё прочее в мире довольно зловеще.

В общем, надо собраться — клянусь, я уже наготове:
чемодан упакован и даже застёгнут... ничто не забыто!
Вот полью все цветы, вот прерву себя на полуслове —
и исчезну из милого сердцу проклятого здешнего быта.

«Редкой птице...» — и дальше... а дальше придётся топиться в этом «чудном Днепре», не достигнув его середины. Гоголь тоже... сказал, не подумавши! Что ж редкой птице предлагается делать потом — после этой картины?

Моя Редкая Птица, забудем об этом, уедем, бросим в Днепр, в Каттегат — все ключи, адреса и записки и отправимся далее по морю велосипедом — не печалуясь, по-скандинавски и по-олимпийски.

Ты, конечно, поймёшь эти глупости с пол-оборота: я надеюсь, язык мой — в достаточной степени птичий! А поймут ли другие... так это других и забота: мы ведь здесь оказались не для соблюдения приличий.

Записка тридцать пятая, Господу Богу

То ли «здравствуйте», то ли... теряюсь, но, может быть,
«здравствуй» —
в общем, так или как-то иначе... как есть, так и надо!
Я один сумасшедший, не семенящий за паствой —
без лица и без имени... в сущности, и без доклада.

Я — спросить, для чего это всё... мне не очень понятно!
Между тем, говорят, сумасшедшие — люди такие,
что им, дескать, виднее... а тут — ни туда, ни обратно:
вот застрял и торчу — посреди, так сказать, стихии.

Может, это и есть — то, про что говорят «виднее»:
ну, стихия и прочее... некий намёк на случай,
только я, разместиться во всём этом не умея,
за собой наблюдаю, как за звездой падачей.

И опять же... так оно, может, в самом деле и было
на скрижалях записано, но я не читал скрижалей!
Потому и смотрю вокруг — огромными глазами дебила,
которого все его сверстники поопережали...

А с другой стороны — не лезть же мне в их шеренгу:
они так сплочены и так знают, куда им надо,
что, боюсь, я совсем как-то не подхожу по рангу
и потом... говорю ведь: я, в сущности, без доклада.

То есть чем отчитаться — не знаю: за все эти годы,
проведённые здесь ли, там ли — везде, одним словом!
Как возьмёшься считать — хоть достоинства, хоть доходы,
так и бросишь, смеясь над ничтожным своим уловом:

две морские звезды, две ракушки, с полсотни строчек
да штук пять синяков (ничего-заживёт-до-свадьбы!),
Вот сказал себе: сядь напиши, что только захочешь.
Написать-то сел написал... теперь как передать бы!

СОДЕРЖАНИЕ

Анкета вместо предисловия	5	«Я не знаю, куда меня нимфа...»	25
Имя, отчество, фамилия	5	«За пчёлами скрипок!..»	25
Возраст	6	«Кто там на облаке присел?..»	26
Пол	7	«Ничего не поделаешь: значит, блеснём...»	27
Национальная принадлежность	8	«Вот вам лестничка скрипучая...»	27
Семейное положение	9	«Ну что, бессмертная строка...»	28
Образование	10	Правила хорошего тона	29
Род занятий	11	«День, играющий на флейте...»	30
Вероисповедание	12	«Если хочешь, считайся поэтом...»	30
И Я БЫЛ МУЗЫКАНТ (1971–1975)		«А то, что совсем не приправлена...»	31
«И я был музыкант...»	16	«Немного листьев и скупого света...»	32
«Тут старинных строчек залежь...»	16	«Ночь была как зона бедствия...»	33
«Какою музыкой плеснуло по губам!..»	18	«И это лето истекло...»	34
«А далеко ль поёт рожок?..»	18	«Когда стоял сентябрь сентиментальный...»	35
«К серьёзности — каплю высокого вздора...»	19	«Ты не то чтоб о древних рунах...»	35
«Сидела в тиши субботы...»	20	«И я тогда пойду себе, пойду...»	36
«У меня были стихи книжного мальчика...»	21	«Значит, этого не было вовсе...»	37
«Из комнат бросившись под дождь...»	22	«...я за это заплачу...»	38
«Там такие молодые небеса...»	22		
«Приволе музыки просторной...»	23		
«Океаны чужие, чужие ветра...»	24		

«Весёлый рой ночных букашек...»	38
«Дай Бог, чтоб не был твой отвергнут дар...»	39
Гийом Аполлинер	40
Стихи об ужасной даме	41
(1) «Опять не те у Вас в гостях...»	41
(2) «Покатаемся на дрожжах...»	42
(3) «Завтрак отложен на завтра...»	43
(4) «Долгого романа...»	44
(5) «Так, за “простите” и душу отдашь...»	45
(6) «Впрочем, может быть, ужин в "Шоколаднице" ...»	46
(7) «Ну и что ж у нас теперь...»	47
(8) Письмо к Ужасной Даме	48
(9) «Всё начнётся сначала...»	49
(10) «Ещё одну минуту...»	49
«— А что между нами было...»	50
«Не идти — бормотать по пути...»	52
«У зимы недолгий срок...»	52
«Я забыл мой зонт в передней...»	53
«Мотылёк на словую лапу присел...»	54
«Душа моя, оставим разговоры...»	55
«Дорога была песчаная...»	55
«Музыка-музыка, что тебе нужно...»	57

«Время: сумерки, дымчатый войлок...»	58
«Тихое воспоминанье...»	58
«Бормотать чепуху, умирать со стыда...»	59
Три песенки трёх масок	60
Коломбина	60
Арлекин	61
Тарталья	62
«Какого чёрта, милое концерто?...»	63
«Два левкоя на балконе...»	64
«Итак, отказавшись от таинств...»	65
Германия	65
«Апрелем — ветренным, ничейным...»	66
«Вот так и жизнь: шумнёт, сомнёт...»	67
«А там — что же там...»	68
«Окарина на окраине...»	69
«В этом возрасте стихи...»	70
«И открытку от Вас получить вскоре...»	71
Маленькая трагедия	72
КАК ВЕРЁВОЧКА ВИЛАСЬ (1976—1982)	
«Как верёвочка вилась...»	76
«Тетрадь оставлена в саду...»	77
«Старая-старая повесть...»	78
«Это Ваши слова — не печальтесь-пройдёт»	79

«Старьёвщик-вечер собирает в горсть...»	79
«Когда я вдруг исчезну...»	80
«В этом тяжёлом месиве...»	81
«Не гадать по птичьим стаям...»	81
«Зацепиться за что-нибудь в светлом потоке...»	82
«Я о чём... о тумане, о дыме...»	83
«Рассмеялась ночь сырая...»	83
«В узком каменном переулке...»	84
«Вот изнеженное имя...»	85
«Ну что же, я переживу...»	86
«Собрание деревьев — седых и сутулых...»	87
«Я вышел поздно — облаков регату...»	88
«Что-то Вы ещё сказали...»	88
«Всё вертит нами ветер так и сяк...»	89
«Ночи воинство и таинство...»	90
«Как бы буря ни кружила...»	91
«Слышишь, как всё удаляется...»	91
«Внезапные встречи, случайные числа...»	92
«Что, мой милый старый август...»	93
«Забудем обо всём ночном...»	94
«Пожалуй, яблочко зари не слишком-то румяно...»	94
Год Козы	95

«Задвинув в дальний угол тьму...»	96
«По Арбату, говорят, развешан дождик...»	97
«Горчат пирожные миндальные...»	98
«Ты говоришь, что день ещё придёт...»	99
«Вот тебе мой чужой бред...»	100
«Не плачьте, ни стихи, ни жизнь, ни сон!...»	100
Ну, и чего же ты хочешь...»	101
Как всё вокруг звенит...»	102
Молебен	102
«...ещё помолимся за тех, кому не надо...»	102
«...ещё помолимся за тех, кого не жалует успех...»	103
«...ещё помолимся за тех, кто стиснул зубы...»	104
«...ещё помолимся за беглых...»	105
«...ещё помолимся за тех, кто не достиг...»	105
«...ещё помолимся за тех, кому известно только имя...»	106
«Воздух жизни непонятной...»	107
«Что ты скажешь теперь, ученик небосклона...»	108
«И вдруг закрутилась весёлая прихоть...»	109
«Забери мою свободу...»	109

«А вот и ветер — лёгкий, молодой...»	110
«Шляпы японской соломенной кров...»	111
«Этот образ — он не образ...»	112
Портрет Неизвестного с Орденом Анны	113
«Вот и виснут, гаснут ленты...»	114
«Какие могут быть вопросы...»	115
«Пока крутилась колесом метель...»	115
Во лужах	116
«Тебе наобещают высокого туману...»	117
«Что сказать про жизнь простую...»	118
Рождество	119
«И скажу я, вконец отчаясь...»	120
Колесо Фортуны	121
Первая четверть	121
Вторая четверть	122
Третья четверть	123
Четвертая четверть	124
Пятая четверть, черновик	125
МОСКОВСКИЕ ЗОНТИКИ (1983—1988)	
«Что, душа, что, скиталица...»	128
«Начинается Слово...»	128
«Колёса, помнится, по слякоти скрипели...»	129

«Отыщем какой-нибудь мост...»	130
«На глухом перекрёстке столкнувшихся дат...»	131
«Почему-то на краешке пропасти...»	131
«Загорелся фитилёк в ночнике...»	132
«Под нашим оранжевым, в дольках, зонтом...»	133
Краски. <i>Шесть</i> <i>стихотворений</i>	134
Александрийская лазурь	134
Бьянка ди Венеция	135
Неаполитанская жёлтая	136
Зелёная земля	136
Умбра	137
Бакан турецкий	138
«Что за улица, за умница...»	139
«Приступ кончился злости...»	139
«Зелёная букашка леса...»	140
«На языке дождя...»	141
«С ветрилом, но всё так же без руля...»	142
«Разобраться в развлеченьях...»	142
«Ужасно сбивчивы и странны слова дождя...»	143
«За образом милым...»	144
«Мне слишком много дня...»	144
Художественный салон	145
«Всё зелёное ветшает...»	146
«А дело не в том, что судьба так хотела...»	147

«Хорошо ли, друг любезный...»	148	«Как называется твоя любовь?..»	162
«Вот так вот: живёшь и не знаешь...»	149	«...хоть весёлое Да золотое...»	163
«Ничем не тревожа дремучую глушь естества...»	149	«Чай зелёный, как лес...»	164
«Оттого, что я не с Вами...»	150	«А дело обстояло так...»	165
«Осенние скупые времена...»	151	Erkönig	166
«Приметы времени и места...»	152	«Я-хорошо-живу — как Вы живёте...»	166
«Горький-горький ночью-ночью лепет-лепет...»	152	«Как бы долго мы ни толковали...»	167
«Ах, эта музыка опять...»	153	«В сентябре, в государстве оранжевом...»	168
«Как грозен сумрак и лилов...»	153	«Гремите, колокольчики, опять...»	169
«По неверным своим кругам...»	154	«Небо в сердце и небо на шляпе...»	170
«Пора нам гулять по аллее...»	155	«Как на маленьком парусе...»	170
Сердечные дела	156	«Жизнь снова бьёт через края...»	171
1. «На столько любви — вот столько...»	156	«Напрасные хлопоты...»	172
2. «Врачевать тебя тихим словом...»	156	«Искусимся, пожалуй, немного...»	173
«В саду княгини Шаховской...»	157	«Это всё уже неважно...»	174
«Мелет кофе моя мельница...»	158	Между двух стульев	175
«Наш длинный путь по магазинам...»	159	«...В этом городе прекрасных миражей...»	175
«Чтобы проще объясниться...»	160	«А был когда-то розоват...»	175
«Ты посмотри, что я тебе принёс...»	161	«Минувшая жизнь...»	176
«Что говорят на кухне в полночь?..»	162	«Ступать из польмя в огонь...»	177
		Псалом	178
		«Среди всегда кочующих громад...»	179

«В честь уже наступившего лета...»	179
«Осень, осень, золотая мишура...»	180
«То, что мы когда-то знали...»	181
«Прекрасный белый особняк...»	181
«Мир дольный и мир дальный...»	182

FORTUNA PRIVATA

(1989–1990)

«Это облако не виновато...»	186
«Несовершеннолетнюю каргу Психею...»	187
«Милый случай, проводник слепой...»	187
«И снова нам встретиться не с руки...»	188
«Два дня короче, чем неделя...»	189
Церковный хор	190
«Как объяснишь, что нет невинной нас!»	191
И. Стравинский. Петрушка	191
1. «Февраль весь белый...»	191
2. «А она балерина...»	192
3. «Это балаган, балаган...»	193
4. «Вот они наконец наигрались мной...»	194
5. «Да что ж арап...»	195
6. «Если фокусник прикажет мне...»	196
7. «Славное гуляние...»	196

«И вечер неплох, и погода совсем неплоха...»	197
«Ты, как браслет, сняла запрет...»	198
«Когда сухому снегопаду...»	199
«И увидел я...»	199
«Ты возьмёшь себе это и то...»	200
«Что память, что обманщица поёт...»	201
«Всего и дела, что — вздохнуть...»	202
Октябрь	203
Сон в летнюю ночь	204
Как верил Бисэй	204
«Спасаться стихами...»	205
«Скажи, копеечка-орлом...»	206
«...а пока я Вас чуть-чуть ревновал...»	207
«Туман обвис и поредел...»	207
«Гуляй, моё счастье...»	208
«День за мыслями грешными...»	209
«Прийти к тебе ни с чем, как есть...»	210
«Зелёного неба, весёлого неба края...»	210
«И мы плывём весеннею водой...»	211
Ponto dei Sospirì	212
«Какой золочёный учёный паук...»	212
«Рассказать, как лунатики падают с крыш...»	213

«Безо всякой такой сноровки...»	214
«На тему жизни, смерти и любви...»	215
«Вечерует, и темнеет...»	215
«На высоком летнем берегу...»	216
Карточные страсти. <i>Шесть стихотворений</i>	217
1. «Дню заканчиваться лень...»	217
2. «Дама была Короля...»	218
3. «Два Короля ночной порой...»	219
4. «За Дамой гонялись четыре Валета...»	220
5. «Шестёрки сказали Семёркам...»	221
6. «Только начинался вечер...»	222
Баллада о почтовой сумке	223
«Поверим на слово беспутному апрелю...»	226
«Любовь умнее нас с тобой...»	226
«Ничего я не ищу, не прошу...»	227
«Право дело, не стоит того эта явь...»	228
«На ключке, на салфетке...»	229
«Ходит в небе серебристый пароходик...»	230
«Моя милая вольная птица...»	231
«Две бури встретились в окне...»	231
«В захламенном прошлом...»	232
«Меня преследует звонок...»	233

«Как хочешь — так и буду говорить...»	233
«Сочтя непогоду за благо...»	234
«Далёкий путь у мыслей горьких...»	235
«Что-то с неба упало...»	236
«Зима похожа из окна...»	236
«А вот вам грёза — или стрекоза...»	237
«Воробышком или Гаврошем...»	238
Четыре стихотворения о Варшаве	239
1. «Пан предлагает приправы...»	239
2. «Как воздушный поцелуй на лету...»	239
3. «Узкая варшавская галерея...»	240
4. «Меж тучных ламп и костёлов тощих...»	241
«Упустим из виду пустяк...»	241
«За колючим за боржомом...»	242
«Говорили: давайте запомним...»	243
«На бестолковой распродаже...»	244
СОБЕРИ СВОИ СТИХИ (1991—1992)	
«Собери свои стихи...»	248
Две старые вирши	249
1. «По синему ельнику зайка бежит...»	249
2. «Пути шёлковые по лугам пролегли...»	250

«Никаких черновиков...»	250
«...но беспокоит — непонятно что...»	251
Артур Рембо	252
«А вот этого мне не закончить...»	253
«У тебя такая рифма...»	254
«Свистит любви смертельной плеть...»	255
«Не знаю, что сказать...»	256
Бал	257
«Опять собирать по кускам...»	258
«Давай встречаться за столом...»	259
«Здесь, где никто меня не любит...»	259
«Но как я узнаю...»	260
«Цвет и запах померанца...»	261
«Ну, поехали с Богом, поехали...»	262
«Довольно, мысль, тебе скитаться...»	262
По мотивам Владимира Гейдора	263
Блудный сын	263
Титаны и боги	264
Ветка ивовая	265
«От ёлочных игрушек прежних лет...»	266
«С невесёлой белой башней...»	267
«И что с того, что легкокрыло...»	268
«Мой Друг Противоречия...»	268

«Золотая колесница...»	269
«Всё это нам нашёптывала жизнь...»	270
«И не вспомнишь уже, что за образ...»	271
«Опять мирить и снова разнимать...»	271
«Шёл ноябрь, ночь вторая...»	272
«Ваша правда, это всё одно и то же...»	273
«Чтобы мы с тобой не сгнули...»	274
«Взгляни-ка вот, какая тишь да гладь...»	275
«Как тогда, как уже никогда...»	275
«Всё это старые дела...»	276
«Между тем летала тема...»	277
«Что-то ещё? Да пожалуй, пустяк...»	279
Инструкция	279
«Нет шведов в Шведском тушике...»	280
«Под старинной любви игом...»	281
«Ничто не решается, видишь...»	282
«Не ярмо, но шарф на шее...»	282
«Дождёмся, чтоб стало немножко теплей...»	283
«За мной бумажный плащ Басё...»	284
«Тут можно сократить...»	285
«Вот и мы нагулялись: присядь...»	285

«Ах, память, память...»	286
Имя	287
Анастасия	287
Дарья	288
Марта	289
Вероника	290
Елена	291
Маргарита	292
Юлия	292
Ада	293
Ариадна	294
Мария	295
Валерия	296
Анна	297
«Чай холодный спозаранку...»	298
«Вот и встретил наконец хорошего человека...»	299
«От честных слов и бурных чувств...»	299
«Не то чтобы мир был настолько уж беден и плох...»	300
«Смотри, какие годы отшумели...»	301
«Застрав беспечных слов промеж...»	302
«С божеством и дождём на плече...»	303
«А за ниточкой за тонкой...»	304
ДЕНЬ ВОСЬМОЙ	
(1993—1996)	
«Я не знаю, зачем произносится День Восьмой...»	308
Миссия	309

1. «Эпоха дыма по тысяче за кольцо...»	309
2. «При умирающем на глазах дирижёре...»	310
«Что за грустную тему...»	310
«Ничем отродясь не владея...»	311
«Так поздно, что почти в такую рань...»	311
Казимир Малевич. Чёрный квадрат	313
«Всё как прежде: те же слуги...»	315
«Ну что ж, привет-привет вам...»	316
«Ночные сюжеты: огней коромысла...»	316
«Тут, видишь ли, задумались глубоко...»	317
«Всё в порядке: невидимый скрежет...»	318
Ходики	319
«В облаках моего безумия...»	322
«...и снова нечаянно выпив вино...»	323
«Наступала судьба...»	324
«Оставлю только два часа прогулки...»	325
«Видишь, в храме, в полом храме...»	326
«Да будет песенка с тобою кочевая...»	327
«По новейшему завету...»	327
«У тихой одной переправы...»	328
«Никому не сказавшись...»	329

«Ещё такие светлые надежды...»	330
«Время кончится, начнётся...»	331
«Полно, дружок, чертить...»	332
«Вон серебряная бабочка субботы...»	333
«После того, как щёлкает засов...»	334
«Дорогая строка, погоди, посиди...»	335
«Вот зажгу сейчас пять свечек...»	336
«Немного пресной лжи в словах чужих...»	337
«Я с четверга до понедельника...»	337
«Что это "всё это"...»	338
Уроки арабского	339
«Строчка мелькнула дальняя...»	340
«Жизнь на липочке висит...»	340
«И всё-то было хорошо тогда-когда...»	342
«Что за блажь — ловить приметы...»	343
«Когда весь твой мир собрался в полёт...»	344
«Не по этой ли отправиться улице...»	345
«Строго так, как назначили Бог и Природа...»	346

«Мой дом... я не скажу дурдом...»	347
«Беспечные слова за поздним чаем...»	349
Монти. Чардаш	349
«Что-то кажется небо уж слишком суровым...»	350
«За Кудыкиной горой...»	351
Ходит дрёма возле дома	352
С мистером Хортоном	354
«Ах, где тонко, там и рвётся!...»	354
Приступ первый	356
Приступ второй	358
Приступ третий	360
Приступ четвёртый	362
Приступ пятый	364
Приступ шестой	366
Приступ седьмой	368
Приступ восьмой	370
Приступ девятый	373
Приступ десятый	375
Приступ одиннадцатый	377
Приступ двенадцатый	379
«Ах, где тонко, там и рвётся — с прямою очевидца...»	381

САМИ СЕЛИ НАПИСАЛИ (1997–2001)

«Сами сели написали...»	386
«До чего же нелепая буря...»	386
«На каком бы языке обратиться к этой птице?..»	387
«Твои мысли — в тучах...»	388

Двенадцать памятников	389	Говорила Оливия	408
1. «Если не глядываться в полутьму...»	389	1. «Говорила Оливия: это место такое...»	408
2. «Памятник Бабочкиному Крылу...»	390	2. «Говорила Оливия: для чего тебе эти заметки...»	409
3. «Трудно смотреть без улыбки...»	391	3. «Говорила Оливия: тут ведь водятся гномы...»	410
4. «Остановил на лету строку...»	392	4. «Говорила Оливия: ты себя не узнаешь...»	411
5. «Говорят, что, когда рассеется дым...»	393	5. «Говорила Оливия: поживи до субботы...»	412
6. «И не спрашивай, как дела...»	394	Обед из десяти блюд	413
7. «Я забыл, в каком возвели веку...»	395	«Мы напрасно полагаем...»	417
8. «Для чего по сто раз на дно...»	396	«На ветренном перекрёстке...»	418
9. «Брови сдвинуты, губы подведены...»	397	«Да какая разница, бабочка- капустница...»	419
10. «А теперь подойдите к этой черте...»	398	«Когда едешь куда ниоткуда...»	420
11. «Памятник Паровозному Свистку...»	399	«А попробуем, стало быть...»	421
12. «Золотая капля на тонкой лозе...»	400	«И на этом самом месте...»	422
«Мне отсюда не видно, как там...»	401	«Вот Теннисон периода Гомера...»	423
«Ах, поскачи, голубчик...»	401	Римские цифры	424
«День прячется в глухую щель...»	403	I. «Дети идут по песку...»	424
«Не начать ли сразу набело...»	405	II. «Сад на далёкой горе...»	425
Всеволуду Абдулову	406	III. «Хочешь — останемся здесь...»	426
1997	406	«До свиданья, город Лёйт!...»	427
2007	407	Три норвежских стихотворения	429
		1. «Тут у каждого есть тропочка...»	429
		2. «Ты говорил мне о Небесных Силах...»	430

3. «Два напитка кроткой крепости...»	431
Дорогая Пипелота	432
«Я верю в тебя, я верю в него...»	433
«Так бывает, когда торгуют мимозами и гвоздикой...»	434
«Эта песенка по-русски...»	435
«Разобравшись и с обетами, и с долгами...»	436
Большая жратва	437
«Я забыл написать это всё...»	438
«Новые года летят...»	439
«Вам зачем, Ваше Непостоянство...»	440
Картинная галерея	441
Скрипки на Стрёгет (<i>бумага, акварель</i>)	441
Дзэнские монахи, сметающие орнамент из цветного песка (<i>белый картон, пастель</i>)	442
Снег в феврале (<i>влажная бумага, тушь</i>)	444
Чайна-гаун (<i>шёлк, акриловые краски</i>)	445
Блошинный рынок в Нёрребро (<i>бумага, цветной карандаш</i>)	446
Лавка колониальных товаров (<i>папирус, сангина</i>)	447
Мороженщик (<i>флорентийская мозаика</i>)	448
Весна в Вальбю (<i>алюминиевая пластина, смешанная техника</i>)	449

Истедгаде (<i>батик, сепия</i>)	449
Нюбодер (<i>ватман, гуашь</i>)	451
Поворот с Фиольстрэде (<i>фанера, уголь</i>)	452
Полицейский наряд в Христианин (<i>доска, темпера</i>)	453
Кристиансхаун. Разрушенный дом (<i>холст, масло</i>)	454
Нищий на Аксельгорв, портрет (<i>папиросная бумага, слеза</i>)	455
Пожилые дамы в Cafe Charlottenborg (<i>роспись по фарфору</i>)	456
Langelinie (<i>полотно, вода</i>)	457
Церковь Александра Невского накануне Пасхи (<i>кирпичная кладка, тень</i>)	458
Pantomime Teater, Tivoli (<i>парусина, красная охра</i>)	458
Танцующий дурачок (<i>зеркало, губная помада</i>)	459
Русский лубок. Три стихотворения	460
Поездка	460
Клубок	461
Гроза	462
Вагабонд	463
Жан Тангли	465
I. «Ну, во-первых ходит поезд...»	465
II. «Впрочем, вот что интересно...»	466

III. «Но с медвежьей головою...»	466
IV. «А она не отпускает...»	467
V. «Кроме бубна с пёстрой лентой»	468
VI. «При лошадке есть повозка...»	468
VII. «Но загадка оседанья...»	469

ЧАСОВОЙ ПОЯС

(2002—2008)

Часовой пояс	472
1. «Если долго лететь по небу...»	472
2. «Время, стало быть, — этакий нежный тать...»	473
3. «Собиратель иллюзий...»	474
«И мы когда-нибудь придём куда придётся...»	475
Иммигранты	476
Абдулла	476
Санта	477
Орнела Люсия	478
Ли	479
Агнешка	480
Сильвана	480
Мухаммед	481
Насимбану	482
Ашиль	483
Хабиба	484
Ильмурад	485
Гудруца	485
Саншайн	486
Нурие	487
Радмила	488

Обратный адрес	489
1. «Прилетел ко мне обратный адрес»	489
2. «Ох, не было другой мне заботы»	490
3. «Ну и как мне теперь распорядиться»	491
Птицы Лира	493
Белая Птица	493
Голубая Птица	494
Синяя Птица	494
Жёлтая Птица	495
Оранжевая Птица	496
Розовая Птица	497
Бледно-красная Птица	497
Ярко-красная Птица	498
Пурпурная Птица	499
Малиновая Птица	500
Лиловая Птица	500
Светло-зелёная Птица	501
Тёмно-зелёная Птица	502
Коричневая Птица	503
Серая Птица	504
Чёрная Птица	504
Пятнистая Птица	505
Полосатая Птица	506
Треребристая Птица	507
Скарбузная Птица	507
Вечер в кафе «Lanterne»	508
«Не при этой погоде капризничать у бистро...»	510
Альма Андерсен	511
«У меня остаются две песенки...»	511

Одна песенка	
Альмы Андерсен	512
Другая песенка	
Альмы Андерсен	513
Сорокавоcьмилетняя жизнь . . .	514
1. «На дешёвой такой, на бездарной такой оперетте...»	514
2. «Сорокавоcьмилетняя жизнь — это время такое...» . .	515
3. «Сорокавоcьмилетняя жизнь — мастерица скрывается...»	516
4. «Сорокавоcьмилетняя жизнь пишет, но не читает...»	517
5. «Сорокавоcьмилетняя жизнь обожает тот берег...» . .	518
«Значит, вот... такая небольшая наука...»	519
Бабочка	519
Каравай-каравай	523
1. «Ну, здравствуй же...»	523
2. «Так что ж было общего?..»	524
3. «Идут да поют...»	525
«Вот у этого камня и остановитесь...»	526
«Вот вам города древний срез...»	526
«Так жизнь рисовала...»	527
«Ни опоры ни единой...»	528
«...а ещё был такой темноглазый предмет...»	529
«Мир картонный, мир пустой...»	531
Закрытое письмо с западного фронта студентам факультета журналистики	532
«Никакого сердца не хватит на беловик...»	533
«...и, завернувшись в хитон до пят...»	534
«Перепрыгнувши через верёвочку...»	535
«Ладно... тот или не тот...»	536
«День не занимается...»	537
Дети капитана Гранта	538
«Оттого все слова нам тесны...»	539
«Не пора ли, взвесивши серебро...»	539
«Не расспрашивай, красавица...»	540
«По небу проплыл белый катер...»	541
«Вам, молодые господа...»	542
Ночь	543
Букварь	543
«Обещала — мучительница...» . .	544
«А когда нас засыплет снегами...»	545
«Вы не смотрите на меня...»	546
«Со стихами в голове...»	547
«Воспоминая были ветхи...»	548
«Вот почти уже и не видна...» . .	549
«Очертания сказки больше уже не резки...»	549
Скандинавские шалости	550
Торбен Смирный	550

Гудрун и Дагмар	552	17. «На дне портфеля в уголке сидела крыса...»	564
Майбригт и Вальдемар	554	18. «Гонцы из Оденсе приехали в карете...»	565
УЧЁНЫЕ ЗАПИСКИ		19. «Матросы бросили корабль...»	565
СУМАСШЕДШЕГО		20. «Мы притаились за кустами роз в буфете...» ..	565
Сонник	558	21. «Одна из птиц внесла какую-то кошёлку...»	566
1. «Слепая кошка пробирается по датам...»	558	22. «Идет учёный разговор о Насреддине...»	566
2. «Держа в руках по сорока одной иконе...» ..	558	23. «Мне дарят водный пистолет...»	567
3. «Два гражданина (неизвестных) удят рыбу...» ..	558	24. «На незастеленной кровати вырос вереск...»	567
4. «Вдова соломенная в дудочку гудела...»	559	25. «Ловили мошек рыболовными сетями...»	567
5. «Там было море...»	559	26. «Свеча зажглась сама...» ..	568
6. «В кафе сидел мой прошлый друг...»	560	27. «Один знакомый предложил мне толстый сэндвич...»	568
7. «В соседнем доме при свечах чинили рельсы...»	560	28. «Всё там написанное было не по-русски...»	569
8. «Все гости знали...»	561	29. «Мне колокольчик был...»	569
9. «Монашка с пиццею в руке...»	561	30. «На трёх колесах мне двухсот никак не выжать...» ..	569
10. «Пришли убить меня фонариком китайским...» ..	561	31. «Дождь раззадорился...» ..	570
11. «Я был здесь прежде, но не знал...»	562	32. «И вдруг откуда ни возьмись взялись два шведа...»	570
12. «Народ кричит...»	562	33. «Муд замурчался...»	571
13. «На завтрак подали зелёную пижаму...»	563	34. «Сперва хозяева грибы во рву солили...»	571
14. «Играли в карты...»	563		
15. «Сначала все официанты вдруг уснули...»	563		
16. «Спектакль кончился...»	564		

35. «Я стал на паперть...»	571
36. «Не поздоровавшись, прошёл рабочий с дрелью...» .572	
37. «Мне дирижировать...» . . .572	
38. «Слетелись черти для беседы о высоком...»	573
39. «Нас ко двору всё приглашал один придворный...»	573
40. «Я осторожно перешёл одну границу...»	573
Аптечка Офелии	574
1. «Вот резеда — резедой резеда...»	574
2. «Лист душистого горошка...»	575
3. «А это будет веточка тимьяна...»	576
4. «Вот тут сцеллари — звездчатки...»	577
5. «Наперстянка... не знаю, к чему...»	577
6. «Безвременник осенний — от весны...»	578
7. «Вот, к примеру, ноготки...»	579
8. «Это дафна — коли жизнь не удалась...»	580
9. «Пучок бересклета — от злого навета...»	580
10. «Спасительный цветок болиголов...»	581
11. «Вот олеандр — заваривать чай...»	582
12. «Подмаренник, облачко, душа...»	583
13. «А вот тут у нас белый люпин...»	584
14. «У вереска серьёзный нрав...»	584
15. «Масдеваллия... что ж ещё скажешь!...»	585
16. «Надо вынуть из воды...» .586	
17. «Тут простая арифметика...»	587
18. «А непентес есть непентес...»	588
19. «...тут важно, чтоб настала полночь...»	589
20. «А форзиция — чтоб не сдавали позиций...»	590
21. «Или вот вам, к примеру, клематис...»	590
22. «Юнона... белый крокус...»	591
23. «А ещё существует цветок бальзамин...»	592
24. «Цветки бегоний — от погони...»	593
25. «А ветреница, стало быть, лесная...»	594
Письма с понтом	595
1. «...жизнь всегда обстояла ни так и ни сяк...»	595
2. «...был вчера на охоте тут в замке одном...»	596
3. «...а на днях подошёл ко мне вдруг один тролль...» . .597	

4. «...но погода прекрасная!..»	599
5. «...потому что, голубчик ...»	600
6. «...значит, стало быть, море волнуется — раз...»	601
7. «...вообще говоря, мы в условиях войны...»	602
8. «...чем был занят?...»	604
9. «...а потом, сколько ты ни крути, ни верти...»	605
10. «...говорили по-шведски...»	606
11. «...в государстве, где все мы равны наугад...»	607
12. «...и не сравнивать — то, что случилось вчера...»	609
13. «...кстати, вот что...»	610
14. «...что касается запада...»	611
15. «...земляные орешки, весёлая дрянь...»	612
16. «...а серьёзно взглянуть...»	613
17. «...всё листал одну книгу...»	615
18. «...так, почти никаких не оставив следов...»	616
19. «...говорят, хорошо быть придворным шутом...»	617
20. «...вот уж правда смешно...»	619
21. «...а Эвксинскому Понту...»	620

22. «...глупо, глупо и глупо...»	621
23. «...и почти что бесплатный кругом виноград...»	622
24. «...чтоб оставили только в покое!..»	624
План Города	625
А. «Начинаем на площади <i>Нету Ни Кроны...</i> »	625
В. «Переулок <i>Да Ну Их</i> уходит налево...»	626
С. «Это улица имени <i>Глупостей Всяких...</i> »	627
Д. «Тоже, в общем-то улочка...»	629
Е. «Это старый бульвар под названием <i>Да Где ж Вы...</i> »	630
Е. «Перекресток, похожий на детское солнце...»	630
Г. «До чего же он тесен...»	632
Н. « <i>Хватит</i> дарит прохожим короткие струи...»	633
И. «Кстати, здесь по пути я всегда подбираю...»	634
Ж. «Этот <i>Памятник...</i> »	635
К. «Это улица сбоку от сквера...»	636
Л. «У канала название <i>Почти Доконали...</i> »	637
М. «Ибо дело не в этом всегда...»	638
Н. «На табличке усталая надпись...»	639
О. «Между тем, чуть вдали...»	641

Р. «Ах, по жёлтой дорожке...»	642	Сивому Мерину	663
Q. «Прочь отсюда, пожалуй...»	644	Записка седьмая, соседу	664
R. «Мост всегда под охраной...»	645	Записка восьмая, полицейскому	665
S. «Так сходи же скорее с моста ли, с ума ли...»	647	Записка девятая, бывшему попугачику	667
T. «А ещё есть длиннючий такой перешеек...»	648	Записка десятая, Маргрэте, королеве Дании	668
U. «Это недалеко и всё время под горку...»	649	Записка одиннадцатая, повару в Paradis'e	669
V. «Путь отсюда — к аллее <i>Весьма Сожалею...</i> »	651	Записка двенадцатая, воробью на моём карнизе	670
W. «Ничего-то ты в городе, дурень, не знаешь...»	652	Записка тринадцатая, велосипедисту, оставляющему свой велосипед у моего окна	672
Z. «Ох, Куда Ж Вы <i>Несётесь...</i> »	653	Записка четырнадцатая, синоптику телеканала «DANMARK 2»	673
Y. «Как-то всё тут ужасно поспешно минует...»	655	Записка пятнадцатая, оформителю витрин	674
Z. «И опять ты уходишь...»	656	Записка шестнадцатая, тени отца Гамлета	675
Учёные записки	657	Записка семнадцатая, кондитеру	677
сумасшедшего	657	Записка восемнадцатая, пастору	678
Записка первая,		Записка девятнадцатая, моему покойному учителю	679
другу	657	Записка двадцатая, мусорщику	680
Записка вторая,		Записка двадцать первая, Сумасшедшему Японцу	681
налоговому инспектору	658	Записка двадцать вторая,	
Записка третья,			
врачу	659		
Записка четвёртая,			
почтальонше	661		
Записка пятая, случайному гостю	662		
Записка шестая,			

alter ego	683	Пуле-дуре	691
Записка двадцать третья, Кому Попало	684	Записка тридцатая, Иванову-Петрову-Сидорову ..	692
Записка двадцать четвёртая, бродяге	685	Записка тридцать первая, Глупому Фредерiku	693
Записка двадцать пятая, всем людям доброй воли	686	Записка тридцать вторая, Любопытной Варваре	694
Записка двадцать шестая, Бруно	687	Записка тридцать третья, уличным музыкантам	696
Записка двадцать седьмая, сестре	688	Записка тридцать четвёртая, Редкой Птице	697
Записка двадцать восьмая, фортуне	690	Записка тридцать пятая, Господу Богу	698
Записка двадцать девятая,			

Литературно-художественное издание
Серия «Поэтическая библиотека»

Евгений Васильевич Клюев
З е л ё н а я з е м л я

Редактор
Наталья Василькова

Выпускающий редактор
Лариса Спиридонова

Художественный редактор
Валерий Калныньш

Корректор
Ирина Машковская

Подписано в печать 27.06.2008

Формат 70x108/32
Бумага офсетная
Печать офсетная
Тираж 2000 экз.

Заказ №

«Время»

115326, Москва, ул. Пятницкая, 25

<http://books.vremya.ru>

e-mail: letter@books.vremya.ru

Телефон: (495) 951 55 68



Появление в современной литературе имени Евгения Клюева напоминает мне сказку о садовнике.

Трудолюбивый и одинокий мастер много лет возделывает свой диковинный сад: беспокойные цветы, хрупкие оранжереи, стук падающих плодов и благодарный шелест листвы. На каждом шагу здесь рукотворные чудеса. Заслоняясь рукой от солнца, садовник поглядывает на небо. Это его обычная жизнь, «театр для себя», ему незачем и некогда похвалиться. Он служит своему саду.

Но в один прекрасный день — почему бы и нет — садовник понемногу начинает рассылать свои плоды и саженцы в Большой мир. И мир становится ярче, счастливее, интереснее. За границами сада, оказывается, не хватало именно этих непосредственных красок, этой незащищённой лиричности, изобретательной смелости и детской фантазии. В русскую поэзию пришёл неповторимый талант, а живущий в загадочной Дании садовник вернулся к своей работе.

Павел Крючков



<http://books.vremya.ru>



информационная поддержка

ISBN 978-5-9691-0340-5



9 785969 103405